

АЛЕКСАНДР ПОЛЕЖАЕВ

*Стихотворения
Поэмы Переводы
Воспоминания
современников*



АЛЕКСАНДР ПОЛЕЖАЕВ



*Стихотворения
Поэмы
Переводы
Воспоминания
современников*



АЛЕКСАНДР ПОЛЕЖАЕВ

*Стихотворения
Поэмы и повести
в стихах
Переводы
Воспоминания
современников
и критика*



Москва
Издательство «Правда»
1990

Составление, предисловие и примечания
А. Н. Версовина

Иллюстрации и оформление
А. А. Шпакова

П $\frac{4702010100-1927}{080(02)-90}$ 1927—90

ISBN 5—253—00163—8

© Издательство «Правда», 1990. Составление.
Предисловие. Примечания. Иллюстрации.

«НЕИЗМЕННЫЙ ДРУТ СВОБОДЫ»

Где ж вы, громы-истребители,
Что ж вы кроетесь во мгле,
Между тем как притеснители
Властелины на земле!

А. Полежаев

I

В

русской поэзии много удивительных авторских судеб. Но судьба Александра Ивановича Полежаева поистине потрясающая. Даже на фоне судеб таких его современников, как В. А. Жуковский, А. С. Грибоедов, К. Н. Батюшков, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, И. И. Козлов.

Жизнь А. И. Полежаева необыкновенна и трагична в двух планах — в чисто человеческом и в литературном. Вся она, по тогдашним понятиям, была незаконной. Начать с того, что Полежаев был незаконнорожденным — внебрачным сыном помещика Л. Н. Струйского и дворовой девушки Аграфены Федоровой. Мальчик родился 30 августа (11 сентября) 1804 года в усадьбе Струйских Рузаевке Пензенской губернии. В начале следующего года мать была выдана замуж за купеческого сына Ивана Полежаева. В 1808 году фиктивный отец мальчика бесследно исчез, а в июне 1810 года скончалась и мать. Саша остался сиротой.

Известно, что внебрачные дети господ — явление чуть ли не типичное для крепостной России. Вне брака родился, например, старший современник Полежаева поэт Жуковский, но это не мешало ему многие годы быть приближенным царской фамилии. Ни на кого столь неблагоприятно не повлиял факт такого рождения, как на Полежаева. Осиротев, мальчик был передан в семью тетки, крестьянки Анны, младшей сестры матери. С ранних лет он видел все ужасы крепостной жизни — и нищету крестьян, и притеснения господ.

Отец пытался как-то заботиться о сыне. В 1816 году Саша был помещен им в частный пансион Визара при Московской губернской гимназии. В 1820 году он поступил вольнослушателем в Московский университет на словесное отделение (студентом он не мог быть принят как не принадлежащий к дворянскому сословию).

Заниматься в университете юноше было не просто по чисто материальным мотивам. Когда он был еще в пансионе, случилось очередное горе: лишился отца, его скромной помощи. Неуравновешенный, крутой человек, любивший выпить, Струйский в гневе убил своего дворового, за что был осужден и сослан в Сибирь, где позже и умер. Родственники же средства на жизнь и учебу выделяли нерегулярно. Был момент, когда из-за этого возможность учиться в университете

висела на волоске, Саша собирался подать прошение об исключении, но родственники выручили.

Кое-что делали теперь для юноши дяди. Третий дядя, Александр Николаевич, стал его покровителем. У него Полежаев не раз гостил в Петербурге, его он изобразил в своем «Сашке».

Неопределенное социальное положение, чувство собственной неполноценности, беспорядочный образ жизни студента Полежаева привели к тому, что его обучение в университете вместо положенных трех лет растянулось на шесть. Но как закончилось!

Жизнь студенческая отражена в поэме «Сашка», написанной в первой половине 1825 года. Через год поэма во множестве списков уже ходит по рукам. Полежаев еще почти не печатается, безвестен, ему нет и 22 лет. И вдруг сам император удостоил его аудиенции! В чем дело?

В июле 1826 года, казнив декабристов, Николай I приехал в Москву. Здесь, естественно, нашлось немало охотников послужить царю на ниве бдительности и искоренения крамольной «заразы». Проявил свое усердие и жандармский полковник И. П. Бибииков, сделавший донос на Московский университет. В качестве иллюстрации неблагоприятного облика студентов приводилась поэма Полежаева «Сашка», содержащая резкие выражения в адрес церкви и духовенства. Донос был направлен А. Х. Бенкендорфу, дальнему родственнику Бибиикова, а шеф жандармов передал донос вместе со списком поэмы царю. И вот...

В ночь на 28 июля недавно сдавший выпускные экзамены Полежаев был увезен в Кремль, а утром предстал перед императором. Эту роковую встречу поэт запомнит на всю жизнь. Она, по существу, предreshит всю его дальнейшую судьбу.

Поворотная, трагическая встреча! Она свидетельствует, кроме прочего, и о незаурядности молодого Полежаева, о силе его поэтического таланта. Вряд ли бы стал Николай возиться с каким-то бесталанным и безобидным стихотворцем, да еще в дни празднования своей коронации, он, который только что удушил Рылеева, держал в опале самого Пушкина!

Об этой встрече известно мало. Она описана Герценом в «Былом и думах». Свидетельство это для нас драгоценно, потому что сделано со слов самого Полежаева при их знакомстве в 1833 году.

Итак, с одной стороны — самодержец во всем своем величии, министр народного просвещения, попечитель Московского учебного округа, ректор университета — четыре столь высокие особы, с другой — вчерашний студент, растерянный и удивленный.

Царь приказал читать поэму... Впрочем, не будем пересказывать известное. Лучше посоветуем перечитать этот рассказ у Герцена (см. настоящее издание).

Результат встречи: царь предложил Полежаеву военную службу как «средство очиститься». Но очиститься от чего?

Вряд ли самодержца так озаботила благопристойность московского студенчества. Царь увидел в герое поэмы не просто поборника «разгульной свободы», а в его действиях — картины «разврата», но почувствовал свободолюбие автора, дерзнувшего в поэме говорить не только о неуважительном отношении к религии и церкви, но и к политическому устройству российского общества. Иначе у высочайшего фельдфебеля не вырвалось бы в сердцах признание, что это остатки крамольного вольномыслия, которое он будет решительно искоренять.

Молодого поэта отдали в солдаты. Расставаясь, царь поцеловал Полежаева, разрешил писать ему в случае необходимости. Жест не простой. Но истолковать его можно однозначно: царь хотел в будущем сделать из этого способного юноши верноподданного стихотворца. А что перед ним очень способный человек, царь понял. Зачем ему неспособные стихотворцы? Вместе с тем царь увидел в этом мрачноватом юноше человека стойкого духом, который может превратиться в опасного врага, если его не приручить. Но приручить оказалось невозможно.

Сразу же после аудиенции Полежаев был определен унтер-офицером в Бутырский пехотный полк. За ним устанавливался строгий надзор с предписанием ежемесячно доносить о поведении поднадзорного начальнику Главного штаба. Для очень молодого человека, совершенно нетерпимого к всяческим ограничениям личной свободы, чувствительного до болезненности, одаренного высоким талантом, началась почти двенадцатилетняя каторга — служба в армии. И именно столько оставалось ему жить!

Не проходит и года, как Полежаев самовольно оставляет полк, тогда стоявший в Тверской губернии, и пропадает шесть дней (июнь 1827 года). Одумавшись, он возвращается и предстает перед военным судом как дезертир. Сославшись на расстройство духа, Полежаев признается, что задумал добраться до Петербурга, чтобы ходатайствовать перед императором об освобождении от военной службы.

Приговор суда был суров: разжаловать унтер-офицера Полежаева в солдаты и лишить дворянского звания, приобретенного по окончании университета. Приговор был послан Николаю I, после чего в нем появилось дополнение — «без выслуги». Так по милости царя поэт был обречен на пожизненную кабалу.

Не благоприятствовало и другое обстоятельство. Через два месяца после суда Полежаева допрашивали по делу о тайном обществе братьев Критских. Оказалось, что Полежаев еще в 1826 году передавал одному из членов этого общества агитационные стихи, написанные декабристами К. Ф. Рылеевым и А. А. Бестужевым, — «Вдоль Фонтанки-реки...». Однако на фоне других прегрешений поэта это не было самым страшным. Начальству было известно, что бунтарские стихи Полежаева, как и запрещенные стихи декабристов, ходили по рукам в многочисленных списках.

Освобожденный из-под ареста в октябре 1827 года, в мае следующего он снова подвергается аресту за оскорбление фельдфебеля, который сделал поэту выговор за слишком позднее возвращение в казарму. Он был посажен на гауптвахту при Спасских казармах. Рождается короткое, но гневное стихотворение:

Притеснил мою свободу
Кривоногий штабс-солдат:
В угодение уроду
Я отправлен в каземат.
И мечтает блинник сальный
В черном сердце подлеца
Скрыть под лапою нахальной
Имя вольного певца.
Но едва ль придется шуту
Отыгаться без стыда:
Я — под спудом на минуту,
Он — в болоте навсегда.

Но Полежаев, гордо именуемый себя вольным певцом, ошибается только в одном: не «на минуту», а на многие месяцы продлится его арест.

Состояние поэта мрачное. Здоровье тоже начало сдавать. Возможно, именно в это время он заболевает туберкулезом, или чахоткой, впоследствии погубившей его. Над опальным солдатом нависла угроза страшного наказания шпицрутенами. С отчаяния у него даже рождается мысль о самоубийстве. Но и в этих условиях поэт не сломлен, продолжает писать.

Единственной отрадой в эти месяцы для Полежаева стала его дружба с чиновником Московского приказа общественного призрения А. П. Лозовским. Эта дружба оказалась прочной, настоящей, о чем свидетельствуют многие стихи поэта, посвященные новому другу.

Лозовский морально поддерживал опального поэта, настаивал на том, чтобы тот продолжал писать стихи.

В декабре Полежаева освобождают из-под ареста и без наказания (засчитаны многомесячное пребывание под стражей и его молодость) переводят в Московский пехотный полк.

В феврале следующего, 1829 года этот полк направляется на Кавказ. Начинается кавказский период жизни и творчества поэта. Длительные изнуряющие походы, многочисленные сражения на левом фланге Кавказской линии.

Историк Кавказской войны В. Потто рассказывает со слов своего отца, служившего тогда генералом: «В рядах Московского полка с тяжелым солдатским ружьем, во всем походном снаряжении шел известный русский поэт Полежаев. Это был молодой человек, лет 24-х, небольшого роста, худой, с добрыми и симпатичными глазами. Во всей фигуре его не было ничего воинственного; видно было, что он исполнял свой долг не хуже других, но что военная служба вовсе не была его предназначением»¹.

¹ Полежаев А. И. Стихотворения и поэмы. «Библиотека поэта». Большая серия. Второе издание. Л.: Советский писатель, 1957. С. 22—23.

Из этих скупых слов современника нетрудно понять, какое бремя нес Полежаев. И нес мужественно. В боях при Автуре, Гельдигене, Кулиш-Юрте, Чир-Юрте, Герменчуге, Гимрах А. Полежаев проявляет бесстрашие и стойкость. Он был замечен командующим частью генералом А. А. Вельяминовым и награжден унтер-офицерским чином.

А это был действительно боевой генерал, друг и сподвижник знаменитого А. П. Ермолова, удаленного с Кавказа Николаем I за тайные связи с декабристами. И похвалу Вельяминова заслужить было не просто. На вопрос о направлении дальнейшего продвижения войска генерал обычно отвечал: «Куда ведет нас барабанщик!». Фраза эта стала крылатой среди солдат. Кстати, среди них было немало бывших декабристов. К ним, как и к Полежаеву, генерал относился сочувственно.

Немного сохранилось сведений о трех с половиной годах жизни А. Полежаева на Кавказе. Но он сам лучше всего рассказал о них в своих поэмах, созданных в перерывах между походами и сражениями.

Поэмы «Эрпели» (1830) и «Чир-Юрт» (1832) занимают особое место не только в творчестве Полежаева, но и в русской поэзии, так как до них не было столь крупных произведений на батальную тему, содержащих богатейший фактический материал. Опубликованы поэмы в 1832 году в Москве отдельным изданием. Незадолго до этого тоже там вышел первый сборник поэта — «Стихотворения».

Голос А. Полежаева, сражавшегося на Кавказе, был услышан всей передовой Россией. Впрочем, в житейском плане для поэта это почти ничего не изменило.

За участие в штурме в октябре 1832 года оплота мюридов Гимры унтер-офицер Полежаев был все тем же Вельяминовым представлен к производству в прапорщики, но это не было санкционировано высочайшей особой. А летом 1833 года полк, в котором служил Полежаев, отзывают с Кавказа и направляют в Москву. Вернувшись в Россию, поэт периодически вырывается из казарменной обстановки на волю и стремится ко всему новому, светлому, передовому, не опасаясь за свою репутацию в глазах начальства. С кем же он вступает в отношения, знакомится?

Некоторое время полк поэта стоял в городе Коврове Владимирской области. Установлено, что в этом провинциальном городке Полежаев подружился с разnochинцем Н. И. Шагановым, который хотел создать тайное общество. Поэт подарил ему несколько своих стихотворений. Среди них было одно, примечательное в смысле глубины и тематической направленности поэтических раздумий автора. «Бог создал мир, но кто же создал бога» — так начиналось стихотворение, рукопись которого пропала.

В Москве Александр Иванович поддерживает связи с некоторыми литераторами (например, с известным водевилистом и критиком Ф. А. Кони, с поэтами Л. А. Якубовичем и В. И. Соколовским),

с театральными кругами второй столицы, в частности с людьми, близкими к великому артисту П. С. Мочалову, возобновляет дружбу с художником А. В. Уткиным, наконец, знакомится с А. И. Герценом и Н. П. Огаревым, что очень примечательно. Всем известны два этих великих «возмутителя спокойствия», впоследствии бросивших вызов самому императору и царскому самодержавию, звавших Русь к отпору.

В этом же, 1833 году поэт выпускает свой новый сборник стихотворений «Кальян». Помог ему в издательских делах, как и прежде, верный Лозовский. Этот сборник был третьей книгой стихов поэта, вышедшей при его жизни. Он же оказался и последним (если не считать переиздания «Кальяна» в 1836 году).

Дальнейшие попытки издать книги произведений Полежаева пресекались цензурой. Так, ею была запрещена подготовленная поэтом четвертая книга стихов. Полежаев дал ей название — «Разбитая арфа». Книга вышла лишь после смерти поэта под названием «Арфа» (1838). Собственноручно переписанный в 1837 году самим поэтом сборник «Часы выздоровления» издан лишь в 1842 году с цензурными искажениями. Выход этого сборника дал повод В. Г. Белинскому написать статью о Полежаеве, в которой впервые давалась оценка творчества поэта.

Осенью 1833 года Полежаев переводится из Московского пехотного в Тарутинский егерский полк, перемещавшийся тогда по Московской, Калужской, Рязанской губерниям. Когда полк находился в городе Зарайске, у поэта летом 1834 года состоялась примечательная встреча. Это была ирония судьбы, которая свела Полежаева с жандармским полковником Бибиковым. Тем самым, по доносу которого была сломана вся жизнь поэта. Но Полежаев не знал, что этот человек — виновник его мучений, да так и никогда не узнал.

На этот раз Бибиков проникся к нему сочувствием, решил благодетельствовать поэта, как-то облегчить его участь. Он выхлопотал унтер-офицеру Полежаеву неофициальный отпуск. В представлении Бенкендорфу Бибиков писал о поэте, что он стал другим, что в стихах его уже не звучат крамольные ноты.

Однако в III Отделении были сведения противоположного характера, которые поставил предатель декабристов И. В. Шервуд, доказывавший, что Полежаев с его стихами отнюдь не стал «благонадежным». Кроме того, имя Полежаева как автора крамольных произведений упоминалось в деле о кружке Сунгурова (1831) и в деле «О лицах, певших в Москве пасквильные песни» (1834). Тем не менее поэт получает двухнедельный отпуск. Бибиков приглашает его отдохнуть в свою семью на дачу, в подмосковное село Ильинское.

Эти две недели стали, пожалуй, самыми светлыми в трагической жизни поэта. Хорошая обстановка, прекрасная природа, наконец, старшая дочь Бибикова Екатерина... Поэт влюбился в эту совсем юную девушку, которой тогда исполнилось только что шестнадцать лет. Это было, по выражению Белинского, «идеальное чувство», но

оно пришло слишком поздно. Девушка с интересом наблюдала, как неправильные черты его лица могли «в одно мгновение осветиться, преобразиться от одного взгляда его чудных, искрометных, больших черных глаз» (см. воспоминания Е. И. Бибиковой-Раевской в настоящем издании).

Поэт посвящает девушке трогательные строки, а Екатерина рисует портрет поэта, который считается лучшим в его иконографии, передает наибольшее сходство.

И здесь, в столь приятные для поэта дни, папаша девушки пытается (не в этом ли цель приглашения!) еще раз повлиять на Полежаева, чтобы его утихомирить. Он предлагает послать к Бенкендорфу некоторые его стихотворения, а в конце одного из них приписать строки о прощении. Поэт решительно отказался это сделать.

Отпуск быстро кончается. Бибиков требует возвращения поэта в полк. Как же не хотелось ему из этого рая возвращаться в ад! И поэт по пути из Ильинского снова попытался бежать. На этот раз его проступок замяли.

Служба тяготит его все больше, да и здоровье ухудшается. Сдаваться, петь хвалы самодержавию поэт не хотел. Но только так можно было освободиться от проклятой казармы. И Полежаев, чтобы забыться, стал много пить.

По свидетельствам очевидцев, с 1836 года он сильно хворает. Чухотка прогрессирует. В 1837 году за очередную провинность его подвергли телесному наказанию и потом долго из его спины вынимали занозы...

И все же поэт не сломлен. Он творит в этих невыносимых условиях, пишет оригинальные стихотворения, делает переводы из Вольтера, Гюго, других западных поэтов.

Характерно, что среди последних переводов находим стихотворение Вольтера «Прощание с жизнью», которое начинается так:

Итак, прощайте! Скоро, скоро
Переселюсь я, наконец,
В страну такую, из которой
Не возвратился мой отец!

На вопрос:

Кто этот мир без сожаленья
Покинуть может навсегда?

дается мужественный ответ:

Не тот ли, кто без заблужденья,
Как неподвижная звезда,
Среди воздушного волненья
Привык умом своим владеть...
И, сын бессмертия и праха,
Без суеверия и страха
Умest жить и умереть.

Вспоминается замечание Белинского, что Полежаев переводил то, что соответствовало его внутреннему состоянию.

Неугасимая любовь к жизни, жажда впечатлений помогают поэту бороться с невзгодами. Неугомонный Полежаев весной 1837 года решил навестить своего старого приятеля (еще с университетских времен) В. А. Бурцова в его имении под городом Муромом Владимирской губернии. Там вместе с хозяином и его гостями он развлекался охотой на пернатую дичь. А вскоре эти впечатления им были выплеснуты в поэме-шутке «Царь охоты», которую цензура, несмотря на веселый тон, в печать не разрешила.

Тяготы службы, нужда, преследования цензуры, безнадежность... Все это в конце концов окончательно сломило здоровье поэта. В конце сентября 1837 года его кладут в Московский военный госпиталь. Буквально в предсмертной агонии поэту оказана высочайшая милость: в декабре его производят из унтер-офицеров в прапорщики.

В январе Полежаева переводят в офицерскую палату. А через три дня — 16 (28) января 1838 года поэта не стало.

Труп А. И. Полежаева один из его друзей обнаружил в подвале госпиталя под другими трупами, нога поэта была объедена крысами... Могила его затерялась...

Так трагически закончилась эта человеческая судьба. Но жизнь страдальца продолжается в его поэтической судьбе.

II

Какая черная доля! Знал ли он счастье? У Грибоедова, Пушкина, Лермонтова был трагический конец, но у них ведь было много счастья в жизни — положение, любовь, слава... У Полежаева — разве что две недели, проведенные в селе Ильинское. И неудивительно ли, что творчество этого своеобразного и большого таланта, не успевшего развернуться во всю силу, полно светлых мотивов, юмора, озорства, упоения жизнью. Все оно как бы соткано из противоположностей: безысходная тоска и горечь персмешаны в нем с искрометным озорством и весельем. А житейские муки и невзгоды придают его стихам большое социальное звучание, как бы становясь политическими документами. Во всяком случае — это трепетные человеческие документы мятущейся вольнолюбивой души, томившейся в атмосфере последекабрьского удушья. Души страдающей, но не сломленной.

Если сказать обобщенно и кратко, для творчества А. И. Полежаева характерно смешение романтического и реалистического, низкого и высокого, простонародного и литературного, небрежно-шутливого и торжественного, архаического и нового. Главное художественно-мировоззренческое кредо поэта — свобода личности, ненависть к всяческому угнетению. Его поэзия объективно стала призывом к продолжению борьбы после катастрофы 14 декабря 1825 года. По силе и резкости выпадов против тирана-самодержца в своих стихах он превосхо-

дит поэтов-декабристов. По своей судьбе и творчеству Полежаев — явление не только поэтическое, но и общественное.

Много ли написано Александром Ивановичем Полежаевым? На это точно мы ответить не можем. Его литературное наследие, дошедшее до нас, составляет примерно полторы сотни поэтических произведений — оригинальных стихотворений, поэмы и переводов. Однако изучение архивов, некоторые достоверные факты позволяют думать, что Полежаевым написано гораздо больше. Вот, пожалуй, один из самых веских фактов¹.

В 1851 году издатель и книготорговец А. Смирдин, задумавший издать всего Полежаева в составе «Библиотеки русских писателей», представил в цензуру рукопись его произведений, предполагая выпустить их в пяти томах. В пяти! А ныне все наследие поэта умещается в одном томе. Разрешения на издание Смирдиным получено не было. Что стало потом со всем этим богатством, неизвестно. Немало рукописей, хранившихся у А. П. Лозовского, также исчезло бесследно.

Итак, жизнь жестоко обошлась с Полежаевым и после его смерти. Осталось далеко не все из созданного им. А многие опубликованные стихотворения усечены царской цензурой. Но и оставшееся ставит А. И. Полежаева в число виднейших поэтов 20—30-х годов XIX столетия.

Писать стихи Полежаев начал довольно рано, учась в частном пансионе. Но эти первые поэтические опыты до нас не дошли. Первые известные ныне произведения написаны Полежаевым — учащимся Московского университета. Правильным будет сказать, что как поэт Полежаев начался с озорной поэмы «Сашка», написанной отнюдь не для печати в 1825 году. Напряженный, горячечный труд Полежаева-поэта длился всего 13 лет, вплоть до смерти, которая пришла на 34-м году и оборвала его жизнь в расцвете таланта. Между тем последние сочинения поэта свидетельствуют о несомненном творческом росте.

Только 13 лет литературной деятельности подарила судьба Полежаеву. Но в этой деятельности отразилась не одна мятенная жизнь поэта, а в известной степени жизнь России первой трети прошлого века.

1825 год стал годом, когда Полежаев начинает выступать в печати. В декабрьской книжке «Вестника Европы» М. Т. Каченовского появляются стихотворение «Непостоянство» и перевод из макферсонова Оссиана «Морни и тень Кормала». В следующем году здесь же публикуется еще несколько стихотворений. Затем полежаевские стихи и переводы печатают журнал «Галатей», альманахи «Уrania», «Эхо», «Венера», «Северное сияние» и другие². Но Полежаева уже знали до

¹ См.: Баранов В. Судьба литературного наследия А. И. Полежаева. // В кн.: Литературное наследство, М.: Журнально-газетное объединение, 1934. Т. 15. С. 228.

² Подробно об этом см.: обзор В. Баранова «Судьба литературного наследия А. И. Полежаева». Литературное наследство. Т. 15.

начала печатания его стихов. «Сашка» ходил в многочисленных списках не только в университете.

Родилась эта поэма в интервале между 1 февраля и 1 июля 1825 года. В феврале этого года выходит первая глава «Евгения Онегина». «Сашка» — своеобразная пародия на произведение А. С. Пушкина, вернее — это полемика с автором «Онегина». Можно предположить, что поэма написана в марте — апреле, быстро, на одном дыхании, как почти все у Полежаева.

Разойдясь в списках, она стала известна многим, не только студентам. А ведь на это тоже надо было время. Вот конкретный факт. Московский почт-директор А. Я. Булгаков в своем письме от 1 июля 1825 года называет Полежаева автором поэмы «Сашенька»! Чиновник чуть-чуть перепутал название, но несомненно, что речь идет о «Сашке».

Что же касается однокашников поэта по университету, где ему оставалось учиться еще год, то они знали, помимо «Сашки», и другие его произведения, например, повесть в стихах «Рассказ Кузьмы, или Вечер в «Кенигсберге», описывающую похождения студентов. Кстати, «Рассказ Кузьмы» датирован поэтом 7 июня 1825 года. Значит, вещь эта писалась, может быть, в мае. «Сашка», написанный ранее, уже ходил по рукам.

Московский университет в 20-е годы был одним из самых демократических заведений России, так как сюда принимались ученики всех сословий. Было много разночинной молодежи, к какой принадлежал и мещанин города Саранска Полежаев и его ближайшие товарищи. В университете действовали разные общества, где открыто обсуждались многие вопросы культурной и общественной жизни, издавался журнал.

Учился Полежаев неплохо, хотя студенческая вольница находила в нем самого горячего участника всех затей, включая попойки, драки, схватки с полицией. Студент-буян, умеющий широко кутнуть, был в ореоле славы. Это и отразилось в «Сашке».

Внимание к его стихам товарищей, одобрение преподавателей, конечно, окрыляли молодого стихотворца. Известно, что профессор словесности А. Ф. Мерзляков, лекции которого зачастую были вдохновенными импровизациями, покорявшими слушателей, правил его стихи. Сам поэт, автор известной песни «Среди долины ровныя», ставшей народной, он понимал, что перед ним одаренный молодой человек.

В начале 1826 года Полежаева избирают членом Общества любителей российской словесности. Ему поручают написать стихи к празднованию дня основания университета и по случаю окончания учебы.

Полежаев успешно сдает выпускные экзамены и получает высшее для выпускника звание действительного студента, что давало ему право на личное дворянство. Казалось бы, все складывалось хорошо. Но тут подоспел донос Бибикова, и вчерашнего выпускника ведут

к царю. «Сашка», прототипом которого был сам поэт, стал виновником катастрофы всей его жизни.

В поэме, повторяем, Полежаев полемизирует с автором «Евгения Онегина». Первая ее строка по звучанию перекликается с первой онегинской:

Мой дядя — человек сердитый...

Но у Полежаева все — другое. Это не подражание Пушкину, это свое, зачастую противоположное, хотя поэма местами сходна по ситуациям и деталям с пушкинским произведением. Герой Пушкина — дворянин, герой Полежаева — студент-разночинец. В «Онегине» — картины блестящей светской жизни, в «Сашке» — грубый быт, пьяные, эротические сцены, доведенные, как бы в пикку дворянским вкусам, до натурализма и антиэстетизма.

Конечно, и до Полежаева были в литературе ироикомические поэмы, например, «Елисей, или Раздраженный Вакх» В. И. Майкова, «Опасный сосед» В. Л. Пушкина и другие. Но полежаевская поэма отличается от них четкой общественно-политической направленностью. Герой полежаевской поэмы — это, повторяем, свободолюбивый человек, враг существующего общественного устройства. Правда, свой протест он начинает сомнительным образом:

Искал он буйственной свободы...

Герой не отличается нравственным совершенством, но это — характер:

Черты характера сего:
Свобода в мыслях и поступках,
Не знать судьбою никого,
Ни подчиненности трусливой,
Ни лицемерия ханжей,
Но жажду вольности строптивой
И необузданность страстей!
Судить решительно и смело
Умом своим о всех вещах
И тлеть враждой закоренелой
К мохнатым шельмам в хомутах!

Вот каков Сашка. К тому же он знает французский и немецкий языки, поверхностно знаком с несколькими науками и «даже рифмы стал кропать»:

Хоть и не верит он Исусу,
Но, право, добрый молодец!

Конечно, такой молодец далек был от покорности и религиозного ослепления. Поэтому-то он не мог понравиться монарху. Но в поэме есть и непосредственный авторский текст:

...Умы гнетущая цепями,
Отчизна глупая моя!
Когда тебе настанет время
Очнуться в дикости своей?
Когда ты свергнешь с себя бремя
Своих презренных палачей?

Тут все сказано смело и прямо. Вот этого-то царь не мог простить дерзкому молодому поэту!

То, что поэма автобиографична, открывает нам сам автор уже в третьей строфе, говоря о Сашке:

Студенты всех земель и краёв!
Он ваш товарищ и мой друг;
Его фамилья Полежаев...

Здесь же сообщается, что герой родился в «малом селишке» под Саранском. А там родина Полежаева.

Мы не знаем, куда приведет героя «жажда вольности» и «необузданность страстей» (поэт так и не рассказал об этом, хоть и обещал в конце поэмы), но знаем, чем обернулась для Сашкиного прототипа и его создателя-автора поэтическая вольность. Она обошлась ему очень дорого! Вместе с солдатчиной для Полежаева начались различные беды и мытарства. Но поэт уже не мог не творить. В стихах все его чувства и думы. Чтобы узнать о них, нужно только вчитаться в строки. Вот стихотворение «Цепи». Характерное название!

Зачем игрой воображенья
Картины счастья рисовать?
Зачем душевные мученья
Тоской опасной растравлять? —

спрашивает сам себя поэт, уже осознавший неотвратимость случившегося. Все позади:

Любовь к прекрасному, природа,
Младые девы и друзья,
И ты, священная свобода, —
Всё, всё погибло для меня!

Но дух его не смиряется, рука подчас тянется к оружию. Однако минутное забвение сменяется горьким сознанием, что он в неволе солдатчины:

Как раб испуганный, бездушный,
Тогда клянусь свой жребий я
И вновь взираю равнодушно
На цепи нового царя.

В эти первые годы военной службы Полежаев создает такие значительные произведения, как «Песнь пленного ирокезца», «Рок», «Жи-

вой мертвец», «Песнь погибающего пловца» и другие. Сколько в них горечи, страдания, силы духа, ненависти к врагам свободы! Эти стихотворения достаточно известны, чтобы на них останавливаться. Важно только напомнить, насколько актуально звучали в них темы притеснения, тюрьмы, арестантской участи и протеста против угнетателей в тот мрачный период после декабрьской трагедии.

Однако стоит остановить внимание на одном произведении этих лет. Речь идет о подлинной исповеди, написанной поэтом в 1828 году в один из самых тягостных моментов жизни. Он сидит в тюрьме Спасских казарм. Тут, среди мрака отчаяния, к нему приходит, как уже говорилось, единственная радость — дружба А. П. Лозовского, которая была проверена всей дальнейшей жизнью.

Эта исповедь — по размеру целая поэма, которая публиковалась в разное время под разными заголовками (последние из них — «Арестант», «Александру Петровичу Лозовскому», «Узник»).

Поэт благодарит за дружбу, подаренную ему в заточении. А вот полные достоинства строки, в которых среди удручающей беспросветности звучит гордость за свой талант:

Броня сермяжная и штык —
Удел того, кто был велик
На поле перьев и чернил;
Солдатский кивер осенил
Главу, достойную венка...
И Чайльд-Гарольдова тоска
Лежит на сердце у того,
Кто не боялся никого...

И тут к поэту приходит отчаянная, страшная мысль:

...если средства нет спастись
От угнетения и цепей,
То жизнь страшнее ста смертей,
И что свободный человек
Свободно кончить должен век...

Затем поэт рисует реалистическую картину тюрьмы, всего, что его окружает, и тех, кто рядом с ним страдает —

<Царя> решительных врагов.

И вот, поверженный во прах, поэт гордо обращается к самому царю:

О ты, который возведен
Погибшей в <ольности> на трон...
Поймешь ли ты, что твой народ
Есть пышный сад, а ты — Ленотр,
Что должен ты его беречь
И ветви свежие не сечь...

Поймешь ли ты, что ц<арский> долг
 Есть не душить, как лютый волк,
 По алчной прихоти своей
 Мильоны страждущих людей...

Поэт, клеймя, пытается вразумить царя! Но нет, это не наивная вера. Он понимает, что надеяться на гуманность царя глупо:

Но что?.. К чему напрасный гнев,
 Он не сомкнет Молохов зев:
 Бессилен звук в моих устах,
 Как меч в заржавленных ножнах...

Тогда поэт мысленно обращается к богу — силе, стоящей над царями. Но как рассуждает!

Сказать, что нет его — смешно;
 Сказать, что есть он — мудрено.

А в конце размышления смело бросает эти мудрые, тяжелые слова:

Когда я волен — он тиран,
 Когда я кукла — он болван.

Замахнуться на бога могут только титаны! В стихотворении 1833 года «Гальванизм, или Послание к Зевесу» Полежаев заявил, обращаясь к богу:

К чему мне ты? Я сам Зевес!

Поэт назвал в примечании это стихотворение шуточным, но его же признание, что оно написано экспромтом, только усиливает правоту известной пословицы: в каждой шутке есть доля правды. Ведь экспромт — это всегда искренне. А «шуточное» — для цензуры.

Это, да и другие произведения поэта свидетельствуют о непрерывной внутренней борьбе, уходе в себя. Уход этот был настолько глубок, что подчас поэт теряет связь с жизнью и как бы оказывается во второй — внутренней — тюрьме. Зато, когда он, чтобы внутренне раскрепоститься, пытается вырваться в быт — в прямом и переносном смысле, — рождаются светлые строки, произведения, полные радости жизни, юмора, озорства, упоения любовью и дружбой, от которого кружится голова и забываются все беды. Таковы, например, стихотворения «Букет», «К друзьям», «Ожидание», «Белая ночь», «Тарки», «Картина», поэмы «Чудак», «Царь охоты» и другие. Но нередко среди покоя к нему приходят тревожные думы, мысли тираноборца. Таков уж этот человек! Вот он гуляет в саду, наслаждаясь красотой цветов и деревьев, и размышляет — о чем только он не размышляет! И вдруг:

Преображаю в полубога,
 Сужу решительно и строго
 Мирские бредни, целый мир,

Дарю счастье миллионам,
Проклятья посылаю тронам...

(«Кремлевский сад»)

Поэт курит трубку... Вроде бы минута покоя, ароматный дымок так привычен и приятен, но:

Тиран лишил меня всего —
И чести и свободы,
Но все курю, назло его.
Табак, как в прежние годы...

(«Табак»)

Полежаев никогда, никому не стремился подражать. Он шел в литературе один, в стороне от литературных кругов, скажем, в стороне от поэтов-любомудров или поэтов пушкинского направления. У него были, конечно, учителя, прежде всего это Ломоносов, Державин, Жуковский, Батюшков, Пушкин. Но он шел один, своей стезей. Однако горячая натура, любовь к правде и свободе, само время невольно сделали его как бы продолжателем декабристов.

Полежаева покарала та же рука, что и декабристов, на него писал донос тот же шпион, что и на декабристов, его стихи, как и стихи Рылеева, тайно распространялись в рукописных списках среди разных слоев тогдашней России, будоража умы, вселяя веру, что не все смирилось в этой стране.

Поэт трезво отдает себе отчет в том, что борьба проиграна. В стихотворении «Рок» он прямо заявил, что:

...Русь как кур передумил
Ефрейтор-император.

И в этой безнадежной атмосфере разгрома, когда самые благородные умы были сосланы в Сибирь или томились, как он, в солдатчине, Полежаев создает одно из самых смелых произведений вольной русской поэзии — песню «Ай, ахти! ох, ура...», подобную декабристским агитационным песням. В ней поэт от имени солдат клеймит царя как клятвопреступника, обещавшего прощение декабристам, и мучителя, грозит сурово отомстить. Не случайно через два с лишним десятилетия после смерти поэта Н. П. Огарев в предисловии к сборнику «Русская потаенная литература» метко заметил: «Полежаев заканчивает в поэзии первую неудавшуюся битву свободы с самодержавием; он юношей остался в живых после проигранного сражения, но неизлечимо ранен и наскоро доживает свой век» (см. настоящее издание).

Все-таки было бы неверно говорить только об этой стороне поэзии Полежаева. В его стихах звучат не только социальные и общественно-политические мотивы. Он воспевает красоту природы, любовь, дружбу, глубокие переживания страдающей души. Еще Белинский отмечал важнейшее свойство поэзии Полежаева — «необыкновенную си-

лу чувства». Оно пронизывает все творчество поэта. Полежаевский лиризм проникновенен, подчас мрачен, иногда светел. Вот, к примеру, строки легкие и изящные:

Отчего же локон черный,
Этот локон смоляной,
День и ночь, как дух упорный,
Все мелькает предо мной?

(«Грусть»)

Или:

Была пора — за милый взгляд
Очаровательно-притворный
Платить я жизнью был бы рад
Красе обманчиво-упорной!
...Теперь хранит меня судьба:
Пленяюсь женщиной, как прежде,
Но разуверился в надежде
Увидеть розу без шипа.

(«Разочарование»)

Стремительность слога и мысли, чистота и образность, непринужденность и эмоциональность — вот качества, делающие лучшие стихи поэта и сегодня привлекательными, нравящимися подобно пушкинским или лермонтовским.

Полежаев слушает лишь голос своего сердца, оставаясь самим собой. Для него нет идолов. Всеобщего кумира Пушкина он тоже любит и высоко ценит. Об этом убедительно говорит «Венок на гроб Пушкина», где Полежаев называет поэта «дивным гением». И все же он не только не стремился подражать Пушкину, даже полемизировал с ним. Пример тому не только «Сашка», но и кавказские поэмы.

«Эрпели» и «Чир-Юрт», вышедшие одной книжкой в 1832 году, имели общее посвящение — «Воинам Кавказа». Это творения свидетеля военных действий, очевидца и участника. Поэтому они, можно сказать, документально-художественные произведения. Их можно даже назвать поэтическими репортажами о событиях. До них такого в нашей литературе еще не было. Автор художественно подает все переживаемое в боях и походах, в лагере, на привалах, в горских селениях. Он — один из тех многих, кто проявляет невероятное солдатское терпение, выносливость, героизм.

Поэт славит русское оружие, разделяя официальную точку зрения, что к горским народам вместе с русской армией приходит мир, защита, благо. Он рисует величавые образы Ермолова, Вельяминова, других военачальников, смелого руководителя горцев Кази-Мулла. Но воспевая героизм русского солдата, поэт отдает должное и противнику, его бесстрашию, и что характерно — не оглуляет его вожаков:

И я клянусь своим ружьем:
Кази-Мулла с большим умом
И вправе требовать почтения!

(«Чир-Юрт»)

В интересных отступлениях, монологах в поэмах крупно представлены авторское «я», размышления о собственной поэтической судьбе. Кто не знает этих знаменитых строк:

Что ж будет памятью поэта?
Мундир?.. Не может быть!.. Грехи?..
Они оброк другого света...
Стихи, друзья мои, стихи!..

(«Эпелии»)

Обращает внимание и такой прием: по ходу рассказа автор местами и присутствует как действующее лицо, и вместе с тем отсутствует. Так, в батальных сценах и эпизодах преодоления природных препятствий автор исчезает, как бы растворяясь среди солдатской массы. Но читатель чувствует, что поэт там, среди героев событий.

В то время кавказская тема в литературе была модной. Обычно Кавказ романтизировался. Полежаев предлагает свое видение края, противоположное утвердившемуся в литературе. Для этого он снова открыто вступает в полемику с самим Пушкиным:

...черкешенок смотреть,
Пленяться день и ночь горами,
О коих с многими глупцами
По географии я знал,
Эльбрусом, борзыми конями,
Которых Пушкин описал,
И прочая... Ах, нет, мой милый!

(«Эпелии»)

Обращаясь к читателю, поэт говорит, что если доведется ему побывать в этом краю, увидеть все реалии суровой действительности, тогда романтический ореол улетучится:

Тогда судить умнее станешь,
Навек поклонись мечтам —
И удивляться перестанешь
Кавказа вздорным чудесам!

(Т а м ж е)

Нельзя не подчеркнуть и такой характерный для Полежаева момент: поэт и в этих военных поэмах в глубине души — убежденный сторонник мира. Горько звучит мимолетное его восклицание:

Есть много стран под небесами,
Но нет той счастливой страны,

Где б люди жили не врагами,
Без права силы и войны!

(«Чир-Юрт»)

В этих словах, вполне современных и ныне, — осуждение безумия войн.

Значительная часть текста поэм — эпическое повествование. Но там немало фрагментов, которые в жанровом отношении можно определить как стихотворную бытописательную новеллу, патетическую оду, сатиру, дружеское послание, авторский монолог. Много в тексте обиходной речи, что придает поэмам очень достоверный, реалистический колорит.

Художественная особенность кавказских поэм — контрастность. И здесь Полежаев верен себе: возвышенно-реалистическое он смешивает с приземленно-бытовым. Плюс обилие фактического материала. Получается нечто специфически полежаевское, уникальное в русской поэзии.

Признано, что эти поэмы помогли становлению и победе реализма в русской поэзии. Они предвосхищают художественный метод Лермонтова и Л. Толстого в изображении Кавказа.

Кроме этих больших произведений, Полежаев написал на Кавказе немало прекрасных стихотворений, в том числе «Черная коса», «Водопад», «Раскаianie», «Цыганка». Выделяются из них те, которые связаны с народным песенным творчеством гребенских и терских казаков. Это, например, стихотворения и песни «Казак», «У меня ль, молодца», романс «Пышно льется светлый Терек» и другие. Да и после возвращения с Кавказа поэт не забывает песенных жанров, он создал «Русские песни», великолепную вещь «Тюрьма», написанную в 1837 году, последнем году жизни. Между прочим, на примере этого стихотворения блестящий знаток русской поэзии И. Н. Розанов доказал новаторство Полежаева как автора песен (оригинальное применение ассонансов в дактилических окончаниях)¹.

Полежаевым написано более десятка поэм, дошедших до нас. Некоторые безвозвратно утрачены. Да, он любил крупные эпические формы, хотя писал очень сжато. Среди поэм и повестей в стихах есть шуточные, сатирические, бытописательные («Рассказ Кузьмы, или Вечер в «Кенигсберге», «Иман-Козел», «Кредиторы», «Чудак», «День в Москве», «Царь охоты»), исторические («Кориолан», «Видение Брута»). Но, конечно, самыми значительными следует назвать его кавказские поэмы «Эрпели» и «Чир-Юрт».

Что бы ни писал Полежаев, везде присутствует лирическая исповедь автора. Причем авторское «я» обычно выражено очень активно. Поэт борется со всем, что мешает его личности — и с внутренними не-

¹ Песни русских поэтов (XVIII — первая половина XIX века). Редакция, статья и комментарии И. Н. Розанова. «Библиотека поэта», Л., 1936 г., с. 320—321.

достатками или недугами, и с внешними врагами (угнетателями, несправедливостью, коварством и т. п.). В его стихах — невероятное страдание и буйное веселье, высокое и низкое, личное и общественное. Поэтому стихи Полежаева представляют собой подлинно человеческий документ. Может быть, термин «человековедение» с наибольшим соответствием приложим к поэзии Полежаева. Не случайно Полежаев считается одним из основателей исповеднической поэзии, ближайшим предшественником М. Ю. Лермонтова. Кстати, даже романтическая ирония у Полежаева, как и у Лермонтова, будучи оружием против мировой скорби и мании величия эпигонов романтизма, служила глубинному раскрытию души, приближала к реализму.

Литературоведы нередко говорят о таких неизменных романтических атрибутах полежаевской поэзии, как свободные стихии природы, рок, демон и демонизм, разочарованность в жизни и т. п. Не считая необходимым следовать данной традиции (читатель, прочтя стихи поэта, увидит это сам), подчеркнем только, что творчество Полежаева все больше становилось реалистическим. Тому свидетельство — и предсмертные строки, адресованные в декабре 1837 года Лозовскому:

И что ж? Чахотка роковая
В глаза мне пристально глядит
И, бледный лик свой искажая,
Мне, слышу, хрипло говорит:
«Мой милый друг, бутыльным звоном
Ты звал давно меня к себе;
Итак, являюсь я с поклоном —
Дай уголок твоей рабе!
Мы заживем, поверь, не скучно:
Ты будешь кашлять и стонать,
А я всегда и безотлучно
Тебя готова утешать...»

Сколько мужества, правды, иронии, неиссякаемой поэтической энергии в этих строках умирающего!

* * *

Полежаев не мог не писать. Он писал даже в самых невыносимых условиях, даже в тюрьме, в солдатской палатке, на больничной койке. Это — свидетельство его подлинности. Он хотел быть поэтом, верил в свой талант, но он же не раз выносит в стихах очень, мягко говоря, скромную оценку своему творчеству. По его стихам можно составить представление и о познавательных интересах Полежаева. Они были довольно широки. Он изучал мифологию и историю древнего мира, труды виднейших философов Западной Европы (от древнегреческих до новейших — Вольтера и Гольбаха), знал русскую литературу, читал произведения крупнейших европейских писателей — Гете, Байрона, Гюго и других, стихи некоторых из них не без успеха переводил на русский. В его багаже не одни университетские знания, поэт

занимался (конечно, по возможности) самообразованием до конца жизни.

Поэзия Полежаева во многом отвечала требованиям своего времени. Обличая самодержавие и социальную несправедливость, она становилась общественным явлением. Пишут, что у Полежаева не было четкого представления, как переделать жизнь, общество. Но разве так уже обязательно это для поэта? Будить людей к борьбе — в этом была заслуга Полежаева.

Неоспорима его роль в общем процессе демократизации русской литературы. Полежаев был запевалой недворянской поэзии, проявив новаторскую смелость опозэтизировать такие стороны жизни и быта, которые тогда в стихи не допускались. Для этого он использует и свою, тоже новую, поэтику, отражающую вкусы не дворянского, а разночинного класса.

Поэт пишет много и почти во всех поэтических жанрах своего времени (поэма, повесть в стихах, элегия, послание, сатира, романс, песня, эпиграмма). Впервые обстоятельную оценку творчеству Полежаева дал В. Г. Белинский в известной статье 1842 года (см. настоящее издание). С ней в целом нельзя не согласиться, хотя, надо признать, критик был очень суров к поэту и можно бы кое в чем с высказанным в статье поспорить. Все же Белинским отмечено главное: да, поэт талантлив, хотя в его творчестве много незрелого, недоделанного, есть даже «смесь» прекрасного и безобразного. Думается, стоит акцентировать внимание читателя на этих для нас наиболее важных оценках великого критика:

«Талант Полежаева мог бы сделаться бессмертным, если бы воспитался на плодородной почве исторического мирозерцания».

«Полежаев свободно владел и языком и стихом...»

«Отличительную черту характера и особенности поэзии Полежаева составляет необыкновенная сила чувства, свидетельствующая о необыкновенной силе его натуры и духа, и необыкновенная сила сжатого выражения, свидетельствующая о необыкновенной силе его таланта».

«...Из всех поэтов, явившихся в первое время Пушкина, исключая гениального Грибоедова, который один образует в нашей литературе особую школу, — несравненно выше всех и достойнее внимания и памяти — Полежаев и Веневитинов...»

Великий критик высказал пожелание, что Полежаева надо издавать «с разбором и с толком», отсеив все слабое. Тогда «книжка выйдет небольшая, зато прекрасная по содержанию и необходимая для каждого любителя отечественной литературы».

«Необходимая!» — вот то слово, которым сказано главное. Ведь сколько поэтов за полтора века после кончины Полежаева перестали быть необходимыми, а он — остается им!

Оказал ли А. И. Полежаев заметное влияние на свое время и на отечественную литературу? Несомненно. Об этом свидетельствуют

факты и такие авторитеты, как Белинский, Огарев, А. Григорьев и другие.

Известно, что в студенческие годы Белинский списывал в свои тетради свободололюбивые стихи Полежаева, и, надо думать, впечатление от них не прошло бесследно для формирования художественных, да и общественных взглядов гениального критика.

Н. П. Огарев писал, что «могучий талант» Полежаева рано сгорел, оставив «резкий, жгучий след».

Любопытное свидетельство о действенности поэзии Полежаева находим у А. А. Григорьева, который в своих воспоминаниях о 1830-х годах признается: «... Из уст в уста переходили дикие и порывистые стихотворения Полежаева... Когда произносилось это имя и — очень редко, конечно — несколько других, еще более отверженных имен, какой-то ужас овладевал кругом молодых людей, и вместе что-то страшно соблазняющее, неодолимо влекущее было в этом ужасе...» (см. настоящее издание). Григорьев как поэт тоже испытал заметное влияние Полежаева.

Но особенно наглядно его влияние подтверждается творчеством гения русской поэзии Лермонтова, который во многом подражал Полежаеву, используя его тональность, ритмы, фразеологию, развивал его темы. Многие лермонтовские строки напоминают полежаевские. Об этом написаны исследования¹.

Литературоведами (в частности, Н. Ф. Бельчиковым) отмечалось значение Полежаева как одного из ранних представителей разночинно-демократического этапа русской поэзии, главным достижением которого стало творчество Н. А. Некрасова.

Примечателен и такой факт, красноречиво говорящий о значительном резонансе полежаевской поэзии в культуре прошлого века. Скольких композиторов привлекли стихи Полежаева! На них писали музыку А. А. Алябьев, А. Л. Гурилев, А. Е. Варламов, Ц. А. Кюи и многие другие. Причем на один и тот же текст зачастую создавалась музыка несколькими композиторами. К примеру, на текст знаменитого «Сарафанчика» написали музыку Алябьев, Гурилев, Ю. К. Арнольд, А. И. Дюбюк, М. Р. Бакалейников. Легко представить, в скольких городах и селениях России звучали песни и романсы на слова Полежаева!

Опосредованное влияние Полежаева прослеживается и в нашем веке. Так, В. Я. Брюсов специально интересовался Полежаевым как мастером версификации. Лидер русского символизма не случайно обратился к наследию Полежаева. В самом деле, не является ли та полежаевская смесь прекрасного с безобразным, о которой говорил Белинский, выглядевшая на фоне лучших поэтов того времени как нарушение всяческих норм, — не является ли она первоисточком, какой-то исходной, отдаленной точкой, с которой началось обновление литературы в начале XX века, когда ломались многие нормы и каноны? Эпа-

¹ См.: Обручев С. В. Над тетрадями Лермонтова. М.: Наука, 1965.

тирующий антиэстетизм Полежаева, его беспощадная обнаженность души, его внимание к городской жизни — не есть ли в этом начала модернистских поисков и потрясений в русской поэзии, завершившихся поэтической революцией Маяковского? Такой вопрос также ставился литературоведением¹.

Если допустить, что в этом есть преувеличение, то нельзя отрицать, что оно возникло не без оснований. Зато бесспорно, что наследие Полежаева представляет поучительный интерес для историко-литературной науки, а стихи его — эстетический для современного читателя. Даже такой гениальный художник слова, как А. М. Горький, считал нужным в своем крупнейшем произведении — эпопее «Жизнь Клим Самгина» цитировать полежаевские стихи (из «Четырех наций»).

Имя Полежаева известно и за рубежом — во Франции, Германии, Польше, других европейских странах. Например, после первой мировой войны Т. Манн обращается к «Четырем нациям» в своих «Размышлениях аполитичного». В начале нашего века о Полежаеве узнала Америка из лекций П. А. Кропоткина, позже о поэте напомнил ей В. Набоков².

В советское время многое сделано для изучения биографии и творчества Полежаева в работах В. В. Баранова, Н. И. Воронина, В. И. Безъязычного, В. С. Киселева-Серегина и других. Но последняя точка, пожалуй, еще не поставлена. До сих пор нет документальных подтверждений о точной дате и месте рождения поэта, нужны дальнейшие архивные поиски исчезнувших текстов, не вполне завершена и текстологическая работа. Не дошло до нас и эпистолярное наследие поэта, которое многое прояснило бы в его суровой судьбе.

А. И. Полежаев имеет право на добрую память потомков. Он не преувеличивал, когда в одном из стихотворений («Черные глаза») с горькой гордостью воскликнул:

Вся жизнь моя — гроза!

В своем трагическом противоборстве с тиранией и социальной несправедливостью он боролся не только за себя, но вообще за человека, за его достоинство, за его свободный расцвет, а значит, и за нас.

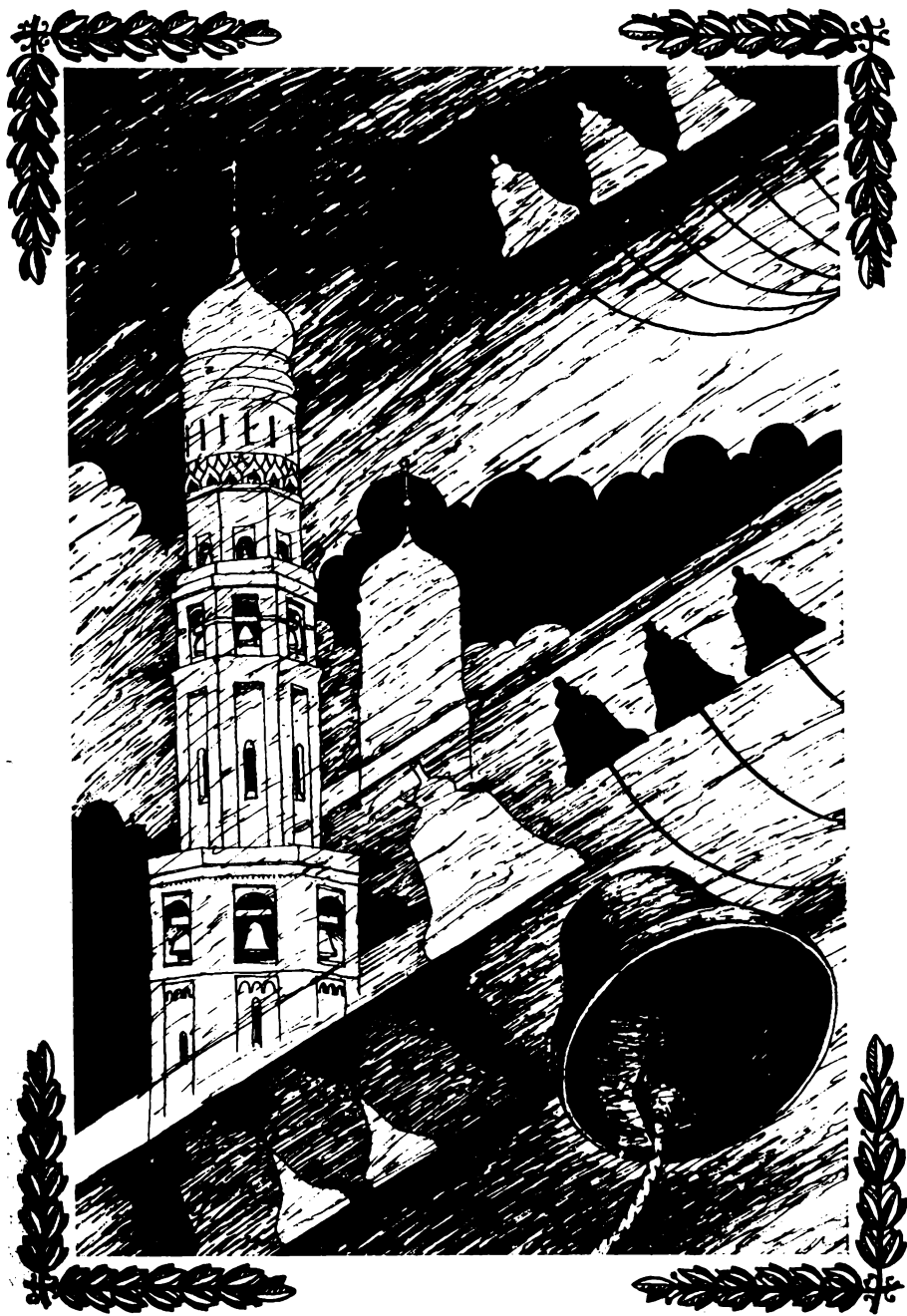
А. Версовин

¹ История русской поэзии. Т. I. Л.: Наука, 1968. С. 482—483.

² См.: А б р о с и м о в а В. Судьба поэта. В кн.: Полежаев А. И. Сочинения. М.: Художественная литература, 1988. С. 27—28.

Стихотворения







НЕПОСТОЯНСТВО

Он удалился, лицемерный,
Священным клятвам изменил,
И эхо вторит: легковерный!
Он Нину разлюбил!
Он удалился!

Могу ли я, в моей ли власти
Злодея милого забыть?
Крушись, терзайся, жертва страсти!
Удел твой — слезы лить:
Он удалился!

В какой пустыне отдаленной,
В какой неведомой стране
Сокрою стыд любви презренной?
Везде всё скажет мне:
Он удалился!

Одна, чужда людей и мира,
При томной песне соловья,
При легком веянье эфира
Невольно вспомню я:
Он удалился!

Он удалился — всё свершилось!
Минувших дней не возвратить!
Как призрак счастье сокрылось...
Зачем мне больше жить?
Он удалился!

ВОСПОМИНАНИЕ

Исчезли, исчезли веселые дни,
Как быстрые воды умчались.
Увы! Но в душе охладелой они
С прискорбною думой остались.
Как своды лазурного неба мрачит,
Облекшись в бурю, ненастье,
Так грусть мое сердце и дух тяготит.
Полина, отдай мое счастье!
Полина! О боги! Почто я узрел
Твои красоты несравненны?
Любовь без надежды — мой грозный удел.
Безумец слепой, дерзновенный,
Чтоб видеть улыбку на милых устах,
Я жертвовал каждой минутой
И пил не блаженство в прелестных очах,
Но яд смертоносный и лютый.
Неволью кипела горячая кровь
В мечтаниях нежных и страстных,
Неволью в груди волновалась любовь
И пламя желаний опасных.
Приятное иго почувствовал я,
В душе родилась перемена,
Исчезла свобода, подруга моя,
Не мог избежать я от плена.
Но что, о прекрасная, случилось со мной —
Волшебная прелестей сила! —
Когда тебя обнял я пылкой рукой,
Когда ты, мой друг, приклонила
На перси литейные робко главу
И в страсти взаимной призналась?
И всё совершилось... Почто ж я живу?
Минута любви миновалась!
Далёко, Полина, далёко оно,
Восторгов живых упоенье;
Быть может, навек и навек мне одно
В награду осталось мученье...
Исчезли, исчезли веселые дни,
Как быстрые воды умчались.
Увы! Но в душе охладелой они
С прискорбною думой остались.

ЛЮБОВЬ

Свершилось Лилете
Четырнадцать лет;
Милее на свете
Красавицы нет.
Улыбкою радость
И счастье дарит;
Но счастья сладость
Лилеты бежит.
Не лестны унылой
Толпы женихов,
Не радостны милой
Веселья пиров.
В кругу ли бывает
Подруг молодых —
И томность сияет
В очах голубых.
Одна ли в приятном
Забвенье она —
Везде непонятым
Желаньем полна.
В природе прекрасной
Чего-то ей нет,
Какой-то неясный
Ей мнится предмет:
Невольная скука
Девуцу крушит
И тайная мука
Волнует, томит.
Ах, юные лета!
Ах, пылкая кровь!
Лилета, Лилета!
Ведь это — любовь.

< 1825 >

НОВАЯ БЕДА

Беда вам, попадьи, поповичи, поповны!
Попались вы под суд и причет весь церковный!
За что ж? За чепчики, за блонды, кружева,
За то, что и у вас завита голова,
За то, что ходите вы в шубах и салонах,
Не в длинных саванах, а в нынешних капотах,

За то, что носите с мирскими наряду
Одежды светлые себе лишь на беду.
А ваши дочери от барынь не отстали —
В корсетах стянуты, турецки носят шали,
Вы стали их учить искусству танцевать,
Знакомить с музыкой, французский вздор болтать.
К чему отличное давать им воспитанье?
Внушили б им любить свое духовно званье.
К чему их вывозить на балы, на пиры?
Учили б их варить кутью, печь просвиры.
Коль правду вам сказать, вы, матери, не правы,
Что глупой модою лишь портите их нравы.
Что пользы? Вот они, пускаясь в шумный мир,
Глядят уж более на фрак или мундир
Не оттого ль, что их по моде воспитали,
А грамоте учить славянской перестали?
Бывало, знали ль вы, что значит мода, вкус?
А нынче шьют на вас иль немец, иль француз.
Бывало, в простоте, в безмолвии вы жили,
А ныне стали знать мазурку и кадрили.
Ну, право, тяжкий грех, оставьте этот вздор,
Смотрите, вот на вас составлен уж собор.
Вот скоро Фотий сам с вас мерку нову снимет,
Нарядит в кофты всех, а лишнее всё скинет.
Вот скоро — дайте лишь собрать владыкам ум —
Они вам выкроят уродливый костюм!
Задача им дана, зарылись все в архивы.
В пыли отцы, в поту! Вот как трудолюбивы:
Один забрался в даль под Авраамов век
Совета требовать от матушек Ревекк,
Другой перечитал обряды назореев,
Исчерпал Флавия о древностях евреев,
Иной всей Греции костюмы перебрал,
Другой славянские уборы отыскал.
Собрали образцы, открыли заседание
И мнят, какое ж дать поповнам одеянье,
Какое — попадьям, какое — детям их.
Решите же, отцы! Но спор возник у них:
Столь важное для всех, столь чрезвычайно дело
Возможно ль с точностью определить так смело?
Без споров обойтись отцам нельзя никак —
Иначе попадут в грех тяжкий и просак.
О чем же этот спор? Предмет егопреважный:
Ходить ли попадьям в материи бумажной,

Иметь ли шелковы на головах платки,
Носить ли на ногах козловы башмаки?
Чтоб роскошь прекратить, столь чуждую их лицам,
Нельзя ли обратиться к древним власяницам,
А чтоб не тратиться по лавкам, по швеям,
Не дать ли им покров пустынный, сродный нам?
Нет нужды, что они в нем будут как шутихи,
Зато узнает всяк, что это не купчихи,
Не модны барыни, а лик церковных жен.
Беда вам, матушки, дождались перемен!
Но успокойтесь, страх велик лишь издали бывает:
Вас Шаликов своей улыбкой ободряет.
«Молчите, — говорит, — я сам войду в синод,
Представлю свой журнал, и, верно, в новый год
Повеет новая приятная погода
Для вашей участи и моего дохода.
Как ни кроить убор на вас святым отцам,
Не быть портными им, коль мысли я не дам».

1825

ГЕНИЙ

Кто сей блестящий серафим,
Одетый облаком лазури,
Лучом струистым огневым,
Быстрее молнии и бури
Нарящий гордо к небесам?..
Я зрел: возникнувши из праха,
В укор судьбе, в укор векам,
Он разорвал оковы страха,
Удел ничтожный бытия,
Он бросил взор негодованья
На сон природы, на себя,
На омертвелые создания.
«Я жив, — он рек, — я человек,
Я неразрывен с небесами!»
И глубь эфирную рассек
Одушевленными крылами.
Се он, божественный, летит,
Душевных сил и славы полный.
И под собой с улыбкой зрит
И твердь и океанов волны.
Уже он там, достиг небес,
Мелькнул незрим в дали туманной,
И легкий след его исчез,
Как ветер долин благоуханный,

Как метеор во тьме ночной,
Как сон от дневных впечатлений...
Кто ж он, сей странник неземной?
Великий ум, блестящий гений!
Раздайся, вечность, предо мной!
Покровы мрачные, спадите!
И в след за истиной святой,
Душа и разум мой, парите!
О гений мира и любви,
Первоначальный жизни датель,
Не ты ли неба и земли
Непостижимый есть создатель?
Не ты ли радужным перстом
Извлек вселенную из бездны,
Не ты ль в пространстве голубом
Рассеял ночь и день подзвездный.
Не ты ль Гармонию низвел
На безобразные атомы
И в хор пленительный привел
Дыханья малые и громы,
Чья невидимая рука
Могла ничто и всё устроить:
И смертного и червяка
Создать, взрастить и успокоить?
Кто есть начало и конец
Непостижимых устроений,
Ты добродетели отец,
Ты правота, могущий Гений.
О, дел бессмертных красота!
Венец премудрости глубокой,
Святой дар неба — правота,
Великих душ удел высокой.
В какой стране, в каких веках
Ты не была превозносимой?
В каких чувствительных сердцах
Ты не была боготворимой!
Надежду, счастье с тишиной,
Покой — отраду, мир приятный —
Всё, всё ты сыплешь под луной
Твоей рукою благодатной.
Пускай бестрепетный герой,
В кровавых битвах знаменитый,
Увенчан звучною молвой
И меч свой, лавром перевитый,

Во храм бессмертия несет,
Когда он чужд был сожаленья,
Что Правота произнесет?
Над ним достойное решение:
«Герой! Повергни меч твой в прах!...»
Пушай вельможа горделивый,
Имея власть царя в руках,
Гнетет ярмом несправедливым
Пред ним трепещущий народ,
И сей, низринутый во прахе,
Его отцом своим зовет,
Окамененья в рабском страхе...
Раздайся, Правды приговор!
«Он был Злодей», — речет потомство,
И вечный, гибельный позор
Накажет лесь и вероломство.
Пушай блестящий лжеумудрец
Своею славою надменной
Присвоит сам себе венец
К стыду обманутой вселенной.
«Ты — лживый гений!» — Правота
Ему речет, как глас громовый,
И где твой блеск и красота,
Венец лжегения лавровый?
Так, божий дар, ты возгремишь
Умам кичливым в наказание,
И ложь и злобу разразишь.
Так, правда — бога достоянье!
Восторг в груди моей кипит,
Я полн возвышенных мечтаний,
Творец, твой дух со мною спит,
Я исполин твоих созданий!

1825

НОЧЬ

Умолкло всё вокруг меня,
Природа в сладостном покое,
Едва блестит светило дня,
В туманах небо голубое.
Печальной думой удручен,
Я не вкушу отрады ночи,
И не сомкнет приятный сон
Слезой увлажненные очи.

Как жаждет капли дождевой
Цветок, увянувший от зноя,
Так жажду, мучимый тоской,
Сего желанного покоя.
Мальвина, радость прежних дней!
Мальвина, друг мой несравненный!
Он жив еще в душе моей,
Твой образ милый, незабвенный.
Так всюду зрю его черты:
В луне, задумчивой и томной,
В порыве пламенной мечты,
В виденьях ночи благотворной.
Твоя невидимая тень
Летает тайно надо мною;
Я зрю ее, но зрю как день
За этой мрачной пеленою...
Я с ней — и от нее далек!
И легкий ветер из долины
Или журчащий ручеек —
Мне голос сладостный Мальвины!
Я с ней — и блеска сих очей,
На мне покоившихся страстно,
В сиянье радужных лучей
Ищу в замену я напрасно.
Я с ней — и милые уста
Целую в розе ароматной;
Я с ней и нет — и всё мечта,
И пылких чувств обман приятный!
Как светозарная звезда
Мальвина в мире появилась,
Пленила мир — и навсегда
Звездой падучею сокрылась.
Мальвины нет! Исчезли с ней
Любви, надежд очарованье,
И скорбной участи моей
Одна отрада: вспоминанье!

< 1826 >

ВЕЧЕРНЯЯ ЗАРЯ

Я встречаю зарю
И печально смотрю,
Как кропинки дождя,
По эфиру слетя,

Благотворно живут
Попираемый прах,
И кипят и блестят
В серебристых звездах
На увядших листьях
Пожелтевших лугов.
Сила горней росы,
Как божественный зов,
Их молодые красы
И крепит и растит.
Что ж, кропинки дождя,
Ваш бальзам не живет
Моего бытия?
Что ж в вечерней тиши,
Как приятный обман,
Не исцелит он ран
Охладелой души?
Ах, не цвет полевой
Жжет полдневной порой
Разрушительный зной,—
Сокрушает тоска
Молодого певца,
Как в земле мертвеца
Гробовая доска...
Я увял, и увял
Навсегда, навсегда!
И блаженства не знал
Никогда, никогда!
И я жил, но я жил
На погибель свою...
Буйной жизнью убил
Я надежду мою...
Не расцвел — и отцвел
В утре пасмурных дней;
Что любил, в том нашел
Гибель жизни моей.
Изменила судьба...
Навсегда решена
С самовластьем борьба,
И родная страна
Палачу отдана.
Дух уныл, в сердце кровь
От тоски замерла;
Мир души погребла
К шумной воле любовь...

Не воскреснет она!
Я надежду имел
На испытных друзей,
Но их рой отлетел
При невзгоде моей.
Всем постылый, чужой,
Никого не любя,
В мире странствую я,
Как вампир гробовой!..
Мне противно смотреть
На блаженство других
И в мучениях злых
Не сгораючи тлеть...
Не кропите ж меня
Вы, росинки дождя:
Я не цвет полевой,
Не губительный зной
Пролетел надо мной.
Я увял, и увял
Навсегда, навсегда!
И блаженства не знал
Никогда, никогда!

1826

ЧЕТЫРЕ НАЦИИ

1

Британский лорд
Свободой горд —
Он гражданин,
Он верный сын
Родной земли.
Ни к <ороли> ,
Ни происк п <ап>
Кровавых лап
На смельчака
Исподтишка
Не занесут.
Как новый Брут —
Он носит меч,
Чтоб когти сечь.

2

Француз — дитя,
Он вам шутя
Разрушит трон
И даст закон;
Он царь и раб,
Могущ и слаб,
Самолюбив,
Нетерпелив.
Он быстр как взор
И пуст как вздор.
И удивит,
И насмешит.

3

Германец смел,
Но переспел
В котле ума;
Он как чума
Соседних стран,
Мертвецки пьян,
Сам в колпаке,
Нос в табаке,
Сидеть готов
Хоть пять веков
Над кучей книг,
Кусать язык
И проклинять
Отца и мать
Над парой строк
Халдейских числ,
Которых смысл
Понять не мог.

4

В <России> чтут
<Царя> и к<нут>;
В ней <царь> с к<нутом>,
Как п<оп> с к<рестом>:
Он им живет,
И ест и пьет.
А <русаки>
Как дураки,

Разиня рот,
Во весь народ
Кричат: «Ура!»
Нас бить пора!
Мы любим кнут!»
Зато и бьют
Их, как ослов,
Без дальних слов
И ночь и день,
Пока не лень:
Чем больше бьют,
Тем больше жнут,
Что вилы в бок,
То сена клоч!
А без побой
Вся Русь хоть вой —
И упадет,
И пропадет.

1827

ВАЛТАСАР

Подражание V главе пророка Даниила

Царь на троне сидит;
Перед ним и за ним
С раболепством немым
Ряд сатрапов стоит.
Драгоценный чертог
И блесит и горит,
И земной полубог
Пир устроить велит.
Золотая волна
Дорогого вина
Нежит чувства и кровь;
Звуки лир, юных дев
Сладострастный напев
Возжигают любовь.
Упоен, восхищен,
Царь на троне сидит —
И торжественный трон
И блесит и горит...
Вдруг неведомый страх
У царя на челе,

И унынье в очах,
Обращенных к стене.
Умолкает звук лир
И веселых речей,
И расстроенный пир
Видит (ужас очей!):
Огневая рука
Исполинским перстом
На стене пред царем
Начертала слова!..
И никто из мужей,
И царевых гостей,
И искусных волхвов
Силы огненных слов
Изъяснить не возмог.
И земной полубог
Омрачился тоской...
И еврей молодой
К Вальтасару предстал
И слова прочитал:
«Мани, фекел, фарес!» —
Вот слова на стене:
Волю бога небес
Возвещают оне.
Мани значит: монарх,
Кончил царствовать ты!
Град у персов в руках —
Смысл средней черты;
Фарес — третье — гласит:
Ныне будешь убит!..»
Рек — исчез... Изумлен,
Царь не верит мечте,
Но чертог окружен,
И... он мертв на щите!..

Между 1826 и 1828

РЕНЕГАТ

Кто любит негу чувств, блаженство сладострастья
И не парит в края азийские душой?
Кто пылкий юноша, который в мире счастья
Не жаждет век утратить молодой?

Пусть он летит туда, чалмою крест обменит
И населит красой блестящий свой гарем!
Там жизни радость он познает и оценит,
И снова обретет потерянный эдем!

Там пир для чувств и ока!
Красавицы Востока,
Одна другой милей,
Одна другой резвей,
Послушные рабыни,
Умрут с ним каждый миг!
С душой полубогини
В восторгах огневых
Душа его сольется,
Заснет — и вновь проснется,
Чтоб снова утонуть
В пучине наслажденья!
Там пламенная грудь
Манит воображенье;
Там белая рука
Влечет его слегка
И страстно обнимает;
Одна его лобзает,
Горит и изнывает,
Одна ему поет
И сладостно дает.
Прелестные подруги,
Воздушны как зефир,
Порхают, стелют круги,
То вьются, то летят,
То быстро станут в ряд.
Меж тем в дыму кальяна
На бархате дивана
Влюбленный сибарит
Роскошно возлежит
И, взором пожирая
Движенья гурий рая,
Трепещет и кипит,
И к деве сладострастья,
Залог желанный счастья,
Платок его летит...

О прочь с груди моей исчезни, знак священный,
Отцов и дедов древний крест!
Где пышная чалма, где Алкоран пророка?

Когда в сады прелестного Востока
Переселюсь от пагубных мне мест?
Что мне <закон>, что <наказанье Бога?>
Карателя блаженства моего?
Приятней в ад цветущая дорога,
Чем в рай, когда мне жить не можно для него.
Погибло всё! Перуны грома,
Гремите над моей главой!
Очарования Содома,
Я ваш до сени гробовой!..
Но где гарем, но где она,
Моя прекрасная рабыня?
Кто эта юная богиня,
Полунагая как весна,
Свежа, пленительна, статна,
Резвится в бане ароматной?
На чьи небесные красы
С досадной ревностью власы
Волною падают приятной?
Чья сладострастная нога
В воде играет благовонной
И слишком вольная рука
Шалит над тайной благосклонной?
Кого усердная толпа
Рабынь услужливых лелеет?
Чья кровь горячая замлеет
В объятьях девы огневой?
Кто сей счастливец молодой?..
Ах, где я? Что со мною стало?
Она надела покрывало,
Ее ведут — она идет:
Ее любовь на ложе ждет...

Он дышит
На томной груди,
Он слышит
Признание в любви,
Целует
Блаженство свое,
Милует
И нежит ее,
Лобзает
Невинный цветок,
Срывает
И пьет ее вздох.

Так жрец любви, игра страстей опасных,
Пел наслажденья чуждых стран
И оживлял в мечтаньях сладострастных
Чувств очарованных обман.
Он пел... Души его кумиры
Носились тайно вокруг него,
И в этот миг на все порфиры
Не променял бы он гарема своего.

Между 1826 и 1828

ЦЕПИ

Зачем игрой воображенья
Картины счастья рисовать?
Зачем душевные мученья
Тоской опасной растравлять?
Гонимый роком своенравным,
Я вяну жертвою страстей
И угнетен ярмом бесславным
В цветущей юности моей!..
Я зрел: надежды луч прощальный
Темнел и гаснул в небесах,
И факел смерти погребальный
С тех пор горит в моих очах!
Любовь к прекрасному, природа.
Младые девы и друзья,
И ты, священная свобода, —
Всё, всё погибло для меня!
Без чувства жизни, без желаний,
Как отвратительная тень,
Влачу я цепь моих страданий
И умираю ночь и день!
Порою огонь души унылой
Воспламеняется во мне,
С снедающей меня могилой
Борюсь как будто бы во сне!
Стремлюсь в жару ожесточенья
Мои оковы раздробить
И жажду сладостного мщенья
Живую кровью утолить!
Уже рукой ожесточенной
Берусь за пагубную сталь,
Уже рассудок мой смущенный
Забыл и горе и печаль!..

Готов!.. Но цепь порабошенья
Гремит на скованных ногах,
И замирает сталь отмщенья
В холодных, трепетных руках...
Как раб испуганный, бездушный,
Тогда клянусь свой жребий я
И вновь взираю равнодушно
На цепи <нового цар> я.

Между 1826 и 1828

РОК

Зари последний луч угас
В природе усыпленной;
Протяжно бьет полночный час
На башне отдаленной.
Уснули радость, и печаль,
И все заботы света;
Для всех таинственная даль
Завесой тьмы одета.
Всё спит... Один свирепый рок
Чужд мира и покоя
И столько ж страшен и жесток
В тиши, как в вихре боя.
Ни свежей юности красы,
Ни блеск души прекрасной
Не избегут его косы
Нежданной и ужасной!
Он любит жизни бурный шум,
Как любят рев потока,
Или как любит детский ум
Игру калейдоскопа.
Пред ним равны — рабы, цари;
Он шутит над султаном,
Равно как шучивал Али
Янинский над фирманом.
Он восхотел — и Крез избег
Костра при грозном Кире,
И Кир, уснув на лоне нег,
Восстал в подземном мире;
Велел — и Рима властелин
Народный гладиатор,
И Русь как кур передошил
Ефрейтор-император.

Между 1826 и 1828

*

Притеснил мою свободу
 Кривоногий штабс-солдат:
 В угождение уроду
 Я отправлен в каземат.
 И мечтает блинник сальный
 В черном сердце подлеца
 Скрыть под лапою нахальной
 Имя вольного певца.
 Но едва ль придется шуту
 Отыгаться без стыда:
 Я — под спудом на минуту,
 Он — в болоте навсегда.

1828

<УЗНИК>

Александру Петровичу Лозовскому

Plus tôt que je n'ai dû je reviens dans la lice;
 Mais tu le veux, ami!
 Ton bras m'a réveillé; c'est toi qui m'a dit: va!

H < ugo > ¹

Ты мне чужой — не с давних лет
 Знаком душе твоей поэт!
 Не симпатія двух сердец
 Святого дружества венец
 В счастливой жизни нам вила
 И друг для друга родила.
 Быть может, раз сойтись с тобой
 Мне предназначено судьбой —
 И мы сошлись... Ты — в красоте
 Цветущих дней, я — в наготе
 Позорных уз... Добро иль зло
 Тебя к страдальцу привело,
 Боюсь понять... Под игом бед
 Мне подозрителен весь свет;
 Погибшей истины черты
 В глазах моих — одни мечты...
 Уму свирепому она
 И ненавистна и смешна!

¹ Раньше, чем должно, я возвращаюсь в бой;

Но таково твое желание, друг!

Твоя рука меня разбудила; ведь это ты сказал мне: выходи!

Г < юго > (фр.). — *Ред.*

Быть может, ветреник молодой,
 Смеясь над глупой добротой,
 Вменяя шалости в закон
 И быстрым чувством увлечен,
 Ты ложной жалостью хотел
 Смягчить ужасный мой удел
 Иль осмеять мою тоску;
 Быть может, лестью простаку
 Желал о прежнем вспомнать
 И беспощадно обмануть...
 Но пусть, игдалище страстей,
 Я буду куклой для людей,
 Пусть их коварства лютый яд
 В моей груди умножит ад...
 И ты не лучше их ничем...
 Не знаю сам, за что, зачем
 Я полюбил тебя... Твой взор
 Не есть несчастному укор.
 Твой голос, звук твоих речей
 Мне мил, как сладостный ручей...
 Так соловей в ночной тиши
 Поет для горестной души,
 Так Абадонне Уриил¹
 Во тьме геснны говорил...

¹ Давно прошли времена Орестов и Пиладов. Кто-то сказал, кажется, справедливо, что ныне:

Любовь и дружба — пара слов,
 А жалость — мщенье врагов.

И после добавил, что:

Одно под солнцем есть добро —
 Неочиненное перо...

Но — так как нет правил без исключений — и под солнцем, озаряющим неизмеримую темную бездну, в которой, будто в хаосе, вращаются, толпятся и пресмыкаются миллионы двуногих созданий, называемых человеками, встречаемся мы иногда с чем-то благородным, отрадным, не заклеянным печатью нелепости и ничтожества, — то провидению угодно было, чтоб и я на колючем пути моего земного поприща встретил это благородное, это отрадное в лице истинного моего друга А...П...Л... Часто подносил он бальзам утешения к устам моим, отравленным желчью жизни; никогда не покидал меня в минуты горести. К нему относятся стихи:

Я буду — он, он будет — я;
 В одном из нас сольются оба,
 И пусть тогда вражда и злоба,
 И смерть, и заступ гробовой
 Шумят над нашей головой!

Может быть, кто-нибудь с лукавой улыбкой спросит: кто такой этот Л...? Не знатный ли покровитель?.. О нет! Он более, он — человек. <1837>.

Глаза печальные мои
Слезу приязни и любви
В твоих заметили очах...
Ты любишь сам меня — но ах!
Твое участие ко мне,
Как легкий пепел на огне,
На миг возникнет, оживет —
И вместе с ветром пропадет.
Я не виню тебя!.. Жесток
Ко мне не ты, а злобный рок,
И ты простишь в пылу страстей
Обидной вольности моей...

Я снова узник и солдат!..
Вот тайный дар моих стихов...
Проникни в силу этих слов...
Прочти, коль вздумаешь, спиши
И не забудь меня в глуши...
Когда ж забудешь — бог с тобой,
Но знай, что я навеки твой...

Спасские казармы. 1828

1

Ты хочешь, друг, чтобы рука
Времен прошедших чудака,
Вооруженная пером,
Черкнула снова кой о чем?
Увы! Старинный жар стихов
И след сатир и острых слов
Исчезли в буйной голове,
Как след дриады на траве
Иль запах розы молодой
Под недостойною пятой.
Поэт пленительных страстей
Сидит живой в когтях чертей,
Атласных ... не поет
И чуть по-волчьи не ревет...
Броня сермяжная и штык —
Удел того, кто был велик
На поле перьев и чернил;
Солдатский кивер осенил
Главу, достойную венка...

И Чальд-Гарольдова тоска
Лежит на сердце у того,
Кто не боялся никого...
Но на призывный дружный глас
Отвечу я в последний раз,
Еще до смерти согрешу —
И лист бумаги испишу...
Прочти его и согласись,
Что если средства нет спастись
От угнетенья и цепей,
То жизнь страшнее ста смертей,
И что свободный человек
Свободно кончить должен век...

.
. опыт злой
Завесу с глаз моих сорвал
И ясно, ясно доказал,
Что добродетель есть мечта,
. суета.
Любовь и дружба — пара слов,
А жалость — мщенье врагов...
Одно под солнцем есть добро:
Неочиненное перо...

2

В столице русских городов,
Мо <щей>, мон <ахов> и попов,
На славном Вале Земляном
Стоит странноприимный дом;
И рядом с ним стоит другой,
Кругом обстроенный, большой.
И этот дом известен нам,
В Москве, под именем казарм;
В казармах этих тьма людей
И ночью множество
На нарах с воинами спят,
И веселятся, и шумят;
И на огромном том дворе,
Как будто в яме иль дыре,
Издавна выдолблено дно,
Иль гаубвахта, всё равно...
И дна того на глубине
Еще другое дно в стене,
И называется тюрьма;

В ней сырость вечная и тьма,
И проблеск солнечных лучей
Сквозь окна слабо светит в ней;
Растреснутый кирпичный свод
Едва-едва не упадет
И не обрушится на пол,
Который снизу, как Эол,
Тлетворным воздухом несет
И с самой вечности гниет...
В тюрьме жертв на пять или шесть
Ряд малых нар у печки есть.
И десять удалых голов,
<Царя> решительных врагов,
На малых нарах тех сидят,
И кандалы на них гремят...
И каждый день повечеру,
Ложася спать, и поутру
В м<олитве> к г<осподу> Х<ристу>
<Царя русского> в
Они ссылают наподряд
И все сл ему хотят,
За то, что мастер он лихой
За п<устяки> г<онять> скв<озь> с<трой> .
И против нар вдоль по стене
Доска, подобная скамье,
На двух столпах утверждена.
И на скамье той у окна,
Броней сермяжною одет,
Лежит вербованный поэт.
Броня на нем, броня под ним,
И всё одна и та же с ним,
Как верный друг, всегда лежит,
И согревает, и хранит;
Кисет с негодным табаком
И полновесным пятаком
На необтесанном столе
Лежат у узника в угле.
Здесь триста шестьдесят пять дней
В кругу Плутоновых людей
Он смрадный воздух жизни пьет
И <самовластие> клянёт.
Здесь он во цвете юных лет,
Обезображен как скелет,
С полуостриженной брадой,
Томится лютою тоской...

Он не живет уже умом —
Душа и ум убиты в нем;
Но, как бродячий автомат
Или бесчувственный солдат,
Штыком рожденный для штыка,
Он дышит жизнью дурака:
Два раза на день ест и пьет
И долг природе отдает.

3

Воспоминанья старины,
Как соблазнительные сны,
Его тревожат иногда;
В забвенье горестном тогда
Он воскресает бытием;
Безумным, радостным огнем
Тогда глаза его горят,
И слезы крупные блестят,
И, очарованный мечтой,
Надежды жизни молодой
Несчастный видит, ловит вновь.
Опять — поэт; опять любовь
К свободе, к миру в нем кипит!
Он к ней стремится, он летит;
Он полон милых сердцу дум...
Но вдруг цепей железных шум
Иль хохот глупый беглецов,
Тюрьмы бессмысленных жильцов,
Раздался в сводах роковых —
И рой видений золотых,
Как легкий утренний туман,
Унес души его обман...
Так жнец на пажити родной,
Стрелой сраженный громовой,
Внезапно падает во прах —
И замер серп в его руках...
Надежду, радость — всё взяла
Молниеносная стрела!..

4

О ты, который возведен
Погибшей в <ольности> на трон,
Или, проще говоря,
О <соба> р <усского> ц <аря>!

Коснется ль звук моих речей
Твоих обманутых ушей?
Узришь ли ты, прочтешь ли ты
Сии правдивые черты?..
Поймешь ли ты, как мудрено
Сказать в душе: все решено!
Как тяжело сказать уму:
«Прости, мой ум, иди во тьму»;
И как легко черкнуть перу:
«Ц<арь> Н<иколай>. Б<ыть> по с<ему>».
Поймешь ли ты, что твой народ
Есть пышный сад, а ты — Ленотр,
Что должен ты его беречь
И ветви свежие не сечь...
Поймешь ли ты, что ц<арский> долг
Есть не душисть, как лютый волк,
По алчной прихоти своей
Миллионы страждущих людей...
Но что?.. К чему напрасный гнев,
Он не сомкнет Молохов зев:
Бессилен звук в моих устах,
Как меч в заржавленных ножнах...
И я в тюрьме...

Ватага спит;
Передо мной едва горит
Фитиль в разбитом черепке;
С ружьем в ослабленной руке,
На грудь склонившись головой,
У двери дремлет часовой;
Вблизи усталый караул
Глаза бессонные сомкнул.
На гаубвахте тишина...
Бог винограда, бог вина,
Сын пьяный пьяного отца,
Зачем приятный глас певца,
В часы полуночных пиров,
Не веселит твоих сынов?
Зачем на лире золотой
Перед волшебницей молодой
В восторге чувств он не гремит
И бледный, пасмурный сидит
Без возлияний и друзей
В руках едва ль полулюдей...
Не он ли свежесть ранних сил
Тебе на жертву приносил

Во дни беспечной старины?
 Не он ли розами весны
 Твой благодетельный покал
 Рукой покорной украшал?
 Свершилось!.. Нет его!.. Ударь
 Поблекшим тирсом в свой алтарь!
 Пролей вино из томных глаз!
 Твой жрец, твой верный жрец угас!
 Угас, как факел буйных дев,
 Исчез, как громкий их напев:
 «Эван, эвое, сильный Вакх!»,
 Как разум, скучный на пирах!..
 Второй Н <ерон>, Ис <кариот>,
 У <пырь> б <ездущный> и Н <емврод>
 Его враждой своей почтил
 И, лобызая, удушил!

5

Mais qu'importe? Accompli
 ta mission sacrée¹.

Оставлен всеми, одинок,
 Как в море брошенный челнок
 В добычу яростной волне,
 Он увядает в тишине...

Участье верное друзей,
 Которых шумные рои,
 Под ложной маскою любви,
 Всегда готовы для услуг,
 Когда есть денежный сундук
 Или подобное тому,—
 Не в тягость более ему,
 Из ста знакомых щегольков,
 Большого света знатоков,
 Никто ошибкою к нему
 Не залетал еще в тюрьму...
 Да и прекрасно... Для чего?
 Там нет ни водки, ничего...
 Чутье животных, модный тон
 Или приличия закон —
 Вот тайна дружественных уз...
 А нежность сердца, тонкий вкус —

¹ Ну, так что же? Завершая свою священную миссию (фр.).— *Ред.*

Причина важная забыть
Того, кто слезы должен лить:
«Ах, как он жалок, serendant,
C'était naguère un bon enfant»¹, —
Лепечет милый фанфарон,
И долг приязни заплачён...
И что пенять? Они умны,
Их рассуждения верны;
Так должно было — наперед
Судьба нам сделала расчет:
Им наслаждение дано,
А мне страданье суждено!
И правы мрачный фаталист
И всем довольный оптимист...

<6>

Система звезд, прыжок сверчка,
Движение моря и смычка —
Всё воля творческой руки...
Иль вера в бога — пустяки?
Сказать, что нет его, — смешно;
Сказать, что есть он, — мудрено.
Когда он есть, когда он — ум,
Превыше гордых наших дум,
Правдивый, вечный и благой,
В себе живущий сам собой,
Омега, альфа бытия,
Тогда он нам не судия:
Возможно ль то ему судить,
Что вздумал сам он сотворить?
Свое творенье осудя,
Он опровергнет сам себя!..
Твердить преданья старины,
Что мы в делах своих вольны, —
Есть перекурствовать уму
И, значит, впасть в иную тьму...
Его предвиденье могло
Моей свободы видеть зло —
Он должен был из тьмы веков
Воззвать атом мой для оков.
Одно из двух: иль он желал,
Чтобы невинно я страдал,

¹ А хороший парень был когда-то (фр.). — *Ред.*

Или слепой, свирепый рок
В пучину бед меня завлек?..
Когда он видел, то хотел,
Когда хотел, то повелел,
Всё чрез него и от него,
А заключение из того:
Когда я волен — он тиран,
Когда я кукла — он болван.

<7>

Так и забвение друзей.
Оно не есть коварство змей;
Так пусть же тягостной руки
Меня снедающей тоски
Не испытают на себе,
В угодность ветреной судьбе;
Страдалец давний, но не злой
Постыдной зависти чертой
Чужого счастья не смутит!

.

А ты, примерный человек,
Души высокой образец,
Мой благодетель и отец.
О Струйский, можешь ли когда,
Добычу гнева и стыда,
Певца преступного простить?..
Неблагодарный из людей,
Как погибающий злодей
Перед секирой роковой,
Теперь стою перед тобой!..
Мятежный век свой погубя,
В слезах раскаянья тебя
Я умоляю!
Священным именем отца
Хочу назвать тебя!.. Зову...
И на покорную главу
За преступления мои
Прошу прощения любви!
Прости!.. Прости!.. Моя вина
Ужасной мстью отмщена!

.

Завеса вечности немой
Упала с шумом предо мной...
Я вижу
. мой стон
Холодным ветром разнесен,
Мой труп
Добыча вранов и червей
.
.
И нет ни камня, ни к <реста> ,
Ни огородного шеста
Над гробом узника тюрьмы —
Жильца ничтожества и тьмы...

1828

ПЕСНЬ ПЛЕННОГО ИРОКЕЗЦА

Я умру! На позор палачам
Беззащитное тело отдам!
 Равнодушно они
 Для забавы детей
 Отдирать от костей
 Будут жилы мои!
 Обругают, убьют
 И мой труп разорвут!

Но стерплю! Не скажу ничего,
Не наморщу чела моего!
 И, как дуб вековой,
 Неподвижный от стрел,
 Неподвижен и смел,
 Встречу миг роковой,
 И, как воин и муж,
 Перейду в страну душ.

Перед сонмом теней воспою
Я бесстрашную гибель мою.
 И рассказ мой пленит
 Их внимательный слух
 И воинственный дух
 Стариков оживит;
 И пройдет по устам
Слава громким делам.

И рекут они в голос один:
«Ты достойный прапрадедов сын!»
Совокупной толпой
Мы на землю сойдем
И в родных разольем
Пыл вражды боевой;
Победим, поразим
И врагам отомстим!

Я умру! На позор палачам
Беззащитное тело отдам!
Но, как дуб вековой,
Неподвижный от стрел,
Я недвижим и смел
Встречу миг роковой!

1828

ПЕСНЬ ПОГИБАЮЩЕГО ПЛОВЦА

1

Вот мрачится
Свод лазурный!
Вот крутится
Вихорь бурный!
Ветр свистит,
Гром гремит,
Море стонет —
Путь далек...
Тонет, тонет
Мой челнок!..

2

Всё чернее
Свод надзвездный,
Всё страшнее
Воют бездны!
Глубь без дна!
Смерть верна!
Как заклятый
Враг грозит,
Вот девятый
Вал бежит!..

3

Горе, горе!
Он настигнет:
В шумном море
Челн погибнет!
Гроб готов!..
Треск громов
Над пучиной
Ярых вод
Вздых пустынный
Разнесет!..

4

Дар заветный
Провиденья,
Гость приветный
Наслажденья —
Жизнь иль миг!
Не привык
Утешаться
Я тобой —
И расстаться
Мне с мечтой!

5

Сокровенный
Сын природы,
Неизменный
Друг свободы, —
С юных лет
В море бед
Я направил
Быстрый бег
И оставил
Мирный брег!

6

На равнинах
Вод зеркальных,
На пучинах
Погребальных

Я скользил;
Я шутил
Грозной влагой,
Смертный вал
Я отвагой
Побеждал!..

7

Как минутный
Прах в эфире,
Бесприютный
Странник в мире,
Одинок,
Как челнок,
Уз любви
Я не знал,
Жаждой крови
Не сгорал!

8

Парус белый
Перелетный,
Якорь смелый
Беззаботный,
Тусклый луч
Из-за туч,
Проблеск дали
В тьме ночей —
Заменяли
Мне друзей!

9

Что ж мне в жизни
Безызвестной?
Что в отчизне
Повсеместной?
Чем страшна
Мне волна?
Пусть настигнет
С вечной мглой —
И погибнет
Труп живой!..

Всё чернее
Свод надзвездный,
Всё страшнее
Воют бездны!
Ветр свистит,
Гром гремит,
Море стонет —
Путь далек...
Тонет, тонет
Мой челнок!

1828?

ОЖЕСТОЧЕННЫЙ

О, для чего судьба меня стубила?
Зачем из цепи бытия
Меня навек природа исключила
И страшно вживе умер я?
Еще в груди моей бунтует пламень
Неугасаемых страстей.
А совесть, как врага заклятый камень,
Гнетет отверженца людей!
Еще мой взор, блуждающий, но быстрый,
Порою к небу устремлен.
А божества святой отрадной искры,
Надежды с верой, я лютен!
И дышит всё в создании любовью,
И живы червь, и прах, и лист.
А я, злодей, как Авелевой кровью
Запечатлен! Я атеист!
И вижу я, как горестный свидетель,
Сиянье утренней звезды.
И с каждым днем твердит мне добродетель:
«Страшись, страшись гоговой мзды!..»
И грозен он, висящей казни голос,
И стынет кровь во мне как лед,
И на челе стоит невольно волос,
И выступает градом пот!
Бежал бы я в далекие пустыни,
Презрел бы ужас гробовой!
Душа кипит, но руки не рабыни
Разбить сосуд свой рекою!

И жизнь моя мучительнее ада,
 И мысль о смерти тяжела...
 А вечность... ах! она мне не награда —
 Я сын погибели и зла!
 Зачем же я возник, о Провиденье,
 Из тьмы веков перед тобой?
 О, обрати опять в уничтоженье
 Атом, караемый судьбой!
 Земля, раскрой насытую утробу,
 Горящей Этной протеки,
 И, бурный вихрь, тоску мою и злобу
 И память с пеплом развлеки!

1828?

ОСУЖДЕННЫЙ

Нас было двое — брат и я...

А. П <умкин>

1

Я осужден! К позорной казни
 Меня закон приговорил!
 Но я печальный мрак могил
 На плахе встречу без боязни, —
 Окончу дни мои, как жил.

2

К чему раскаянье и слезы¹
 Перед бесчувственной толпой,
 Когда назначено судьбой
 Мне слышать вопли и угрозы
 И гул проклятий за собой?

3

Давно душой моей мятежной
 Какой-то демон овладел,
 И я зловещий свой удел,
 Неотразимый, неизбежный,
 В дали туманной усмотрел!..

¹ К чему раскаянье и слезы и проч...

Это язык человека, закоренелого в злодействах. Отчаяние, верный спутник целой его жизни, оскверненной преступлениями, не оставляет своего любимца и на ступенях эшафота. Дантон среди Конвента читает оду Грекура, тогда как ему произносят смертный приговор; Анахарсис Клоц проповедует атеизм на гильотине, окруженный отрубленными головами его сообщников. Редко великие злодеи перед смертью говорят языком праведника.

4

Не розы светлого Пафóса,
Не ласки гурий в тишине,
Не искры яхонта в вине,—
Но смерть, секира и колеса
Всегда мне грезились во сне!

5

Меня постигла дума эта
И ознакомила со мной,
Как холод с южною весной,
Или фантазия поэта
С унылой северной луной!

6

Мои утраченные годы
Текли, как бурные ручьи,
Которых мутные струи
Не серебрят, а пенят воды
На лоне илистой земли.

7

Они рвались, они бежали
К неверной цели без препон;
Но быстрый бег остановлен,
И мне размах холодной стали
Готовит праведный закон.

8

Взойдет она, взойдет, как прежде,
Завтра ранняя звезда,
Проснется неба красота,—
Но я, я небу и надежде
Скажу: «Простите навсегда!»

9

Взгляну с улыбкою печальной
На этот мир, на этот дом,
Где я был с счастьем незнаком,
Где я, как факел погребальный,
Горел в безмолвии ночном;

10

Где, может быть, суровой доле
Я чем-то свыше обречен,
Где я страстями заклеюмен,
Где чем-то свыше, поневоле
Я был на время заключен;

11

Где я... Но что?.. Толпа народа
Уже кипит на площади...
Я слышу: «Узник, выходи!»
Готов — иду!.. Прости, природа!
Палач, на казнь меня веди!..

1828?

ЖИВОЙ МЕРТВЕЦ

Кто видел образ мертвеца,
Который демонскою силой,
Враждуя с темною могилой,
Живет и страждет без конца?
В час полуночи молчаливой,
При свете сумрачном луны,
Из подземельной стороны
Исходит призрак боязливый.
Бледно, как саван роковой,
Чело отверженца природы,
И неестественной свободы
Ужасен вид полуживой.
Унылый, грустный он блуждает
Вокруг жилища своего
И — очарован — за него
Переноситься не дерзает.
Следы минувших, лучших дней
Он видит в мысли быстротечной,
Но мукой тяжкою и вечной
Наказан в ярости своей.
Проклятый небом раздраженным,
Он не приемлется землей,
И овладел мучитель злой
Злодея прахом оскверненным.
Вот мой удел! Игра страстей,

Живой стою при дверях гроба,
И скоро, скоро месть и злоба
Навек уснут в груди моей!
Кумиры счастья и свободы
Не существуют для меня,
И, член ненужный бытия,
Не оскверню собой природы!
Мне мир — пустыня, гроб — чертог!
Сойду в него без сожаленья,
И пусть за миг ожесточенья
Самоубийцу судит бог!

1828

ПРОВИДЕНИЕ

Я погибал...
Мой злобный гений
Торжествовал!..
Отступник мнений
Своих отцов,
Враг утеснений,
Как царь духов,
В душе безбожной
Надежды ложной
Я не питал
И из Эреба
Мольбы на небо
Не воссылал.
Мольба и вера
Для Люцифера
Не созданы,—
Гордыне смелой
Они смешны.
Злодей созрелый
В виду смертей
В когтях чертей —
Всегда злодей.
Порабощенье,
Как зло за зло,
Всегда влекло
Ожесточенье.
Окаменен,
Как холодный камень,
Ожесточен,

Как серный пламень,
Я погибал
Без сожалений,
Без утешений...
Мой злобный гений
Торжествовал!
Печать проклятий
Удел моих
Подземных братьев,
Тиранов злых
Себя самих, —
Уже клеймилась
В моем челе;
Душа ко мгле
Уже стремилась...
Я был готов
Без тайной власти
Сорвать покров
С моих несчастий.
Последний день
Сверкал мне в очи;
Последней ночи
Встречал я тень, —
И в думе лютой
Всё решено;
Еще минута —
И... свершено!..
Но вдруг неожиданный
Надежды луч,
Как свет багряный,
Блеснул из туч:
Какой-то скрытый,
Но мной забытый
Издавна бог
Из тьмы открытой
Меня извлек!..
Рукою сильной
Остов могильный
Вдруг оживил, —
И Каин новый
В душе суровой
Творца почтил.
Непостижимый,
Неотразимый,

Он снова влил
В грудь атеиста
И лжесофиста
Огонь любви!
Он снова дни
Тоски печальной
Озолотил
И озарил
Зарей прощальной!
Гори ж, сияй,
Заря святая!
И догорай,
Не померкая.

1828

КРЕМЛЕВСКИЙ САД

Люблю я позднею порой,
Когда умолкнет гул раскатный
И шум докучный городской,
Досуг невинный и приятный
Под сводом неба провождать;
Люблю задумчиво питать
Мои беспечные мечтанья
Вкруг стен кремлевских вековых,
Под тенью липок молодых,
И пить весны очарованье
В ароматических цветах,
В красе аллей разнообразных,
В блестящих зеленых кустах.
Тогда, краса ленивцев праздных,
Один, не занятый никем,
Смотря и ничего не видя
И, как султан, на лавке сидя,
Я созидаю свой эдем
В смешных и странных помышленьях.
Мечтаю, грежу как во сне,
Гуляю в выпренных селеньях —
На солнце, небе и луне;
Преображаюсь в полубога,
Сужу решительно и строго
Мирские бредни, целый мир,

Дарю счастье миллионам,
Проклятья посылаю тронам...
И между тем, пока мой пир,
Воздушный, легкий и духовный,
Приемлет всю свою красу
И я себя перенесу
Гораздо дальше подмосковной, —
Плывя как лебедь в небесах,
Луна сребрит седые тучи;
Полночный ветер на кустах
Едва колышет лист зыбучий;
И в тишине вокруг меня
Мелькают тени проходящих,
Как тени пасмурного дня,
Как проблески огней блудящих.

< 1829 >

ТАБАК

Куришь, табак мой! Вылетай
Из трубки, дым приятный,
И облаками расстилай
Свой запах ароматный!
Не столько персу мил кальян
Или шербет душистый,
Сколь мил душе моей туман
Твой легкий и волнистый!
Тиран лишил меня всего —
И чести и свободы,
Но всё курю, назло его,
Табак, как в прежни годы;
Курю и мыслю: как горит
Табак мой в трубке жаркой,
Так и меня испепелит
Рок пагубный и жалкой...
Куришь же, вейся, вылетай
Дым сладостный, приятный,
И, если можно, исчезай
И жизнь с ним невозвратно!

< 1829 >

НА СМЕРТЬ ТЕМИРЫ

Быстро, быстро пролетает
Время наш подлунный свет,
Всё разит и сокрушает,
И ему препятствий нет.
Ах, давно ль весна золотая
Расцветала на полях?
Час пробил — зима седая
Мчится в вихрях на снегах!
Лишь возникла юна роза,
Развернула стебельки —
Дуновением мороза
Опустились листки.
Так и ты, моя Темира,
Нежный друг души моей,
Быв красой недавно мира,
Вдруг увяла в цвете дней!
Лишь блеснула как явление
И — сокрылася опять.
Ах, одно мне утешенье —
О тебе воспоминать.

< 1829 >

НАДЕНЬКЕ

1

Смейся, Наденька, шути!
Пей из чаши золотой
Счастье жизни молодой,
Милый ангел во плоти!
Быстро волны ручейка
Мчат оборванный цветок;
Видит резвый мотылек
Листик алого цветка,
Вьется в воздухе, летит,
Ближе... вот к нему прильнул...
Ветер волны колыхнул
И цветок на дне лежит...
Где же, где же, мотылек,
Роза нежная твоя?
Ах, не может для тебя
Возвратить ее поток!..

Смейся, Наденька, шути!
Пей из чаши золотой
Счастье жизни молодой,
Милый ангел во плоти!

2

Было время: как и ты,
Я гладел на божий свет,
Но прошли пятнадцать лет —
И рассеялись мечты.
Хладной бурною рекой
Рой обманов пролетел,
И мой дух окаменел
Под свинцовою тоской!
Где ты, радость? Где ты, кровь?
Где огонь бывалых дней?..
Ах, из памяти моей
Истребила их любовь!
Смейся, Наденька, шути!
Пей из чаши золотой
Счастье жизни молодой,
Милый ангел во плоти!

3

Будет время: как и я,
Ты о прежнем вздохнешь
И печально вспоманешь:
«Где ты, молодость моя?»
Молчалива и одна,
Будешь сердце поверять
И, уныния полна,
Втайне слезы проливать.
Потемнеют небеса
В ясный полдень для тебя,
Не узнаешь ты себя —
Пролетит твоя краса!..
Смейся ж, смейся и шути!
Пей из чаши золотой
Счастье жизни молодой,
Милый ангел во плоти!

ПОГРЕБЕНИЕ

Я видел смерти лютой пир —
Обряд унылый погребенья:
Младая дева вечный мир
Вкусила в мгле уничтоженья.
Не длинный ряд экипажѐй,
Не черный флер и не кадилы
В толпе придворных и пажей
За ней теснились до могилы.
Ах нет! Простой дощатый гроб
Несли чредой ее подруги,
И без затейливой услуги
Шел впереди приходский поп.
Семейный круг и в день печали
Убитый горестью жених,
Среди ровесниц молодых,
С слезами гроб сопровождали.
И вот уже духовный врач
Отпел последнюю молитву,
И вот сильнее вопль и плач...
И смерть окончила ловитву!
Звучит протяжно звонкий гвоздь,
Сомкнулась смертная гробница —
И предалась как новый гость
Земле бесчувственной девица...
Я видел всё; в немой тиши
Стоял у пагубного места
И в глубине моей души
Сказал: «Прости, прости, невеста!»
Невольно мною овладел
Какой-то трепет чудной силой,
И я с таинственной могилой
Расстаться долго не хотел.
Мне приходили в это время
На мысль невинные мечты,
И грусти сладостное бремя
Принес я в память красоты.
Я знал ее — она, играя,
Цветок недавно мне дала,
И вдруг, бледнея, увядая,
Как цвет дареный, отцвела.

Вторая половина 1820-х годов?

ЗВЕЗДА

Она взошла, моя звезда,
Моя Венера золотая,
Она блестит, как молодая
В уборе брачном красота!
Пустынник мира безотрадный,
С ее таинственных лучей
Я не свожу моих очей
В тоске мучительной и хладной.
Моей бездейственной души
Не оживляя вдохновеньем,
Она небесным утешеньем
Ее дарит в ночной тиши.
Какой-то силою волшебной
Она влечет меня к себе
И, перекорствуя судьбе,
Врачает грусть мечтой целебной!
Предавшись ей, я вижу вновь
Мои потерянные годы,
Дни счастья, дружбы и свободы,
И помню первую любовь.

Конец 1820-х годов?

БУКЕТ

К груди твоей, Эмма,
Приколот букет:
Он жизни эмблема,
Но розы в нем нет.
Узорней, алее
Есть много цветов,
Но краше, милее
Царица лугов.
Эфирный влетает
В окно мотылек,
На персях лобзает
Он каждый цветок,
Над ландышем вьется,
К лилее прильнул,
Кружится, несется —
И быстро вспорхнул.
Куда ж ты, бесстрастный
Любовник цветов?

Иль ищешь прекрасной
Царицы лугов?
О Эмма, о Эмма!
Вот блеск красоты!..
Как роза, эмблема
Невинности ты.

Конец 1820-х годов?

КОЛЬЦО

Я полюбил ее с тех пор,
Когда печальный, тихий взор
Она на мне остановила,
Когда безмолвным языком
Очей, пылающих огнем,
Она со мною говорила.
О, как безмолвный этот взор
Был для души моей понятен,
Как этот тайный разговор
Был восхитительно приятен!
Пронзенный тысячами стрел
Любви безумной и мятежной,
Я, очарованный, смотрел
На милый образ девы нежной;
Я весь дрожал, я трепетал,
Как злой преступник перед казнью,—
Непостижимою боязнью
Мой дух смущенный замирал...
Полна живейшего вниманья
К моей мучительной тоске,
Она с улыбкой состраданья,
Как ропот арфы вдалеке,
Как звук волшебного напева,
Мне чувства сердца излила.
И эта речь, о дева, дева,
Меня как молния пожгла!..
Властитель мира, царь небесный!

.
Она, мой ангел, друг прелестный,
Она — не может быть моей!..
Едва жива, она упала
Ко мне на грудь; ее лицо
То вдруг бледнело, то пылало,—

Но на руке ее сверкало,
Ах, обручальное кольцо!..
Свершилось всё!.. Кровавым градом
Кольцо невесты облило
Мое холодное чело...
Я был убит землей и адом...
Я встал, отбросил от себя
Ее обманчивую руку
И, сладость жизни погубя,
Стеснив в груди любовь и муку,
Ей на ужасную разлуку
Сказал: «Прости, забудь меня!
Прости, невеста молодая,
Любви торжественный залог!
Прости, прекрасная, чужая!
Со мною смерть — с тобою бог!
Спеши на лоно сладострастья,
На лоно радостей земных,
Где ждет тебя в минуту счастья
Нетерпеливый твой жених;
Где он, с владычеством завидным,
Твой пояс девственный сорвет
И, с самовластием обидным,
Своею милой назовет...
Люби его: тебя достоин
Судьбою избранный супруг;
Но помни, дева, — я покоен:
Твой долг — мучитель, а не друг...
Печально, быстро вянут розы
На зное летнем без росы;
В темнице душевной моют слезы
Порабощенные красы...»
Далёко, долго раздавался
Стон бедной девы над кольцом,
И с шумной радостью примчался
За нею суженый с попом.
Напрасно я забыть былое
Хочу в далекой стороне:
Мне часто видится во сне
Кольцо на пальце золотое,
Хочу забыть мою тоску,
Твержу себе: она чужая!..
Но, бесполезно изнывая,
Забыть до гроба не могу..

К ДРУЗЬЯМ

Игра военных суматох,
 Добыча яростной простуды,
 В дыму лучинных облаков,
 Среди горшков, бабья, посуды,
 Полуразлегшись на доске
 Иль на скамье, как вам угодно,
 В избе негодной и холодной,
 В смертельной скуке и тоске
 Пишу к вам, ветреные друзья!
 Пишу — и больше ничего,
 И от поэта своего
 Прошу не ждать другой услуги.
 Я весь — расстройство!.. Я дышу,
 Я мыслю, чувствую, пишу,
 Расстройством полный; лишь расстройство
 В моем рассудке и уме...
 В моем посланье и письме
 Найдете вы лишь беспокойство!

.

И этот приступ неприродный
 Вас удивит, наверно, вдруг.
 Но, не трактуя слишком строго,
 Взглянув в себя самих немного,
 Мое безумство не вина,
 Вы не осудите меня.
 Я тот, чем был, чем есть, чем буду.
 Не пременюсь, не пременим...
 Но ах! Когда и где забуду,
 Что роком злобным я гоним?
 Гоним, убит, хотя отрада
 Идет одним со мной путем
 И в небе пасмурном награда
 Мне светит радужным лучом.
 «Я пережил мои желанья!», —
 Я должен с Пушкиным сказать,
 «Минувших дней очарованья»
 Я должен вечно вспоминать.
 Часы последних сатурналий,
 Пиров, забав и вакханалий
 Когда, когда в красе своей
 Изменят памяти моей?

Я очень глуп, как вам угодно,
 Но разных прелестей Москвы
 Я истребить из головы
 Не в силах... Это превосходно!
 Я вечно помнить буду рад:
 «Люблю я бешеную младость,
 И тесноту, и блеск, и радость,
 И дам обдуманный наряд».
 Моя душа полна мечтаний,
 Живу прошедшей суетой,
 И ряд несчастий и страданий
 Я заменять люблю игрой
 Надежды ложной и пустой.
 Она мне льстит, как льстит игрушка
 Ребенку в праздник годовой,
 Или как льстит бостон и мушка
 Девнице дряхлой и седой —
 Хоть иногда в тоске бессонной
 Ей снится образ жениха, —
 Или как запах благовонный
 Льстит вялым чувствам старика.
 Вот всё, что гадкими стихами
 Поэт успел вам написать,
 И за небрежными строками
 Блестит безмолвия печать...
 В моей избе готовят ужин,
 Несут огромный чан ухи, —
 Стол ямщикам голодным нужен, —
 Прощайте, други и стихи!
 Когда же есть у вас забота
 Узнать, когда и где охота
 Во мне припала до пера,
 В деревне *Лысая гора*.

Между июнем и декабрем 1829

КАЗАК

Под Черные горы на злого врага
 Отец снаряжает в поход казака.
 Убранный заботой седого бойца
 Уж трам абазинский стоит у крыльца.
 Жена молодая с поникшей главой
 Приносит супругу доспех боевой,

И он принимает от белой руки
Кинжал Базалая, булат Атаги
И труд Царяграда — ружье и пистоль¹.
На скатерти белой прощальная соль,
И хлеб, и вино, и Никола святой...
Родителю в ноги... жене молодой —
С таинственной бурей таинственный взор,
И брови на шашку — вине приговор,
Последнего слова и ласки огонь!..
И скрылся из виду и всадник и конь!

Счастливый казак!

От вражеских стрел, от меча и огня
Никола хранит казака и коня.
Враги заплатили кровавую дань,
И смолкла на время свирепая брань.
И вот полунощною тихой порой
Он крадется к дому глухою тропой,
Он милым готовит внезапный привет.
В душе его мрачного предчувствия нет.
Он прямо в светлицу к жене молодой,
И кто же там с нею?.. Казак холостой!
Взирает обманутый муж на жену
И слышит в руке и душе сатану:
«Губи лицемерку — она неверна!»
Но вскоре рассудком изгнан сатана...
Казак изнуренные силы собрал
И, крест сотворивши, Николе сказал:
«Никола, Никола, ты спас от войны,
Почто же не спас от неверной жены?»
Несчастный казак!

1830

Кавказ

НОЧЬ НА КУБАНИ

Весенний вечер на равнины
Кавказа знойного слетел;
Туман медлительный одел
Гор дальних синие вершины.
Как море розовой воды,
Заря слилась на небе чистом
С мерцаньем солнца золотистым,

¹ На Кавказе между казаков пистолет так всегда называется.

И гаснет всё; и с высоты
Необозримого эфира,
Толпой видений окружен,
На крыльях легкого зефира
Спустился друг природы — сон...

Его влиянию покорный,
Забот и воли мирный сын,
Покой вкушает благотворный
Трудолюбивый селянин.
Богатый духом безмятежным,
Он спит в кругу своей семьи
Под кровом верным и надежным
Давно испытанной любви
И счастлив в незавидной доле!
Его всегда лелеют сны:
Он видит вечно луг и поле,
И поцелуй своей жены.
И он — заране утомленный
Слепой фортуны сибарит —
И он от бедного сокрыт
На ложе неги утонченной!
Напрасно голос гробовой
Страдания тяжкого зовет:
Он никогда не возмущает
Его души полуживой!
И пусть таит глухая совесть
Свою докучливую повесть:
Ее ужасно прочитав
Во глубине души убитой!
Ужасно небо призывать
Деснице, кровию облитой!..

Едва заметною грядой —
Громад воздушных ряд зыбучий —
Плывут во тьме седые тучи,
И месяц бледный, молодой,
Закрытый их печальной тканью,
Прорезал дальний горизонт
И над гремучею Кубанью
Глядится в новый Геллеспонт...
Бывало, бодрый и безмолвный,
Казак на пагубные волны
Вперяет взор сторожевой:

Нередко их знакомый ропот
Таил коней татарских топот
Перед тревогой боевой;
Тогда винтовки смертоносной
Нежданный выстрел вылетал —
И хищник смертью поносной
На бреге русском погибал.
Или толпой ожесточенной
Врывались злобные враги
В шатры Защиты изумленной —
И обагряли глубь реки
Горячей кровью казаки.
Но миновало время брани,
Смирился дерзостный джигит,
И редко, редко на Кубани
Свинец убийственный свистит.
Молчаньем мрачным и печальным
Окрестность битв обложена,
И будто миром погребальным
Убита бранная страна...

Всё дышит негою прохладной,
Всё спит... Но что же сон отрадный
В тиши таинственных ночей
Не посетит моих очей?
Зачем зову его напрасно?
Иль в самом деле так ужасно
Утратить вольность и покой?

Ужель они невозвратимы,
Кумиры юности моей,
И никогда не укротимы
Порывы сильные страстей?

.
.
.
.

Ах, кто мечте высокой верил,
Кто почитал коварный свет
И на заре весенних лет
Его ничтожество измерил;
Кто погубил подобно мне
Свои надежды и желанья;

Пред кем разрушились вполне
Грядущей жизни упования;
Кто сир и чужд перед людьми,
Кому дадут из сожаленья
Иль ненавистного презренья
Когда-нибудь клочок земли —
Один лишь тот меня оценит,
Моей тоски не обвинив,
Душевным чувствам не изменит
И скажет: «Так, ты несчастлив!»
Как брат к потерянному брату,
С улыбкой нежной подойдет,
Слезу страдальную прольет
И разделит мою утрату!..

.
Лишь он один постигнуть может,
Лишь он один поймет того,
Чье сердце червь могильный гложет!
Как пальма в зеркале ручья,
Как тень налетная в лазури,
В нем отразится после бури
Душа унылая моя!..
Я буду — он, он будет — я,
В одном из нас сольются оба,
И пусть тогда вражда и злоба,
И меч, и заступ гробовой
Гремят над нашей головой!

.
Но где же он, воображенье
Очаровавший идеал,—
Мое прелестное виденье
Среди пустых, туманных скал?
Подобно грозным исполинам,
Они чернеют по равнинам
В своей бесстрастной красоте;
Лишь иногда на высоте
Или в развалинах кремнистых
Мелькает пара глаз огнистых,
Кабан свирепый пробежит
Или орлов голодных стая,
С пустынных мест перелетая,
На время сон их возмутит.

А я на камне одиноком,
Рушитель общей тишины,
Сижу в забвении глубоком,
Как дух подземной стороны,
И пронесутся дни и годы
Своей обычной чередой,
Но мне покоя и свободы
Не возвратят они с собой!

1830 или 1831

ВОДОПАД

Между стремнин с горы высокой
Ручьи прозрачные журчат,
И вдруг, сливаясь в ток широкой,
Являют грозный водопад.
Громады волн буграми жлещут
В паденье быстром и крутом
И, разлетевшись, ярко блещут
Вокруг серебряным дождем.
Ревет и стонет гул протяжный
По разорвавшейся реке
И, исчезая с пеной влажной,
Смолкает глухо вдалеке.
Вот наша жизнь! Вот образ верный
Погибшей юности моей!
Она в красе нелицемерной
Сперва катилась как ручей;
Потом в пылу страстей безумных,
Быстра как горный водопад,
Исчезла вдруг при плесках шумных,
Как эха дальнего раскат.
Шуми, шуми, о сын природы!
Ты безотрадною порой
Певцу напомнил блеск свободы
Своей свободною игрой!

1830 или 1831

ЧЕРНАЯ КОСА

Там, где свистящие картечи
Метала бранная гроза,
Лежит в пыли, на поле сечи,
В три грани черная коса.

Она в крови и без ответа,
Но тайный голос произнес:
«Булат, противник Магомета,
Меня с главы девичьей снес!
Гордясь красой неприхотливой
В родной свободной стороне,
Чело невинности стыдливой
Владело мною в тишине.
Еще за час до грозной битвы
С врагом отечественных гор
Пылал в жару святой молитвы
Звезды Чир-Юрта ясный взор.
Надежда храбрых на пророка
Отваги буйной не спасла,
И я во прах веленьем рока
Скатилась с юного чела!
Оставь меня!.. Кого лелеет
Украдкой нежная краса,
Тому на сердце грусть навевает
В три грани черная коса».

1831

ПЕСНИ

1

Зачем задумчивых очей
С меня, красавица, не сводишь?
Зачем огнем твоих речей
Тоску на душу мне наводишь?
Не припадай ко мне на грудь
В порывах милого забвенья,—
Ты ничего в меня вдохнуть
Не можешь, кроме сожаленья!
Меня не в силах воспалить
Твои горячие лобзанья,
Я не могу тебя любить —
Не для меня очарованья!
Я был любим и сам любил —
Увял на лоне сладострастья
И в хладном сердце схоронил
Минуты горестного счастья;
Я рано сорвал жизни цвет,
Всё потерял, всё отдал Хлое,—

И прежних чувств, и прежних лет
Не возвратит ничто земное!
Еще мне милы красота
И девы пламенные взоры,
Но сердце мучит пустота,
А совесть — мрачные укоры!
Люби другого: быть твоим
Я не могу, о друг мой милый!..
Ах, как ужасно быть живым,
Полуразрушась над могилой!

<1828>

2

У меня ль, молодца,
Ровно в двадцать лет
Со бела со лица
Спал румяный цвет;
Черный волос кольцом
Не бежит с плеча;
На ремне золотом
Нет грозы-меча;
За железным щитом
Нет копья-огня;
Под черкесским седлом
Нет стрелы-коня;
Нет перстней дорогих
Подарить милóй!
Без невесты жених,
Без попа налой...
Расступись, расступись,
Мать-сыра земля!
Прекратись, прекратись,
Жизнь-тоска моя!
Лишь по ней, по милóй,
Красен белый свет;
Без милóй дорогой
Счастья в мире нет!

<1831>

Там, на небе высоко
Светит солнце без лучей,—
Там без друга далеко
Гаснет свет моих очей!..
У косящата окна
Раскрасавица сидит;
Призадумавшись, она
Буйну ветру говорит:
«Не шуми ты, не шуми,
Буйный ветер, под окном;
Не буди ты, не буди
Грусти в сердце ретивом;
Не тверди мне, не тверди
Об изменнике моем!
Изменил мне, изменил
Мой губитель роковой;
Насмеялся, пошутил
Над моею простотой,
Над моею простотой,
Над девичьей красотой!
Я погибла бы, душа
Красна девка, от ножа,
Я погибла б от руки,
А не с горя и тоски.
Ты убей меня, убей,
Ненавистный мой злодей!
Я сказала бы ему,
Милу другу своему:
«Не жалею я себя,
Ненавижу я тебя!
Лей и пей ты мою кровь,
Утуши мою любовь!»
Не шуми ж ты, не шуми,
Буйный ветер, надо мной;
Полети ты, полети
Вдоль дороги столбовой!
По дороге столбовой
Скачет воин молодой;
Налети ты на него,
На тирана моего;
Просвищи, как жалкий стон,
Прошепчи ему поклон
От высоких от грудей,

От заплаканных очей,—
Чтоб он помнил обо мне
В чуждеальной стороне,
Чтобы с лютою тоской,
Вспоминая, вздохнул
И с горючею слезой
На кольцо мое взглянул;
Чтоб глядел он на кольцо,
Как на друга прежних дней,
Как на белое лицо
Бедной девицы своей!..»

< 1831 >

МОРЕ

Я видел море, я измерил
Очами жадными его:
Я силы духа моего
Перед лицом его поверил.
«О море, море! — я мечтал
В раздумье грустном и глубоком.—
Кто первый мыслил и стоял
На берегу твоём высоком?
Кто, неразгаданный в веках,
Заметил первый блеск лазури,
Войну громов и ярость бури
В твоих младенческих волнах?
Куда исчезли друг за другом
Твоих владельцев плёмена,
О коих весть нам предана
Одним злопамятным досугом?

.
.

Всегда ли, море, ты почило
В скалах, висящих надо мной?
Или неведомая сила,
Враждуя с мирной тишиной,
Не раз твой образ изменила?
Что ты? Откуда? Из чего?
Игра случайная природы
Или орудие свободы,
Воззавшей всё из ничего?

Надолго ль влажная порфира
Твоей бесстрастной красоты
Осуждена блистать для мира
Из недр бездонной пустоты?»

Вот тайный плод воображенья
Души, волнуемой тоской,
За миг невольный восхищенья
Перед пучиною морской!..
Я вопрошал ее... Но море,
Под знойным солнечным лучом
Сребрясь в узорчатом уборе,
Меж тем лелеялось кругом
В своем покое роковом.
Через рассыпанные волны
Катились груды новых волн,
И между них, отваги полный,
Нырлял пред бурей утлый челн.
Счастливец, знаешь ли ты цену
Смешного счастья твоего?
Смотри на челн — уж нет его:
В отваге он нашел измену!..
В другое время на берегах
Балтийских вод, в моей отчизне,
Красуясь цветом юной жизни,
Стоял я некогда в мечтах;
Но те мечты мне сладки были:
Они приветно сквозь туман,
Как за волной волну, манили
Меня в житейский океан.
И я поплыл... О море, море!
Когда увижу берег твой?
Или, как челн залетный, вскоре
Сокроюсь в бездне гробовой?

< 1831 >

ОЖИДАНИЕ

Как долго ждет
Моя любовь —
Зачем нейдет
Моя Любовь?
Пора давно!

Часы летят
И всё одно
Любви твердят:
«Скорей, скорей
Ловите нас,
Пока Морфей
Скрывает вас
От зорких глаз!...»
Поет петух,
Пропел другой —
И пылкой дух
Убит тоской:
Всё нет и нет!
Редает тень,
И брезжит свет,
И скоро день...
Спеши, спеши,
Моя Любовь,
И утуши
Мою любовь!

<1831>

ЧЕРКЕССКИЙ РОМАНС

Под тенью дуба векового,
В скале пустынной и крутой,
Сидит враг путника ночного —
Черкес красивый и молодой.
Но он не замысел лукавый
Таит во мраке тишины,
Не дышит гибельною славой,
Не жаждет сечи и войны.
Томимый негой сладострастной,
Черкес любви минуту ждет
И так в раздумье о прекрасной
Свою тоску передает:
«Близка, близка пора свиданья!
Давно кипит и стынет кровь,
И просит верная любовь
Награды сладкой за страданья.
Где ты? Спеши ко мне, спеши,
Джембе, душа моей души!

Покойно всё в ауле сонном,
Оставь ревнивых стариков:
Они узреть твоих следов
Не могут в мраке благосклонном!
Где ты? Спеши ко мне, спеши,
Джембе, душа моей души!

Звезда любви родного края,
Ты — целый мир в моих очах!
В твоей груди, в твоих устах
Заключена вся прелесть рая!
Взошла луна... Спеши, спеши,
О дева, жизнь моей души!»

И вдруг, как ветер тиховейный,
Она явилась перед ним —
И обняла рукой лилейной
С восторгом пылким и немым!
И лобызает с негой томной,
И шепчет: «Милый, я твоя!..»
И вздох невольный и нескромный
Волнует сильно грудь ея...
Она его!.. Но что мелькнуло
В седой ущелине скалы?
Что зазвенело и сверкнуло
Среди густой, полночной мглы?
Кто блещет шашкой обнаженной,
Внезапно с юношей сразясь?
Чей слышен голос разъяренный:
«Умри, с злодейкой не простясь!..»

Ее отец!.. Отрады ночи
Старик бессонный не вкусил,
Он подозрительные очи
С преступной девы не сводил;
Он замечал ее движенья,
Ее таинственный побег,
И в первый пыл ожесточенья
Дни обольстителя пресек...
Но где она? Какую долю
Ей злобный рок определил?
Ужель на вечную неволю
Отец жестокой осудил,
И, изнывая в заточенье,

Добычей гнева и стыда
Погибнет в жалком погребенье
Любви виновной красота?..
Что с ней?.. Увы! Вот дикой камень
Стоит над гробом у скалы:
Там светлых дней несчастный пламень
Давно погас — для вечной тьмы!
В тот самый миг, как друг прекрасный
В крови к ногам ее упал,
Последний вздох прощальный, страстный,
Стеснил в груди ее кинжал!..

<1831>

РОМАНСЫ

1

Пышно льется светлый Терек
В мирном лоне тишины;
Девы юные на берег
Вышли встретить пир весны.

Вижу игры, слышу ропот
Сладкозвучных голосов,
Слышу резвый, легкий топот
Разноцветных башмачков.

Но мой взор не очарован
И блесит не для побед —
Он тобой одним окован,
Алый шелковый бешмет!

Образ девы недоступной,
Образ строгой красоты
Думой грустной и преступной
Отравил мои мечты.

Для чего у страсти пылкой
Чародейной силы нет
Превратиться невидимкой
В алый шелковый бешмет?

Для чего покров холодный,
А не чувство, не любовь
Обнимает, жмет свободно
Гибкий стан, живую кровь?

2

Утро жизнью благодатной
Освежило сонный мир,
Дышит влагою прохладной
Упоительный зефир,

Нега, радость и свобода
Торжествуют юный день,
Но в моих очах природа
Отуманена как тень.

Что мне с жизнью, что мне с миром?
На душе моей тоска
Залегла, как над вампиром
Погребальная доска.

Вздых волшебный сладострастья
С стоном девы пролетел
И в груди за призрак счастья
Смертный хлад запечатлел.

Уж давно огонь объятий
На злодее не горит;
Но над ним, как звук проклятий,
Этот сон ночной гремит.

О, исчезни, стон укорный,
И замри, как замер ты
На устах красы упорной
Под покровом темноты!

3

Одел станицу мрак глубокой...
Но я казачкой осужден
Увидеть снова прежний сон
На ложе скуки одинокой.

И знаю я — приснится он,
Но горе деве непреклонной!
Приснится завтра ей, несонной,
Коварный сон, мятежный сон.

Моей любви нетерпеливость
Утешит детскую боязнь,
Узнает счастье и казнь
Ее упорная стыдливость.

Станицу скроет темнота, —
 Но уж не мне во мраке ночи,
 А ей предстанет перед очи
 Неотразимая мечта.

И юных персей трепетанье,
 И ропот уст, и жар ланит —
 Всё сладко, сладко наградит
 Меня за тайное страданье.

<1831>

МЕРТВАЯ ГОЛОВА

Из-за черных облаков
 Блещет месяц в вышине,
 Видны в ставке казаков
 Десять копий при луне.
 Отчего ж она темна,
 Что не светится она,
 Сталь десятого копья?
 Что за призрак вижу я
 При обманчивой луне
 На таинственном копье?
 О, не призрак! Наяву
 Вижу вражеский укор —
 Безобразную главу
 Сына брани, сына гор.
 Вечный сон ее удел
 На отеческих полях,
 На убийственных мечех
 Он к ней рано прилетел.
 Пять ударов острия
 Твердый череп разнесли;
 Муку смерти затая,
 Очи кровью затекли.
 Силу дивную бойца
 Злобный гений превозмог.
 Труп холодный мертвеца
 В землю с честью не лег.
 И глава его темнит
 Сталь десятого копья,
 И душа его парит
 К новой сфере бытия...

.

ДРУГУ МОЕМУ А. П. Л <ОЗОВСКОМУ>

Бесценный друг счастливых дней,
Вина святого упования
Души измученной моей
Под игом грусти и страдания,—
Мой верный друг, мой нежный брат
По силе тайного влечения,
Кого со мной не разлучат
Времен и мест сопротивленья.
Кто для меня и был и есть
Один и всё, кому до гроба
Не очернят меня ни лесть,
Ни зависть черная, ни злоба,
Кто овладел, как чародей,
Моим умом, моею думой,
Кем снова ожил для людей
Страдалец мрачный и угрюмый,—
Бесценный друг, прими плоды
Моих задумчивых мечтаний,
Минутной резвости следы
И цепь печальных воспоминаний!
Ты не найдешь в моих стихах
Волшебных звуков песнопенья:
Они родятся на устах
Певцов любви и наслажденья...
Уже давно чуждаюсь я
Их благодатного привета,
Давно в стихии шумной света
Не вижу радостного дня...
Пою, рассеянный, унылый,
В степях далекой стороны
И пробуждаю над могилой
Давно утраченные сны...
Одну тоску о невозвратном,
Гонимый лютою судьбой,
В движенье грустном и приятном
Я изливаю пред тобой!
Но ты, понявши тайну друга,
Оценишь сердце выше слов
И не сменишь моих стихов
Стихами резвыми досуга
Других счастливейших певцов.

7 февраля 1832
Крепость Грозная

Was sein soll — muss geschehen!¹

Я не скажу тебе, поэт,
 Что греет грудь мою так живо,
 Я не открою сердце, нет!
 И поэтически, игриво
 Я гармоническим стихом,
 В томленье чувств перегорая,
 Не выскажу тебе о том,
 Чем дышит грудь полуживая,
 Что движет мыслию во мне,
 Как глас судьбины, глас пророка,
 И часто, часто в тишине
 Огнем пылающего ока
 Так и горит передо мной!
 О, как мне жизнь тогда светлеет!
 Мной всё забыто — и покой
 В прохладе чувств меня лелеет.
 За этот миг я б всё отдал,
 За этот миг я бы не взял
 И гурий неги Гаафица —
 Он мне нужнее, чем денница,
 Чем для рожденного птенца
 Млеко родимого сосца!

Так не испытывай напрасно,
 Поэт, волнения души,
 И искры счастья прекрасной
 В ее начале не туши!
 Она угаснет — и за нею
 Мои глаза закрою я,
 Но за могилою моею
 Еще услышишь ты меня.
 Лишь с гневом яростного мщенья
 Оно далёко перейдет,
 А всё врага <себе> найдет
 В веках, грядущих поколениях!

19 февраля 1832

¹ Чему быть — тому не миновать! (нем.). — *Ред.*

АКТАШ-АУХ

На высоте пустынных скал,
Под ризой инеев пушистых,
Как сторож пасмурный стоял
Дуб старый, царь дубов ветвистых.
Сражаясь с хладом облаков,
Встречая гордо луч денницы,
Один, далёко от дубров,
Служил он кровом хищной птицы.
Молниеносный ураган
Сверкнул в лазуревой пучине —
И разлетелся великан
Как прах по каменной твердыне.
В вертепах дикой стороны,
Для чужеземца безотрадной,
Гнездились буйные сыны
Войны и воли кровожадной;
Долины мира возмущал
Брегов Акташа лютый житель;
Коварный гений охранял
Его преступную обитель.
Но где ты, сон минувших дней?
Тебя сменила жажда мщенья,
И сильный вождь богатырей
Рассеял сонм злоумышленья!
Акташа нет!.. Пробил конец
Безумству жалкого народа,
И не спасли тебя, беглец,
Твои кинжалы и природа...
Где блещет солнце, где заря
Едва мелькает за горами —
Предстанет всюду пред врагами
Герой полночного царя.

1832

КЛАДБИЩЕ ГЕРМЕНЧУТСКОЕ

В последний раз румяный день
Мелькнул за дальними лесами,
И ночи пасмурная тень
Слилась уныло с небесами.

Всё тихо, мертво, всё гласит
В природе час успокоенья...
И он настал: не воскресит
Ничто минувшего мгновенья.
Оно прошло, его уж нет
Для добродетели и злобы!
Пройдут миллионы новых лет,
И с каждым утром новый свет
Увидит то же: жизнь и гробы!
Один мудрец, в кругу людей,
Уму свободному послушный,
Всегда покойный, равнодушный
Среди волнений и страстей,
Живет в покое безмятежном
Высоким чувством бытия:
В грозе, в несчастье неизбежном,
В завидной доле, затая
Самолюбивое мечтанье,
Он, как бесплотное созданье,
Себе правдивый судия.
В пределах нравственного мира,
Свершая тихий период,
Как скальда северного лира,
Он звук согласный издает,
Журчит и льется непрерывно
И исчезает в тишине,
Как аромат Востока дивный
В необозримой вышине.
Цари, герои, раб убогой, —
Один готов для вас удел!
Цветущей, тесною дорогой
Кто миновать его умел?
Как много зла и вероломства
Земля могучая взяла!
Хранит правдивое потомство
Одни лишь добрые дела!
Не вы ли, дикие могилы,
Останки жалкой суеты,
Повергли в грустные мечты
Мой дух угрюмый и унылый?
Что значат длинные ряды
Высоких камней и курганов,
В часы полуночи немой
Стоящих мрачно предо мной
В сырой обители туманов?

Зачем чугунное ядро,
Убийца Карла и Моро,
Лежит во прахе с пирамидой
Над гробом юной девы гор?
Ее давно потухший взор
Не оскорбится сей обидой!
Кто в свежий памятник бойца
Направил ужасы картечи?
Не отвращал он в вихре сечи
От смерти грозного лица.
И кто б он ни был — воин чести
Или презренный из врагов, —
Над царством мрака и гробов
Ровно ничтожно право мести!
Сверкает полная луна
Из туч багровыми лучами...
Я зрю: вокруг обагрена
Земля кровавыми ручьями.
Вот труп холодный... Вот другой
На рубеже своей отчизны.
Здесь — обезглавленный, нагой;
Там — без руки страдалец жизни;
Там — груда тел... Кладбище, ров,
Мечети, сакли — всё облито
Живою кровью; всё разбито
Перуном тысячи громов...
Где я? Зачем воображенья
Неограниченный полет
В места ужасного виденья
Меня насильственно влечет?
Я очарован!.. Сон тревожный
Играет мрачною душой!..
Но пуля свищет надо мной!..
Злодеи близко... Ужас ложный
С чела горячего исчез...
Объятый горестною думой,
Смотрю рассеяннo на лес,
Где враг, свирепый и угрюмый,
Сменив покой на заговор,
Таит свой немощный позор.
Смотрю на жалкую ограду
Неукротимых беглецов,
На их мгновенную отраду
От изыскательных штыков;

На русский стан; воспоминаю
Минувшей битвы гул и звук
И с удивлением мечтаю:
О воин гор, о Герменчуг!
Давно ли, пышный и огромный,
Среди завистливых врагов,
Ты процветал под тенью скромной
Очаровательных садов?
Рука, решительница боёв,
Неотразимая в войне,
Тебя ласкала в тишине
С великодушием героев;
Но ты в безумстве роковом
Восстал под знаменем гордыни—
И пред карающим мечом
Склонились дерзкие твердыни!..
Покров упал с твоих очей;
Открыта бездна заблуждений!
Смотри сквозь зарево огней,
Сквозь черный дым твоих селений —
На плод коварства и измен!
Не ты ли, яростный, у стен,
Перед решительною битвой
Клялся вечернею молитвой
Рассеять сонмы христиан
И беззащитному семейству
Передавал в урок злодейству
Свой утешительный обман?
Ты ждал громового удара;
Ты вызывал твою судьбу —
И пепел грозного пожара
Решил неравную борьбу!..
Иди теперь, иди к несчастным:
Рассей их робость и тоску;
И мсти отчаяньем ужасным
Непобедимому врагу!
И спросят жены, спросят дети
Тебя с волнением живым:
«Где наши сакли, где мечети?
Веди нас к милым и родным!»
И ты ответишь им: «Родные
Лежат убитые в пыли,
А их доспехи боевые
На волх вражеской земли!

Удел младенца без покрова —
Делить страдания матерей;
Приют наш — темная дуброва,
Замена братьев и друзей —
Толпа голодная зверей!..»
И заглушит тогда стенанье
Жестокосердые слова,
И упадет на грудь в молчанье
Твоя преступная глава!
И, движим грустию мятежной,
На миг чувствительный отец —
Ты будешь речью безнадежной
Тушить с заботливостью нежной
Боязнь неопытных сердец!
То снова пыл ожесточенья
В душе суровой закипит,
И над главою ополченья
Свинец разбойничьего мщенья
Из-за кургана просвистит...
А грозный стан, необозримый,
Теряясь в ставках и шатрах,
Стоит покойный, недвижимый,
Как исполин, на двух реках.
Великий духом и делами,
Фиал щедроты и смертей,
Пришел он с русскими орлами
Восстановить права людей,
Права людей — права закона
В глухой далекой стороне,
Где звезды северного трона
Горят в туманной вышине!
Его вожди... Скрижали чести
Давно хранят их имена.
Труба презрительная лести
Не пробуждает времена;
Но голос славы, племена —
Отважный галл, осман надменный,
Поклонник ревностный Али,
Кавказ, сармат ожесточенный —
Им приговор произнесли!..
Он свят!.. Язык врага отчизны
Свободен, смел, красноречив,
И славный Пор без укоризны
Был к Александру справедлив...

Вот эти славные дружины,
Питомцы брани и побед!
Где солнце льет печальный свет,
Где бездны, горы и стремнины,
Где боязливая нога
Едва ступает с изумленьем,
Везде с крылатым ополченьем
Следы граненого штыка!
И Герменчуг!.. Народ жестокой,
Народ, свой пагубный тиран!
Когда пред истиной высокой
Исчезнет жалкий твой обман?
Когда признательные очи,
Обмыв горячею слезой,
Ты дружбу сына полуночи
Оценишь гордою душой?

Покойно всё. Между шатрами
Кой-где мелькают огоньки;
С ружьем и пикой за плечами
Кой-где несутся казаки;
Разводят цепи и патрúли,
Сменяют бодрых часовых,
И визг изменнической пули
В дали таинственной затих!..
И, вновь объятый тишиною,
Под кровом ночи дремлет стан,
Пока с грядущею зарею
Отгрянет с пушкой востовою
В горах окрестных барабан;
Зажжется яркая денница
На склоне пасмурных небес;
Пробудит утренняя птица
Веселым пеньем сонный лес;
Обвеет дух отрадной жизни
Могучий сонм богатырей,
И дикий вид чужой отчизны
Предстанет в блеске для очей!
О, сколько бурных впечатлений
На поле брани роковой
Проснутся в памяти живой
Победоносных ополчений!
Минувший день, минувший гром,
Раскаты пушечного гула,
Картины гибели аула,

Пальба и сеча, прах столпом,
И визг, и грохот, и моление,
И саблей звук, и ружей блеск,
Бойниц, завалов, саклей треск —
Всё воскресит воображенье!..
Вот снова царствует, кипит
Оно в кругу знакомой сферы...
«Ура» отважное гремит...
Бегут на приступ гренадеры,
Долины мирные Москвы
Давно забывшие для славы,
Они бесстрашно в бой кровавый
Несут отважные главы!
На ров, на вал, на ярость встречи,
Под вихрем огненных дождей,
На пули, шашки и картечи
Летят по манию вождей.
Ни крик, ни вопли, ни стенанье —
Ничто отдельно не гремит:
Одно протяжное жужжанье,
Разлившись в воздухе, гудит.
Окопы сбиты... Враг трепещет,
Сбирает силы, грянул вновь,
Бежит, рассеялся — и хлещет.
Ручьями варварская кровь...
Повсюду смерть, гроза и мщенье!..
Пируют буйные штыки,
Везде разносят истребленье
Неотразимые полки!
Там егерь, старый бич Кавказа,
Притек от Куры на Аргун
Метать свой гибельный перун;
А там — летучая зараза —
Неумолимый карабах
С кривою саблею в руках,
Как черный дух, мелькает, рубит
Ожесточенного бойца
И опрокинутого губит
Стальным копытом жеребца!..
Куртин, казак и персиянин,
Свирепый турок, христианин,
Пришельцы дальней стороны,
Краса грузинских легионов, —
Всё пало тучею драконов
На чад разбоя и войны!

И всё утихло: глас молитвы
В дыму над грудой братних тел,
И шум, и стон, и грохот битвы!..
Осталась память славных дел!

Один под ризою ночною,
В тумане влажном и сыром,
С моей подругою — мечтою —
Сижу на камне гробовом.
Не крест — символ души скорбящей —
Стоит над чуждым мертвецом:
Он славен гибельным мечом,
А меч — символ его грозящий!..
Быть может, тень его парит,
Облекшись в бурю, надо мною
И невидимою рукою
Пришельцу дерзкому грозит;
Быть может, в битве оживляла
Она отчизны бранный дух
И снова к мести призывала
Сокрытый в пепле Герменчуг.

1832

ПЕСНЬ ГОРСКОГО ОПОЛЧЕНИЯ

Зашумел орел двуглавый
Над враждебною рекой,
Прояснился путь кровавый
Перед дружною толпой.
Ты заржавел, меч булатный,
От бездейственной руки,
Заждались вы славы ратной,
Троегранные штыки.
Завизжит свинец летучий
Над бесстрашной головой,
И нагрянет черной тучей
На врага зловещий бой.
Разорвет ряды злодея
Смертоносный ураган,
И исчезнет, цепenea,
Ненавистный мусульман.

Распадутся с ярым треском
Неприступные скалы,
И зажжется новым блеском
Грозный день Гебек-Калы.¹

1832

АХАЛУК

Ахалук мой, ахалук,
Ахалук демикотонный,
Ты работа нежных рук
Азиатки благосклонной!
Ты родился под иглой
Атагинки чернобровой,
После робости суровой
И любви во тьме ночной.
Ты не пышной пестротой —
Цветом гордых узденей,
Но смиренной простотою —
Цветом северных ночей —
Мил для сердца и очей...
Черен ты, как локон длинный
У цыганки кочевой,
Мрачен ты, как дух пустынный —
Сторож урны гробовой.
И серебряной тесьмою,
Как волнистою струею
Дагестанского ручья,
Обвились твои края.
Никогда игра алмаза
У могола на чалме,
Никогда луна во тьме,
Ни чело твое, о База, —
Это бледное чело,
Это чистое стекло,
Споря в живости с опалом,
Под ревнивым покрывалом —
Не сияли так светло!

¹ *Гебек-Кала*, или Святая Гора, — хребет Салатавских гор, где генерал-лейтенант Вельяминов после упорного сражения разбил наголову Кази-Мулу, который без туфель, трубки и бурки бежал с поля сражения и едва не был захвачен в плен с своею любовницею, армянкою из города Кизляра.

Ах, серебряная змейка,
Ненаглядная струя —
Это ты, моя злодейка,
Ахалук суровый — я!

1832 или 1833

РАСКАЯНИЕ

Я согрешил против рассудка,
Его на миг я разлюбил:
Тебе, степная незабудка,
Его я с честью подарил!
Я променял святую совесть
На мщенье буйного глупца,
И отвратительная повесть
Гласит безумие певца.
Я согрешил против условий
Души и славы молодой,
Которых демон празднословий
Теперь освищет с клеветой!
Кинжал коварный сожаленья
Притворной дружбы и любви
Теперь потонет без сомненья
В моей бунтующей крови.
Толпа знакомцев вероломных,
Их шумный смех, и строгий взор
Мужей значительно безмолвных,
И ропот дев неблагоклонных —
Всё мне и казнь, и приговор!
Как чад неистовый похмелья,
Ты отлетела наконец,
Минута злобного веселья!
Проснись, задумчивый певец!
Где гармоническая лира,
Где барда юного венок?
Ужель повергнул их порок
К ногам ничтожного кумира?
Ужель бездушный идеал
Неотразимого разврата
Тебя, как жертву каземата,
Рукой поносной оковал?
О нет!.. Свершилось!.. Жар мятежный
Остыл на пасмурном челе:
Как сын земли, я дань земле

Принес чредою неизбежной;
Узнал бесславию, позор
Под маской дикого невежды,—
Но пред лицом Кавказских гор
Я рву нечистые одежды!
Подобный гордостью горам,
Заметным в безднах и лазури,
Я воспарю, как фимиам
С цветов пустынных, к небесам
И передам моим струнам
И рев и вой минувшей бури.

1832 или 1833

ЦЫГАНКА

Кто идет перед толпою
На широкой площади,
С загорелой красотою
На щеках и на груди?
Под разодранным покровом,
Проницательна, черна,
Кто в величии суровом
Эта дивная жена?..
Бьются локоны небрежно
По нагим ее плечам,
Искры наглости мятежно
Разбежались по очам,
И, страшней ударов сечи,
Как гремучая река,
Льются сладостные речи
У бесстыдной с языка.
Узнаю тебя, вакханка
Незабвенной старины:
Ты коварная цыганка,
Дочь свободы и весны!
Под узлами бедной шали
Ты не скроешь от меня
Ненавистницу печали,
Друга радостного дня.
Ты знакома вдохновенью
Поэтической мечты.
Ты дарила наслажденью
Африканские цветы!

Ах, я помню... Но ужасно
Вспоминать лукавый сон:
Фараонка, не напрасно
Тяготит мне душу он!
Пронеслась с годами сила,
Я увял — и наяву
Мне рука твоя вручила
Приворотную траву...

< 1833 >

ПРИЗВАНИЕ

В душе горит огонь любви,
Я жажду наслажденья, —
О милый мой, лови, лови
Минуту заблужденья!
Явись ко мне — явись как дух,
Нежданный, беспощадный,
Пока томится, ноет дух
В надежде безотрадной,
Пока играет на челе
Румянец прихотливый
И вижу я в туманной мгле
Звезду любви счастливой!
Я жду тебя — я вся твоя,
Покрой меня лобзаньем,
И полно жить — и тихо я
Сольюсь с твоим дыханьем!
В душе горит огонь любви,
Я жажду наслажденья, —
О милый мой, лови, лови
Минуту заблужденья!

< 1833 >

СОН ДЕВУШКИ

Чего не видит во сне
13-летняя девушка?

Скучно девушке с старушкой
Длинный вечер просидеть наедине,
Скучно с глупою болтушкой
Песни петь о незабвенной старине.

Спится бедной за рассказом
О каком-то колдуне,
И над слухом, и над глазом
Сон зацарствовал вполне.
Вот уснула — и виденья
Под Морфеевым крылом
Разнесли благотворенья
Над пылающим челом.
Видит дева сон мятежный,
Плод томительных годов,
Тайный отзыв думы нежной:
Трех красивых женихов.
Юны, пламенны и страстны,
К ней приблизились они,
Просят трое у прекрасной
Ласки девственной любви!
Пышет пламень сладострастья
В соблазнительных очах,
Ропот неги, ропот счастья
Замирает на устах.
Бьется сердце у Нанины,
Труден выбор для души:
Женихи, как три картины,
Миловидны, хороши...
Наконец невольной силой
К одному привлечена,
Говорит она: «Мой милый,
Я тебе обречена!»
Поцелуй любви трепещет
На счастливце молодом...
Вдруг струистый пламень блещет,
Загремел подземный гром,
Всё исчезло... Засверкало
Что-то яркое в углу,
Зашумело, зажужжало,
И, как будто наяву,
Перед ней козел рогатый,
Старец с книгою в руках
И петух большой, мохнатый,
В красно-бурых завитках...
Обмерла моя Нанина,
Нет защитника нигде...
«Пресвятая Магдалина,
Не оставь меня в беде!..»

.

Снова молния сверкнула,
Призрак пагубный исчез...
Дева — «Ах!» Открыла очи —
Вкруг постели тишина;
Лишь над ней во мраке ночи,
Как туманная луна,
Шепчет бабушка седая
Что-то с книгой и крестом:
«Пробудись, моя родная!
Ты в волнении живом:
Соблазнил тебя лукавый
Окаянную мечтой...
Призови рассудок здравый
В помощь с верою святой;
Мне самой мечтались прежде
И козлы, и петухи,
Но не бойся — верь надежде —
Нам они не женихи».

< 1833 >

СТЕПЬ

Светлый месяц из-за туч
Бросил тихо ясный луч
По степи безводной.

Как янтарная слеза,
Блещет влажная роса
На траве холодной.

Время, девица-душа,
Из-под сени шалаша
Пролети украдкой,

Улови, прелестный друг,
От завистливых подруг
Миг любви краткой!

Не звенит ли за холмом
Милый голос?

Не сверкнул ли над плечом
Черный волос?

Не знакомое ли мне
Покрывало

В благосклонной тишине
Промелькало?

Сердце вешее дрожит,
Дева юная спешит
К тайному приюту.

Скройся, месяц золотой,
Над счастливою четой,
Скройся на минуту!

Миг волшебный пролетел,
Как виденье,

И осталось мне в удел
Сожаленье!

Скоро ль, девица-краса,
От желанья

Потемнеют небеса
Для свиданья?

< 1833 >

ОКНО

Там, над быстрою рекой
Есть волшебное окно,
Белоснежною рукой
Открывается оно.

Груди полные дрожат
Из-под тени полотна,
Очи светлые блестят
Из волшебного окна...

.
.

И, склонясь на локоток,
Под весенний вечерок,
Милостива, хороша,
Смотрит девица-душа.

Улыбнется — и природа расцветет,
И приятней соловей в саду поет,
И над ручкою лилейной
Вьется ветер тиховойный,
И порхает,
И летает
С сладострастной мечтой
Над девицей молодой.

Но лишь только опускает раскрасавица окно —
Всё над Терекон суровым и мертво, и холодно.

Улыбнись, душа-девица,
Улыбнись, моя любовь,
И вечерняя зарница
Осветит природу вновь!
Нет! Жестокая не слышит
Робкой жалобы моей
И в груди ее не пышет
Пламень неги и страстей!
Будет время, равнодушная краса:
Разнесется от печали светло-русая коса!

Сердце пылкое, живое
Загрустит во тьме ночной,
И страдание чужое
Ознакомится с тобой;
И откроешь ты ревниво
Потаенное окно,
Но любви нетерпеливой
Не дождется уж оно.

< 1833 >

ДЕМОН ВДОХНОВЕНЬЯ

Так, это он, знакомец чудный
Моей тоскующей души,
Мой добрый гость в толпе безлюдной
И в усыпительной глуши!
Недаром сердце угнетала
Непостижимая печаль:
Оно рвалось, летело вдаль,
Оно желанного искало.

И вот, как тихий сон могил,
Лобзаясь с хладными крестами,
Он благотворно осенил
Меня волшебными крылами.
И с них обильными струями
Сбежала в грудь мне крепость сил,
И он бесплотными устами
К моим бесчувственным приник,
И своенравным вдохновеньем
Душа зажглася с исступленьем,
И проглаголал мой язык:
«Где я, где я? Каких условий
Я был торжественным рабом?
Над Аполлоновым жрецом
Летает демон празднословий!
Я вижу — злая клевета
Шипит в пыли змеиным жалом,
И злая глупость, мать вреда,
Грозит мне издали кинжалом,
Я вижу будто бы во сне
Фигуры, тени, лица, маски:
Темны, прозрачны и без краски,
Густою цепью по стене
Они мелькают в виде пляски...
Ни па, ни такта, ни шагов
У очарованных духов...
То нитью легкой и протяжной,
Подобно тонким облакам,
То массой черной стоэтажной
Плывут, как волны по волнам...
Какое чудо! Что за вид
Фантазмагории волшебной!..
Все тени гимн поют хвалебный;
Я слышу страшный хор гласит:
«О Ариман! О грозный царь
Теней, забытых Оризмадом!
К тебе взывает целым адом
Твоя трепещущая тварь!..
Мы не страшимся тяжелой муки:
Давно, давно привыкли к ней
В часы твоей угрюмой скуки,
Под звуком тягостных цепей;
С печальным месячным восходом
К тебе мы мрачным хороводом

Спешим, восставши из гробов,
На крыльях филинов и сов!
Сыны родительских проклятий,
Надежду вживе погубя,
Мы ненавидим и себя,
И злых и добрых наших братьий!..
Когтями острыми мы рвем
Их изнуренные составы;
Страдая сами — зло за злом
Изобретаем мы, царь славы,
Для страшной демонской забавы,
Для наслажденья твоего!..
Воззри на нас кровавым оком:
Есть пир любимый для него,
И в утешении жестоком,
Сквозь мрак геенны и огни
Уста улыбкой проясни!
О Ариман! О грозный царь
Теней, забытых Оризмадом!
К тебе взывает целым адом
Твоя трепещущая тварь!..»

И вдруг: и треск,
И гром, и блеск —
И Ариман,
Как ураган,
В тройной короне
Из черных змей,
Предстал на троне
Среди теней!
Умолкли стоны,
И миллионы
Волшебных лиц
Поверглись ниц!..

«Рабы мои, рабы мои,
Отступники небесного светила!
Над вами власть моей руки
От вечности доньше опочила,
И непреложен мой закон!..

Настанет день неотразимой злобы —
Пожрут, пожрут неистовые гробы
И солнце, и луну, и гордый небосклон:
Всё грозно дань заплатит разрушенью —

И на развалинах миров
Узрите вы опять по тайному велению
Во мне властителя страдающих духов!..»

И вновь и треск,
И гром, и блеск —
И Ариман,
Как ураган,
В тройной короне
Из черных змей,
Исчез на троне
Среди теней...
Всё тихо!.. Страшные виденья
Как вихрь умчались по стене,
И я, как будто в тяжком сне,
Опять с своей тоской сию наедине!
Зачем ты улетел, о демон вдохновенья!..

1833

ИВАН ВЕЛИКИЙ

Опять она, опять Москва!
Редает зыбкий пар тумана,
И засияла голова
И крест Великого Ивана!
Вот он — огромный Бриарей,
Отважно спорящий с громами,
Но друг народа и царей
С своими ста колоколами!
Его набат и тихий звон
Всегда приятны патриоту;
Не в первый раз, спасая трон,
Он влек злодея к эшафоту!
И вас, Реншильд и Шлиппенбах,
Встречал привет его громовый,
Когда с улыбкой на устах
Влачили гордо вы в цепях
За колесницею Петровой!
Дела высокие славян,
Прекрасный век Семирамиды,
Герои Альпов и Тавриды, —
Он был ваш верный Оссиан,
Звучней, чем Игорев Баян!
И он, супруг твой, Жозефина,
Железный волей и рукой,
На векового исполина
Взирал с невольною тоской!

Москва под игом супостата,
И ночь, и бунт, и Кремль в огне —
Нередко нового сармата
Смущали в грустной тишине.
Еще свободы яркой клики
Таила русская земля,
Но грозен был Иван Великий
Среди безмолвного Кремля.
И Святослава меч кровавый
Сверкнул над буйной головой,
И, избалованная славой,
Она скатилась величаво
Перед торжественной судьбой!..
Восстали царства, пламень брани
Под небом Африки угас,
И звучно, звучно с плеском дланей
Слился Ивана шумный глас!..
И где ж, когда в скрижаль отчизны
Не вписан доблестный Иван?
Всегда, везде без укоризны
Он русской правды Алкоран!..
Люблю его в войне и мире,
Люблю в обычной простоте,
И в пышной пламенной порфире,
Во всей волшебной красоте,
Когда во дни воспоминаний
Событий древних и живых
Среди щитов, огней, блистаний
Горит он в радугах цветных!..
Томясь желаньем ненасытным
Заняться важно суетой,
Люблю в раздумье любопытном
Взойти с народною толпой
Под самый купол золотой
И видеть с жалостью оттуда,
Что эта гордая Москва,
Которой добрая молва
Всегда дарила имя чуда,—
Песку и камней только груда.
Без слов коварных и пустых
Могу прибавить я, что лица,
Которых более других
Ласкает матушка-столица,
Оттуда видны без очков,
Поверьте мне, как вереница
Обыкновенных каплунов...

А сколько мыслей, замечаний,
Философических идей,
Филантропических мечтаний
И романтических затей
Всегда насчет других людей
На ум приходят в это время?
Какое сладостное бремя
Лежит на сердце и душе!
Ах, это счастье без обмана,
Оно лишь жителя Монблана
Лелеет в вольном шалаше!
Один крестьянин полудикий
Недаром вымолвил в слезах:
«Велик господь на небесах,
Велик в Москве Иван Великий!»
Итак, хвала тебе, хвала,
Живи, цветы, Иван кремлевский,
И, утешая слух московский,
Гуди во все колокола!

1833

ОТРЫВОК ИЗ ПОСЛАНИЯ
К А. П. Л<ОЗОВСКОМ>У

И нет их, нет! Промчались годы
Душевных бурь и мятежей,
И я далек от рубежей
Войны, разбоя и свободы...
И я без грусти и тоски
Покинул бранные станицы,
Где в вечной праздности девицы,
Где в вечном деле казаки;
Где молоканки очень строги
Для целомудренных невест;
Где днем и стража и разъезд,
А ночью шумные тревоги;
Где бородатый богатырь,
Всегда готовый на сражение,
Меняет важно на чихирь
В горах отбитое именьё;
Где беззаботливый старик
Всегда молчит благопристойно,
Лишь только б свáрливый язык
Не возмущал семьи покойной;

Где день и ночь седая мать
 Готова дочери стыдливой
 Седьмую заповедь читать;
 Где дочь внимает терпеливо
 Совету древности болтливой
 И между тем в тринадцать лет
 В глазах святоши боязливой
 Полнее шьет себе бешмет;

Где безукорая жена
 Глядит скосясь на изувера,¹

Где муж, от сабли и седла
 Бежав, как тень, в покое кратком,
 Под кровом мирного угла
 Себе растит в забвенье сладком
 Красу оленьего чела;
 Где всё живет одним развратом;²
 Где за червонец можно быть
 Жене — сестрой, а мужу — братом;
 Где можно резать и душить
 Проезжих с солнечным закатом;
 Где яд, кинжал, свинец и меч
 Всегда сменяются пожаром
 И голова катится с плеч
 Под неожиданным ударом;
 Где наконец Кази-Мулла,
 Свирепый воин исламизма,
 В когтях полночного Орла
 Растерзан с гидрой фанатизма,
 И пал коварный Бей-Булат,³
 И кровью злобы и раздора

¹ *Изувер* — почетное титуло, которым величают иногда закоренелые старо-
 обрядки русских воинов.

² Частые необходимые сношения казаков с горцами служат невольною
 причиною беспорядков, происходящих иногда в станицах. Кому не известны
 хищные, неукротимые нравы чеченцев? Кто не знает, что миролюбивейшие
 меры, принимаемые русским правительством для смирения буйства сих мя-
 тежников, никогда не имели полного успеха; закоренелые в правилах разбоя,
 они всегда одинаковы. Близкая неминуемая опасность успокаивает их на вре-
 мя, после опять то же вероломство, то же убийство в недрах своих благодете-
 лей... Черты безнравственности, приведенные в сем отрывке, относятся собст-
 венно к этому жалкому народу.

³ *Бей-Булат* — важное лицо в истории горских революций.

Запечатлелся дела позора
Отважный русский ренегат...¹
И всё утихло: стон проклятий,
Громов победных торжество,—
И село мира божество
На трупах недругов и братьев...
Таков сей край от древних лет,
Свидетель казни Прометея,
Войны Лукулла и Помпея
И Тамерлановых побед.

1833

В АЛЬБОМ Ф. А. КОНИ

Что написать, ей-ей, не знаю —
Девиц и женщин не терплю,
Лишь душу, чувство уважаю,
И ум я искренно люблю...

1833

ОПРАВДАНИЕ МУЖА

Берег сокровище! Но лъзя ли сберечи,
Когда от одного у всех висят ключи?

< 1833 >

ОТВЕТ НА ВОПРОС ПУШКИНА

Прошли все юности затеи,
И либеральные идеи
Под верноподданным кнутом.

< 1833 >

ИМЕНИННИКУ

Что могу тебе, Лозовский,
Подарить для именин?
Я, по милости бесовской,
Очень бедный господин!

¹ *Каплунов* — беглый русский солдат, прославивший себя в горах разбоем и непримиримой ненавистью к соотечественникам.

В стоицизме самом строгом,
Я живу без серебра,
И в шатре моем убогом
Нет богатства и добра,
Кроме сабли и пера.
Жалко споря с гневной службой,
Я ни гений, ни солдат.
И одной твоею дружбой
В доле пагубной богат!
Дружба — неба дар священный,
Рай земного бытия!
Чем же, друг неоцененный,
Заплачу за дружбу я?
Дружбой чистой, неизменной,
Дружбой сердца на обмен:
Плен торжественный за плен!..
Посмотри: невольник страждет
В неприятельских цепях
И напрасно воли жаждет,
Как источника в степях.
Так и я, могучей силой
Предназначенный тебе,
Не могу уже, мой милый,
Перекорствовать судьбе...
Не могу сказать я вольно:
«Ты чужой мне, я не твой!»
Было время — и довольно...
Голос пылкий и живой
Излетел, как бури вой,
Из груди моей суровой...
Ты услышал дивный звук,
Громкий отзыв жизни новой —
И уста, и пламень рук,
Будто с детской колыбели,
Навсегда запечатлели
В нас святое имя «друг!».
В чем же, в чем теперь желанье
Имениннику души?
Это верное признание
Глубже в сердце запиши!..

30 августа 1833

На Лубянке; дом Лухманова

ГАЛЬВАНИЗМ,
ИЛИ ПОСЛАНИЕ К ЗЕВЕСУ

Le monde est plein de
trompeurs et de trompés.

N. M.¹

Итак, узнал я наконец
Тебя, Зевес самодержавный!²
Узнал, что мир — большой глупец,
А ты — проказник презабавный!

Два металлических кружка
Да два телятины куса
С цепочкой медной за ушами —

Вот тайна молний и громов,
Которыми, как чудесами,
Ты нас стращал из облаков.

Гальвани с мертвою лягушкой
В лаборатории своей
Нам доказал, что ты людей
Всегда считал одной игрушкой!

Сын праха, слабый и глухой,
Под руководством гальванизма
Едва ль, Зевес почтенный мой,
Я не сойду до атеизма!
К чему мне ты? Я сам Зевес!

¹ Мир полон обманщиков и обманутых. Н. М. (фр.). — *Ред.*

² *Замечание:*

Итак, узнал я наконец
Тебя, Зевес самодержавный!
и проч.

Это шуточное стихотворение написал я экспромтом в то время, когда один известный и опытный медик после долгого, неутомимого старанья вернуть мне слух, потерянный от сильной простуды, решился испытать надо мною силу гальванизма и я в первый раз почувствовал благотворное действие этого электричества.

Более полутора года я страдал почти совершенною глухотою и терял уже надежду на излечение, но гальванизм, искусно и осторожно приновленный к моей болезни, возвратил мне слух в два месяца.

Никогда не забуду благородного медика, который посвятил свои глубокие познания пользе человечества, и уверен, что голос мой повторяется тысячами голосов людей, обязанных ему нередко самою жизнью.

Перуны, молнии и громы
Мне без обмана и чудес
Теперь торжественно знакомы!
Огонь и блеск в моих очах,
И гром и треск в моих ушах!

Я весь — разгульный шум Содома
И мусульманский вертоград,
С тех пор как дивный препарат
Из мяса, шелку и металла
Уснувших сил моих начала

Электризует и живит
И всё вокруг меня нестройно,
Разнообразно, беспокойно,
Но гармонически звенит!

Итак, Зевес, мое почтение!
Тебе я больше не слуга!
Я сам велик — еще мгновенье...
И — вознесусь на облака!

Тогда, как вздорного соседа,
Тебя порядочно уйму,
А молодого Ганимеда,
Орла и Гебу отниму.

После 1833

*

Судьба меня в младенчестве убила!
Не знал я жизни тридцать лет,
Но ваша кисть мне вдруг проговорила:
«Восстань из тьмы, живи, поэт!»
И расцвела холодная могила,
И я опять увидел свет...

Июль 1834

АТЕИСТУ

Не оглушайте вы меня
Ни вашим карканьем, ни свистом
Против начала бытия!

Смотря внимательно на вас,
Я не могу быть атеистом:
Вы без души, ума и глаз!

1834

БОЖИЙ СУД

Есть духи зла — неистовые чада
Благословенного отца;
Удел их — грусть, отчаянье — отрада,
А жизнь — мученье без конца!

В великий час рождения вселенной,
Когда извлек всевышний перст
Из тьмы веков эфир одушевленный
Для хора солнцев, лун и звезд;

Когда творец торжественное слово
В премудрой благодати изрек:
«Да будет прах величия основой!» —
И встал из праха человек...

Тогда ему, светлы, необозримы,
Хвалу воспели небеса,
И юный мир, как сын его любимый,
Был весь — волшебная краса...

И ярче звезд и солнца золотого,
Как иорданские струи,
Вокруг его, властителя святого
Вились архангелов рои!

И пышный сонм небесных легионов
Был ясен, свят перед творцом
И на скрижаль божественных законов
Взирал с трепещущим челом.

Но чистый огонь невинности покорной
В сынах бессмертия потух —
И грозно пал с гордынею упорной
Высокий ум, высокий дух.

Свершился суд!.. Могущая десница
Подъяла молнию и гром —
И пожрала подземная темница
Богоотверженный Содом!

И плач, и стон, и вопль ожесточенья
Убили прелесть бытия,
И отказал в надежде примиренья
Ему Правдивый Судия.

С тех пор враги прекрасного созданья
Таятся горестно во мгле,
И мучит их, и жжет без состраданья
Печать проклятья на челе.

Напрасно ждут преступные свободы:
Они противны небесам,
Не долетит в объятия природы
Их недостойный фимиам!

*8 июля 1834
Село Ильинское*

К Е..... И..... Б.....Й

Таланты ваши оценить
Никто не в силах, без сомненья!
Возможно ли о том судить,
Что выше всякого сужденья?
Того ни с чем нельзя сравнить,
Что выше всякого сравненья!

Вы рождены пленять сердца
Душой, умом и красотой,
И чувств высоких полнотою
Примерной матери и редкого отца.

О, тот постигнул верх блаженства,
Кто вышней цели идеал,
Кто все земные совершенства
В одном созданье увидал.

Кому же? Мне, рабу несчастья,
Приснился дивный этот сон —
И с тайной силой самовластья
Упал, налег на душу он!
Я вижу!.. Нет, не сновиденье
Меня ласкает в тишине!
То не волшебное явленье
Страдальцу в дальней стороне!
Не гармоническая лира
Звучит и стонет надо мной
И из вещественного мира
Зовет, зовет меня с собой
К моей отчизне неземной!..
Нет! Это вы! Не очарован
Я бредом пылкой головы...
Цепями грусти не окован
Мой дух свободный... Это вы!

Кто, кроме вас, творящими перстами,
Единым очерком холодного свинца —
Дает огонь и жизнь с минувшими страстями
Чертам бездушным мертвеца?

Чья кисть назло природе горделивой
Враждует с ней на лоске полотна
И воскрешает прихотливо,
Как мощный дух, века и времена?

Так это вы!.. Я перед вами...
Вы мой рисуете портрет —
И я мирюсь с жестокими врагами,
Мирюсь с собой! Я вижу новый свет!

Простите смелости безумной
Певца, гонимого судьбой,
Который после бури шумной
В эмали неба голубой

Следит звезду надежды благосклонной
И, счастливый, в тени приветливой садов
Пьет жадно воздух благовонный
Ароматических цветов!

*

Зачем хотите вы лишить
Меня единственной отрады —
Душой и сердцем вашим быть
Без незаслуженной награды?

Вы наградили всем меня —
Улыбкой, лаской и приветом,
И если я ничто пред целым светом,
То с этих пор — я дорог для себя.

Я не забуду вас в глуши далекой,
Я не забуду вас в мятежной суете;
Где б ни был я, везде с тоской глубокой
Я буду помнить вас — везде!..

Июль 1834

ЧЕРНЫЕ ГЛАЗА

О, грустно мне!.. Вся жизнь моя — гроза!
Наскучил я обителью земною!
Зачем же вы горите предо мною,
Как райские лучи пред сатаною,
Вы — черные волшебные глаза?

Увы! Давно печален, равнодушен,
Я привыкал к лихой моей судьбе,
Неистовый, безжалостный к себе,
Презрел ее в отчаянной борьбе
И гордо был несчастию послушен!..

Старинный раб мучительных страстей,
Я испытал их бремя роковое;
И буйный дух, и сердце огневое —
Я всё убил в обманчивом покое,
Как лютый враг покоя и людей!

В моей тоске, в неволе безотрадной,
Я не страдал, как робкая жена:
Меня несла противная волна,
Несла на смерть — и гибель не страшна.
Казалась мне в пучине беспощадной.

И мрак небес, и гром, и черный вал
Любил встречать я с думою суровой,
И свисту бурь под молнией багровой
Внимать, как муж, отважный и готовый
Испить до дна губительный фиал.

И, погружаясь в преступные сомненья
О цели бытия, судьбу кляня,
Я трепетал, чтоб истина меня,
Как яркий луч внезапно осень,
Не извлекла из тьмы ожесточенья.

Мне страшен был великий переход
От дерзких дум до света провиденья;
Я избегал невинного творенья,
Которое б могло, из сожаленья,
Моей душе дать выпренный полет.

И вдруг оно, как ангел благодатный...
О нет! Как дух, карающий и злой,
Светлее дня явилось предо мной
С улыбкой роз, пылающих весной
На мураве долины ароматной.

Явилось... Всё исчезло для меня:
Я позабыл в мучительной невзгоде
Мою любовь и ненависть к природе,
Безумный пыл к утраченной свободе
И всё, чем жил, дышал доселе я...

В ее очах, алмазных и приветных,
Увидел я с невольным торжеством
Земной эдем!.. Как будто существом
Других миров, как будто божеством
Исполнен был в мечтаниях заветных.

И дева-рай и дева-красота
Лила мне в грудь невыразимым взором
Невинную любовь с таинственным укором,
И пела в ней душа небесным хором:
«Люби меня... и в очи, и в уста

Лобзай меня, певец осиротелый,
Как мотылек лилею поутру!

Люби меня как милую сестру,
И снова я и к небу, и к добру
Направлю твой рассудок омертвелый!»

И этот звук разгаданных речей,
И эта песнь души ее прекрасной
В восторге чувств и неги сладострастной
Гремели в ней, волшебнице опасной,
Сверкали в зеркале ее очей!..

Напрасно я мой гений горделивый,
Мой злобный рок на помощь призывал:
Со мною он как друг изнемогал,
Как слабый враг пред мощным трепетал,—
И я в цепях пред девою стыдливой!

В цепях!.. Творец!.. Бессильное дитя
Играет мной по воле безотчетной,
Казнит меня с улыбкой беззаботной,
И я как раб влачусь за ним охотно,
Всю жизнь мою страданью посвятя!..

Но кто она, прелестное создание?
Кому любви, беспечной и живой,
Приносит дар, быть может, роковой?
Увы! Где тот, кто девы молодой
Вопьет в себя невинное дыханье?..

Гроза и гром!.. Ужель мои уста
Произнесут убийственное слово?
Ужели всё в подсолнечной готово
Лишить меня прекрасного земного?..
Так! Я лишен, лишен — и навсегда!..

Кто видел терн, колючий и бесплодный,
И рядом с ним роскошный виноград?
Когда ж и где равно их оценят
И на одной гряде соединят?..
Цветет ли мирт в Лапландии холодной?..

Вот жребий мой! Благие небеса!
Быть может, я достоин наказания,
Но я с душой — могу ли без роптанья
Сносить мои жестокие страдания?
Забуду ль вас, — о черные глаза?

Забуду ль те бесценные мгновенья,
Когда с тобой, как друг, наедине,
Как нежный друг, при солнце и луне
Я заводил беседы в тишине
И изнывал в тоске, без утешенья!

Когда между развалин и гробов
Блуждали мы с унылыми мечтами,
И вечный сон над мирными крестами,
И смерть, и жизнь летали перед нами,
И я искал покоя мертвецов,—

Тогда одной рассеянною думой
Питали мы знакомые сердца...
О, как близка могила от венца!
И что любовь — не прах ли мертвеца?..
И я склонял к могилам взор угрюмый.

И ты, бледна, с потупленной главой,
Следила ход мой, быстрый и неровный;
Ты шла за мной, под тению дубровной
Была со мной... И наш мир духовный
Не променял на счастливый земной!..

И сколько раз над нежной Элоизой
Я находил прекрасную в слезах,
Иль, затая дыханье на устах,
Во тьме ночной стерег ее в волнах,
Где иногда под сумрачною ризой,

Бела как снег, волшебные красы
Она струям зеркальным предавала,
А между тем стыдливо обнажала
И грудь, и стан, и ветром развевало
И флер ее, и черные власы...

Смертельный яд любви неотразимой
Меня терзал и медленно губил;
Мне снова мир, как прежде, опостыл...
Быть может... Нет! Мой час уже пробил,
Ужасный час, ничем не отвратимый!

Зачем гневить безумно небеса?
Ее уж нет!.. Она цветет и ныне...

Но где? Для чьей цветет она гордыни?
Чей фимиам курится для богини?..
Скажите мне, о черные глаза!

1834

НЕГОДОВАНИЕ

Где ты, время невозвратное
Незабвенной старины?
Где ты, солнце благодатное
Золотой моей весны?
Как видение прекрасное
В блеске радужных лучей
Ты мелькнуло, самовластное,
И сокрылось от очей!
Ты не светишь мне по-прежнему,
Не горишь в моей груди,—
Предан року неизбежному
Я на жизненном пути,
Тучи мрачные, громовые
Над главой моей висят,
Предвещения суровые
Дух унылый тяготят.
Как я много драгоценного
В этой жизни погубил!
Как я идола презренного —
Жалкий мир — боготворил!
С силой, дивной и кичливою,
Добровольного бойца
И с любовью ревнивою
Исступленного жреца
Я служил ему торжественно,
Без раскаянья страдал
И рассудка луч божественный
На безумство променял!
Как преступник, лишь окованный
Правосудною рукой,—
Грозен ум, разочарованный
Светом истины нагой!
Что же?.. Страсти ненасытные
Я таил среди огня,
И друзья — злодеи скрытые —
Злобно предали меня!

Под эгидою ласкательства,
Под личиною любви
Роковой кинжал предательства
Потонул в моей крови!
Грустно видеть бездну черную
После неба и цветов,
Но грустнее жизнь позорную
Убивать среди рабов
И, попранному обидою,
Видеть вечно за собой
С неотступной Немезидою
Безответственный разбой!
Где ж вы, громы-истребители,
Что ж вы кроетесь во мгле,
Между тем как притеснители
Властелины на земле!
Люди, люди развращенные —
То рабы, то палачи, —
Бросьте злобой изощренные
Ваши копья и мечи!
Не тревожьте сталь холодную —
Лютой ярости кумир!
Вашу внутренность голодную
Не насытит целый мир!
Ваши зубы кровожадные
Блещут лезвием косы —
Так грызитесь, плотоядные,
До последнего, как псы!..

1834

НА БОЛЕЗНЬ ЮНОЙ ДЕВЫ

Ты ли, ангел ненаглядный,
Ты ли, дева — алый цвет, —
Изнываешь безотрадно
В полном блеске юных лет?
На тебя ль недуг туманный
В пышном празднике весны
Налетел, как враг неожиданный
Из далекой стороны?
Скучен, грустен взор печальный
Голубых твоих очей —
Он, как факел погребальный,
Блещет в сумраке ночей.

Развился пушистый волос
На увядших раменах,
Нет улыбки, томный голос
Слабо ропщет на устах.
И для чувства наслажденья,
И для неги и любви
Ты мертва, огонь мученья
Пробежал в твоей крови!..
И когда ж бальзам природы —
Утешитель бытия —
Воскресит и для свободы
И для счастья тебя?

Верь мне, дева, с ранним утром,
В те часы, когда росой,
Будто светлым перламутром,
Будто яркою слезой,
Окристаллятся поляны
И весенние цветы
И денницы луч багряный
Блещет мирно с высоты,
И тогда, как ночью сонной
Осенен безмолвный мир
И прохладно, благовонно
Веет сладостный зефир, —
Я дремотою отрадной
Не сомкну моих очей
И встречаю с грустью хладной
Свет зари и тьму ночей!..
Что мне солнце, что мне звезды!
Что мне ясная лазурь!
Я в груди, как в лоне бездны,
Затаил весь ужас бурь...
Дева-солнце, дева-радость!
Ты явилась мне в тиши —
И влетела жизни сладость
В глубину моей души!
Я знакомые страданья
На мгновенье позабыл —
И любви и упования
Чашу полную испил.
Я мечтал... Но дух упорный,
Мой гонитель на земле,

Луч надежды благотворной
Потопил в глубокой мгле.
Где ты, что ты, образ милый?
Я ищу тебя, но ты —
Только призрак лишь унылый
Изнуренной красоты!..

1834

БАЮ-БАЮШКИ-БАЮ

В темной горнице постель,
Над постелью колыбель;
В колыбели с полуночи
Бьется, плачет что есть мочи
Беспокойное дитя...
Вот, лампаду засветя,
Чернобровка молодая
Суется, припадая
Белой грудью к крикуну,
И лелеет, и ко сну
Избалованного клонит,
И поет, и тихо стонет
На чувствительный распев
Девяностолетних дев.

УСПИТЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ

Да усни же ты, усни,
Мой хороший молодец!
Угомон тебя возьми,
О постылый сорванец!
Баю-баюшки-баю!

Уж и есть ли где такой
Сизокрылый голубок,
Ненаглядный, дорогой,
Как мой миленький сынок?
Баю-баюшки-баю!

Во зеленом во саду
Красно вишенье растет,
По широкому пруду
Белый селезень плывет.
Баю-баюшки-баю!

Словно вишенъе румян,
Словно селезень он бел,—
Да усни же ты, буян!
Не кричи же ты, пострел!
Баю-баюшки-баю!

Я на золоте кормить
Буду сына моего;
Я достану, так и быть,
Царь-девицу для него!
Баю-баюшки-баю!

Будет важный человек,
Будет сын мой генерал...
Ну, заснул... хотя б навек!
Побери его провал!
Баю-баюшки-баю!

Свет потух над генералом;
Чернобровка покрывалом
Обвернула колыбель —
И ложится на постель...
В темной горнице молчанье,
Только тихое лобзанье
И неясные слова
Были слышны раза два.
После, тенью боязливой
Кто-то, чудилось мне,
Осторожно и счастливо,
При мерцающей луне
Пробирался по стене.

1834

АВТОР И ЧИТАТЕЛЬ

АВТОР

Позвольте вам поднести
Тетрадь моих стихов...

ЧИТАТЕЛЬ

Извольте.

АВТОР

Прикажете прочесть
С полдюжины листов?

ЧИТАТЕЛЬ

Увольте!

АВТОР

Статейки хороши —
Вот эти, например...

ЧИТАТЕЛЬ

Прекрасны.

АВТОР

А сколько в них души!
А рифмы, а размер!

ЧИТАТЕЛЬ

Ужасны!

АВТОР

Хочу, чтобы меня
Князь Шаликов хвалил.

ЧИТАТЕЛЬ

Отрадно.

АВТОР

Почтеннейшему я
Две книги подарил.

ЧИТАТЕЛЬ

Ну, ладно.

АВТОР

Я вижу, от стихов
Вы любите зевать?

ЧИТАТЕЛЬ

Безмерно.

АВТОР

Плодом моих трудов
Нельзя пренебрегать.

ЧИТАТЕЛЬ

О, верно...

АВТОР

Желаю вас спросить:
Вы шутите иль нет?

ЧИТАТЕЛЬ

Немного.

АВТОР

Прошу не позабыть,
Что колкий я поэт!

ЧИТАТЕЛЬ

Как строго!

АВТОР

Сатиру в целый том
И сотню эпиграмм...

ЧИТАТЕЛЬ

О боже!

АВТОР

Во гневе роковом
Готовлю я врагам...

ЧИТАТЕЛЬ

И что же?

АВТОР

Узнаете же вы,
Что значу я между...

ЧИТАТЕЛЬ

Глупцами?

АВТОР

Восплещет пол-Москвы
Правдивому суду...

ЧИТАТЕЛЬ

Над вами!

1834

ГРУСТЬ

На пиру у жизни шумной,
В царстве юной красоты,
Рвал я с жадностью безумной
Благовонные цветы.
Много чувства, много жизни
Я роскошно потерял
И душевной укоризны,
Может быть, не избежал.
Отчего ж не с сожаленьем,

Отчего — скажите мне —
Но с невольным восхищеньем
Вспомнил я о старине?
Отчего же локон черный,
Этот локон смоляной
День и ночь, как дух упорный,
Всё мелькает предо мной?
Отчего, как в полдень ясный
Голубые небеса,
Мне таинственно прекрасны
Эти черные глаза?
Почему же голос сладкой,
Этот голос неземной
Льется в душу мне украдкой
Гармонической волной?
Что тревожит дух унылый,
Манит к счастью меня?
Ах, не вспыхнет над могилой
Искра прежнего огня!
Отлетели заблуждений
Невозвратные рои —
И я мертв для наслаждений,
И угас я для любви!
Сердце ищет, сердце просит
После бури уголка,
Но мольбы его разносит
Безотрадная тоска!

1834

РАЗОЧАРОВАНИЕ

Была пора — за милый взгляд,
Очаровательно притворный,
Платить я жизнью был рад
Красе обманчиво упорной!
Была пора — и ночь, и день
Я бредил хитрою улыбкой,
И трудно было мне, и лень
Расстаться с жалкою ошибкой.
Теперь пора веселых снов
Прошла, рассорилась с поэтом,—
И я за пару нежных слов

Себя безумно не готов
Отправить в вечность пистолетом.
Теперь хранит меня судьба:
Пленяюсь женщиной, как прежде,
Но разуверился в надежде
Увидеть розу без шипа.

1834

САРАФАНЧИК

Мне наскучило, девице,
Одинешенькой в светлице
Шить узоры серебром!
И без матушки родимой
Сарафанчик мой любимый
Я надела вечерком —
Сарафанчик,
Расстеганчик!

В разноцветном хороводе
Я играла на свободе
И смеялась как дитя!
И в светлицу до рассвета
Воротилась: только где-то
Разорвала я шутя
Сарафанчик,
Расстеганчик!

Долго мать меня журила —
И до свадьбы запретила
Выходить за ворота;
Но за сладкие мгновенья
Я тебя без сожаленья
Оставляю навсегда,
Сарафанчик,
Расстеганчик!

1834

КАРТИНА

О толстый муж, и поздно ты, и рано
С чахоточной женой сидишь за фортепьяно,
И царствует тогда и смех, и тишина...
О толстый муж! О тонкая жена!

Приходит мне на мысль известная картина —
Танцующий медведь с наряженной козой...
О, если б кто-нибудь увидел господина,
Которого теперь я вижу пред собой,
То верно бы сказал: «Премудрая природа,
Ты часто велика, но часто и смешна!
Простите мне, но вы — два страшные уroda,
О толстый муж, о тонкая жена!»

1834

ГЛУПОЙ КРАСАВИЦЕ

Как бюст Венеры, ты прекрасна,
Но без души и без огня,
Как хладный мрамор, для меня
Ты, к сожаленью, не опасна.

Ты рождена, чтобы служить
В лукавой свите Купидона,
Но прежде должно оживить
Тебя резцом Пигмалиона.

1834

НАПРАСНОЕ ПОДОЗРЕНИЕ

«Нет! Это, друг, не сновиденье:
Я вижу, у тебя есть женский туалет!
Женат ты?» — «Нет...»
— «Не может быть!» — «Какое подозренье!
Ты знаешь сам: я женщин не терплю.»
— «Откуда ж у тебя явились папилютки?»
— «О милый мой! Поверь, не от красоты:
Нередко завивать собачку я люблю.»

1834

НА ПАМЯТЬ О СЕБЕ

Враждуя с ветреной судьбой,
Всегда я ветреностью болен
И своенравно недоволен
Никем, а более — собой.
Никем — за то, что черным ядом
Сердца людей напоены;
Собой — за то, что вечным адом
Душа и грудь моя полны.

Но есть приятные мгновенья!..
Я испытал их между вас,
И, верьте, с чувством сожаленья
Я вспомяну о них не раз.

1835

СЕЛО ПЕЧКИ

(ПРИНАДЛЕЖАЩЕЕ ТРИНАДЦАТИ ПОМЕЩИКАМ)

Полны божественной отвагой,
Седрах, Мисах и Авденаго
Когда-то весело в печи
Хвалили бога с херувимом
И вышли в здравье невредимом,
И ужаснулись палачи!..
Теперь — совсем другое дело,
Теперь боятся лишь плетей,
И заверяю очень смело,
Что это лучше для людей.
Умнее сделались народы:
Всем есть свиней позволено,
И печь халдейская из моды
В Европе вывелась давно.
Все стали смирны как овечки,
Живут, плодятся и растут
И смертью собственною мрут...
Но есть село — его зовут
Не печь халдейская, а Печки.
И в том селе, как ветчина,
Коптятся маленькие хлопцы,
Двенадцать их, а старшина
У них тринадцатый: Потоцци.

1835

К М...Е А....Е Я.....Й

К чему вам служит ум, когда вы так прекрасны?
Зачем вам красота, когда вы так умны?
И ум и красота природой вам даны...
Скажите ж, для чьего вы сердца не опасны?

< 1835 >

ОТЧАЯНИЕ

Он ничего не потерял,
кроме надежды.

А. П <ушкин>

О, дайте мне кинжал и яд,
Мои друзья, мои злодеи!
Я понял, понял жизни ад,
Мне сердце высосали змеи!..
Смотрю на жизнь как на позор —
Пора расстаться с своенравной
И произнести ей приговор
Последний, страшный и бесславный!
Что в ней? Зачем я на земле
Влачу убийственное бремя?..
Скорей во прах!.. В холодной мгле
Покойно спит земное племя:
Ничто печальной тишины
Костей иссохших не тревожит,
И череп мертвой головы
Один лишь червь могильный гложет.
Безумство, страсти и тоска,
Любовь, отчаянье, надежды
И всё, чем славились века,
Чем жили гении, невежды, —
Всё праху, всё заплатит дань
До той поры, когда природа
В слух уничтоженного рода
Речет торжественно: «Восстань!»

< 1836 >

НЕЧТО О ДВУХ БРАТЬЯХ
КНЯЗЬЯХ ЛЬВОВЫХ

1

Кто видел в Жиздринском уезде
Село с прудом,
С мостом
И с церковью при въезде?
В селе том есть старинный дом,
Огромный, желтый и с крыльцом,
И рядом новые палаты;

В палатах тех, мои друзья,
Живут два барина, два брата,
Два отставных полусолдата
И, с божьей помощью, князя;
И есть у них по половине,
Один: женат,
Горбат,
Рогат
Назло лихой судьбине,
Затем, что прост,
Как женин хвост,
По крайней мере, ныне.
Другой: тюфяк,
Вахлак,
Не хочет в брак
Никак
И по особенной причине:
Живет с подругой так...
Они живут
Весьма приятно,
Едят и пьют
Всегда опрятно
И аккуратно
Два раза в день.
Потом ложатся;
Ложась — бранятся,
Бранясь — мирятся
И все — не лень;
Потом проснутя,
Чайку напьются,

2

Потом пора
И со двора:
И вот выходят...
И вот выводят
Им лошадей,
«Держи правей!» —
Кричит лакей,
И вот садятся
Попарно в лад
И покатаются,
Должно быть, в ряд...

Уж где бывают,
И где зевают,
И что болтают —
Не можем знать!
Потом с дороги
В свои чертоги
Приедут спать!
Не будем строго
Их осуждать
За то, что много
Привыкли спать, —
Ведь спать — не грех...
Но, между нами,
Скажу не в смех,
Что под глазами
 И у него
 И у нее
Весьма синё.
Знать, очень туго
И во всю мочь
Они друг друга
Лелеют в ночь...
Другая дева,
Или жена,
Или княжна,
Всегда полна
На б... гневна:

3

Сперва его
Раз пять прибьет,
А без того
И не заснет

.

<1833—1836>

КРАСНОЕ ЯЙЦО

А. П. Лозовскому

1

В те времена, когда вампир
Питался кровию моей,
Когда свобода, мой кумир,
Узнала ужасы цепей;

Когда, поверженный во мгле,
С клеймом проклятья на челе,
В последний раз на страшный бой,
На беспощадную борьбу,
Пылая местью роковой,
Я вызывал мою судьбу;
Когда, сурова и грозна,
Секиру тяжкую она
Уже подъяла надо мной —
И разлетелся бы мой щит,
Как вал девятый и седой,
Ударясь смело о гранит;
Когда в печальной тишине
Я лютой битвы ожидал, —
Тогда, как вестник мира, мне
Ты неожиданно предстал!
Мою бунтующую кровь
С умом мятежным помирил
И в душу мрачную любовь
К постыдной жизни водворил...
Так солнца ясного лицо
Рассеивает ночи тень,
Так узнику в великий день
Даруют красное яйцо!..

2

Всему в природе есть закон —
Луна сменяется луной,
И годы мчит река времен
Невозвратимою волной!..
Лучи обманчивых надежд
Еще горят во тьме ночей
<Очарованьем для очей
Иных доверчивых невежд.>
Моя судьба — то иногда
Мне улыбнется вдалеке,
То, как знакомая мечта,
Опять с секирою в руке
И опершись на эшафот,
Мне безотрадно предстает...
Тоска, отчаянье и грусть
Мрачат лазурный небосклон
Певца, который наизусть
Врагом и другом затвержен...

Безмолвен, мрачен и угрюм,
Я дань бесславию плачу
И в вечном вихре черных дум
Оковы тяжкие влачу!..

.
Лишь ты один меня постиг...
Кому, скажи, как не тебе,
Знаком в убийственной судьбе
Прямой души моей язык?..
Не ты ль один моих страстей
Прочел заветную скрижаль
И разгадал, быть может, в ней
Туманной будущности даль?..
Не ты ли дикий каземат
Преобразил, волшебник мой,
В цветник, приятный и живой,
В весенний скромный вертоград?

3

И пронеслося много лет,
С тех пор когда явился ты,
Как животворный, тихий свет,
Ко мне в обитель темноты...
И где воинственный Кавказ
С его суровой красотой,
Где я с унылою мечтой
Бродил, страдал, но не угас!..
Где дни отрады, новых мук,
Свиданий новых и разлук,
Минуты дружеских бесед,
Порывы бешеных страстей
И всё, и всё?.. Их больше нет,—
Они лишь в памяти моей.
Но сам я здесь, опять с тобой,
С тобою, верный, милый друг,
Как гул протяжный, тихий звук
Иль эхо с арфой золотой!..

*Апрель 1836
Москва*

РУССКАЯ ПЕСНЯ

Разлюби меня, покинь меня,
Доля, долюшка железная!
Опротивела мне жизнь моя,
Молодая, бесполезная!

Не припомню я счастливых дней,
Не знавал я их с младенчества,—
Для измученной души моей
Нет в подсолнечной отечества!

Слышал я, что будто божий свет
Я увидел с тихим ропотом —
А потом житейских бурь и бед
Не избегнул с горьким опытом.

Рано-рано ознакомился
Я на море с непогодюю,
Поздно-поздно приготовился
В бой отчаянный с невзгодюю!

Закатилася звезда моя,
Та ль звезда моя туманная,
Что следила завсегда меня,
Как невеста нежеланная.

Не ласкала, не лелеяла,
Как любовница заветная,
Только холодом обвеяла,
Как изменница всесветная.

<1836>

РУССКАЯ ПЕСНЯ

Долго ль будет вам без умолку идти,
Противные, безотрадные дожди?
Долго ль будет вам увлажживать поля?
Осушится ль скоро мать сыра земля?
Тихий ветер свежий воздух растворит —
И в дуброве соловей заголосит.
И придет ко мне, мила и хороша,
Юный друг мой, красна девица-душа!

Соловей мой, соловей,
 Ты от бури и дождей —
 Ты от пасмурных небес
 Улетел в дремучий лес.
 Ты не свищешь, не поешь —
 Солнца ясного ты ждешь!
 Дева-девица моя,
 Ты от бури и дождя
 И печальна и грустна,
 В терему схоронена!
 К другу милому нейдешь —
 Солнца ясного ты ждешь!
 Перестаньте же без умолку идти,
 Проливные, безотрадные дожди!
 Дайте ведру, дайте солнцу проглянуть.
 Дайте сердцу после горя отдохнуть!
 Пусть, как прежде, и прекрасна и пышна,
 Воцарится благотворная весна,
 Разольется в звонкой песне соловей,
 И я снова, сладострастней и звучней,¹
 Расцелую очи девицы моей.

< 1837 >

ЭНДИМИОН

Dors, cette nuit encore d'un
 sommeil pur et doux.

V. H < ugo > ¹

Ты спал, о юноша, ты спал,
 Когда она, богиня скал,
 Лесов и неги молчаливой,
 Томясь любовью боязливой,
 К тебе, прекрасна и светла,
 С Олимпа мрачного сошла;
 Когда одна, никем не зрима,
 Тиха, безмолвна, недвижима,
 Она стояла пред тобой,
 Как цвет над урной гробовой;
 Когда без тайного укора
 Она внимательного взора
 С тебя, как с чистого стекла,
 Свести, красавец, не могла!

¹ Спи еще эту ночь сном чистым и сладостным. В. Г < ugo > (фр.). — Ред.

И сладость робких ожиданий,
 И пламень девственных желаний
 Дышали жизнью бытия
 В груди божественной ея!
 Ты спал... но страстное лобзание
 Прервало сна очарование:
 Ты очи черные открыл —
 И, юный, смелый, полный сил,
 Под тенью миртового леса
 Пред юной дщерию Зевеса
 Склонил колени и чело!..
 Счастливый юноша! Светло
 Редает ночь, алеет небо!
 Смотри: предшественница Феба
 Открыла розовым перстом
 Врата на своде голубом.
 Смотри!.. Но бледная Диана
 В прозрачном облаке тумана
 Без лучезарного венца
 Уже спешит в чертог отца
 И снова ждет в тоске ревнивой
 Покрова ночи молчаливой!

<1837>

БЕЛАЯ НОЧЬ

Tout va au mieux...

«Candide»¹

1

Чудесный вид, волшебная краса!
 Белы как день земля и небеса!
 Вдали — кругом холодная, немая
 Везде одна равнина снеговая,
 Везде один безбрежный океан,
 Окованный зимою великан!
 Всё ночь и блеск! Ни облака, ни тучи
 Не пронесет по небу вихрь летучий,
 Не потемнит воздушного стекла.
 Природа спит, уныла и светла!..
 Чудесный вид, волшебная краса!
 Белы как день земля и небеса!

¹ Всё к лучшему... «Кандид» (фр.). — *Ред.*

2

Великий град на берегах Неглинной,
Святая Русь под мантией старинной.
Москва, приют разгульной доброты,
Тревогой дня утомлена и ты!
Покой и мир на улицах столицы,—
Еще кой-где мелькают колесницы,
Во весь опор без жалости гоня,
Извозчик бьет кой-где еще коня.
На пустырях и крик, и разговоры,
И между тем бессонные дозоры!
Чудесный вид, волшебная краса!
Белы как день земля и небеса!

3

Зачем же ты, невинное дитя,
Так резво день минувший проведя
Между подруг безгрешно-благонравных,
Теперь одна в мечтаньях своенравных
Проводишь ночь печально у окна?
Но что я? Нет! Ты, вижу, не одна?
Мне зоркий глаз, мне свет твоей лампы
Не изменят!.. Ах, ах! Твои наряды
Упали с плеч!.. Дитя мое, Адель!
Не духа ли влечешь ты на постель?¹
Чудесный вид, волшебная краса!
Белы как день земля и небеса!

4

Увы! Увы! Бессонницей томимый,
Волнуемый тоской непостижимой,
Я потерял рассеянный мой ум!
То вижу блеск, то чудится мне шум,
Невнятные, прерывные стенанья
И страстные, горячие лобзанья!

¹ «Не духа ли влечешь ты на постель?» Почем знать, может быть, в самом деле, это был дух, сильф, влеченный нечаянно или с невинным умыслом в покой милой девушки; впрочем, Вольтер когда-то говаривал своим современникам: «Vos oreilles sont bien chastes et vos mœurs — bien depravées» («Ваши уши очень целомудренны, а ваши нравы крайне развращены» (фр.).— *Ред.*)

Проказница, жестокая Адель!
 Да кто же он? Счастливый этот Лель?
 Кто этот силф?.. Свершилось! Нет отрады,
 Потух огонь изменницы-лампады!
 Чудесный вид! Волшебная краса!
 Белы как день земля и небеса!

<1837>

КАРТИНА

Chaque étoile à son tour
 vient apparaître au ciel.¹

H.

Как ты божественно прекрасна,
 О дева, рай моих очей!
 Как ты без пламенных речей
 Красноречиво сладострастна!
 Для наслажденья и любви
 Ты создана очарованьем.
 Сама любовь своим дыханьем
 Зажгла огонь в твоей крови!
 Свежее розы благовонной
 Уста румяные твои,
 Лилейный пух твоей груди
 Трепещет негой благосклонной!
 И этой ножки белизна,
 И эта темная волна
 По лоску бархатного тела,
 И этот стан зыбучий, смелый,
 Соблазн и взора и руки,—
 Манят, и мучат, и терзают,
 И безотрадно растрavляют
 Смертельный яд моей тоски!
 Друзья мои! (Я своевольно
 Хочу иметь везде друзей!
 Хоть друг, предатель и злодей —
 Одно и то же! Очень больно!
 Но так и быть!) Друзья мои!
 Я вижу часто эту пери —
 Она моя! Замки и двери
 Меня не разлучают с ней!

¹ Каждая звезда в свой черед показывается на небе (фр.).— *Ред.*

И днем и позднюю порою,
В кругу заветном и один,
Любуюсь я, как властелин,
Ее волшебною красою!
Могу лобзать ее всегда
В чело, и в очи, и в уста,
И тайны грации стыдливой
Ласкать рукою прихотливой!..
«Счастливец!» — скажете вы мне...
Напрасно... Всё мое блаженство,
Всё милой девы совершенство
И вся она — на полотне!

<1837>

К НАБЕЛЕННОЙ КРАСАВИЦЕ

Я говорил вам и не раз,
Скажу опять, вы милы!
Особенно, когда у вас
Не в милости белилы!

К чему невинная рука,
Рабыня вялой моды,
Таит и крадет два цветка
Любимые природы?

Давно ли яркой белизне,
Не радующей взоры,
Придать позволено весне
Генварские узоры?

Ужели ландыш снеговой
И роза Гулистана
Цветут по воле роковой
Искусства и обмана?

О нет! Отрада соловья,
Красавица Востока,
Не переменит бытия
Из прихоти жестокой
Влюбленной в ландыш и в себя
Шалуньи черноокой!

Глаза ведь — зеркало души
(Преданья вековые!) —
У вас прекрасны, хороши,
Как стрелы огневые.
Но цвет лица — другое он
Достоинство имеет:
Все тайны сердца без препон
Он высказать умеет!
Тоска любви, надежда, страх,
Невинное желанье —
Всё видно в нем, как в небесах
Блестящее сиянье!
Зачем же милые цветки —
Румяные ланиты —
У вас завесою тоски
Без жалости прикрыты?
О! Разлюбите этот цвет,
Он страсти не обманет, —
Иль поцелуем вас поэт
Невольно разрумянит.

<1837>

КОГДА-ТО

Helas!¹

Когда-то много кой-чего
Она с улыбкой мне сулила,
И после — что же? Ничего!..
Как всем, с улыбкой изменила!

Когда-то с ней наедине,
Мечтой волшебной упоенный,
Я предавался, весь в огне,
Порывам страсти исступленной!

Когда-то дерзкая рука
Играла черными кудрями
И осеняли смельчака
Те кудри пышными роями.

¹ Увы! (фр.). — *Ред.*

Когда-то влажные уста
Мне дали сладкое лобзание,
И я бы мог... Но вот беда:
Я глуп был. Грустное сознание!

< 1837 >

ТЮРЬМА

«Воды, воды!..» Но я напрасно
Страдальцу воду подавал.

А. П < ушкин >

За решеткою, в четырех стенах,
Думу мрачную и любимую
Вспомнил молодец, и в таких словах
Выражал он грусть нестерпимую:

«Ох ты, жизнь моя молодецкая!
От меня ли, жизнь, убегает ты,
Как бежит волна москворецкая
От широких стен каменной Москвы!

Для кого же, недоброхотная,
Против воли я часто ратовал?
Иль, красавица беззаботная,
День обманчивый тебя радовал?

Кто видал, когда на лихом коне
Пронесился я степью знойною?
Как сдружился я при седой луне
С смертью раннею, беспокойною?

Как таинственно заговаривал
Пулю верную и метелицу,
И приласкивал и умаливал
Ненаглядную красну девицу?

Штофы, бархаты, ткани цветные
Саблей острою ей отмеривал
И заморские вина светлые
В чашах недругов после пенивал?

Знали все меня — знал и стар, и млад,
И широкий дол, и дремучий лес...
А теперь на мне кандалы гремят,
Вместо песен я слышу звук желез...

Воля-волюшка драгоценная!
Появись ты мне, несчастливому,
Благотворная, обновленная —
Не отдай судье справедливому!..»

Так он, молодец, в четырех стенах
Страже передал мысль любимую;
Излилась она, замерла в устах —
И кто понял грусть нестерпимую?

<1837>

ТОСКА

Бывают минуты душевной тоски,
Минуты ужасных мучений,
Тогда мы злодеи, тогда мы враги
Себе и миллионам творений.

Тогда в бесконечной цепи бытия
Не видим мы цели высокой —
Повсюду встречаем несчастное «я»,
Как жертву над бездной глубокой;

Тогда, безотрадно блуждая во тьме,
Храним мы одно впечатление,
Одно ненавистное — холод к земле
И горькое к жизни презренье.

Блестящее солнце в огнистых лучах
И неба роскошного своды
Теряют в то время сиянье в очах
Несчастливого сына природы;

Тоска роковая, убийца-тоска
Над ним тяготеет, как мрамор могилы,
И губит холодная смерти рука
Души изнуренные силы.

Но зачем же вы убиты,
Силы мощные души!
Или были вы сокрыты
Для бездействия в тиши?

Или не было вам воли
В этой пламенной груди,
Как в широком чистом поле,
Пышным цветом расцвести?

.
.

<1837>

УДИВИТЕЛЬНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ ОДНОГО СТИХОТВОРЦА

«Enfant, pourquoi pleurez-vous?»
— «J'ai brisé mon miroir».
V.¹

Два дня, две ночи он писал —
На третью наконец устал;
Уснул — и что ж? О удивленье,
Окончил сонный сочиненье!
Вдруг видит он
Престрашный сон,
Что будто демонская сила
Со всех сторон
Его в постели окружила!
И будто сам верховный бес,
Мохнатый,
Как уголь черный и рогатый,
Под занавес
К нему залез.
Вот он встает, творит молитву —
И вызвал демона на битву!
Не знаю, долго или нет
Продлилось грозное явление,
Но только выиграл поэт
Великое сражение!

¹ «Дитя, почему вы плачете?» — «Я разбила зеркало». В. (фр.). — *Ред.*

Всю крепость мышц своих собрал —
 И черта бедного на части разорвал!
 Но с кем он именно сражался?
 Ужель никто не угадал?
 Ему нечистым показался
 Его стихов оригинал!
 Что, если бы в жару подобных сновидений
 Кончались точно так
 И многие из русских сочинений?
 Но нет! Умен лукавый враг —
 И в этой жизни он никак
 Не хочет нас оставить без мучений!

< 1837 >

ГЛАЗА

Je crois parce que je crois!

V.¹

Нелепин верит — и всему,
 И без понятия, и слепо!
 Недум, не веря ничему,
 Опровергает всё нелепо!
 Скажите первому шутя,
 Что муха нос ему откусит...
 При этой новости он струсит —
 И вам поверит, как дитя.
 Потом спросите вы Недума:
 Счастлив ли он своей женой?
 И не скрывает ли без шума
 Ее фантазий, как другой?
 Он вам ответит: «О, напрасно!
 Я ею счастлив и богат!»
 А между тем давно уж гласно,
 Что он невыгодно женат!
 Противоречия во мненьях —
 Оригинальный их девиз!
 И то же самое в явлениях
 Большого света и кулис,
 Один живет слепою верой
 В чужие мысли и дела,
 Другой скептической мерой
 Определяет цену зла!

¹ Я верю, потому что верю. В. (фр.). — Ред.

И тот и этот без ошибки
Судить готовы обо всем;
И кроме жалостной улыбки
Над их мечтательным умом —
Они всё видят — и покойны!
Так путник в жаркий летний день
Встречает ключ в пустыне знойной
И пальмы сладостную тень!
И кто узнал, где наш Иуда?
Куда обрушится, откуда
Неизбежимая гроза?
А? Для того иметь нехудо
Свои хоть слабые глаза.

<1837>

ОН И ОНА

Il lui dit une sottise — elle
lui répond par une autre.
N. M.¹

ОН

В последний раз, прекрасная, скажи:
Любим ли я хоть несколько тобою?

ОНА

О милый друг, мне суждено судьбою
Быть от тебя без сердца и души!

ОН

Творец, я жив! Но, ангел лучезарный,
Зачем же ты не хочешь доказать?..

ОНА

Моей любви?.. Злодей неблагодарный!
Давно бы мог об этом мне сказать!

ОН

Иди за мной! В тени густой дубровы
Узнаешь ты миг счастья золотой!

ОНА

Иду, и знай: Лукреции суровой
Ты не найдешь, Тарквиний молодой!

<1837>

¹ Он говорит ей глупость — она ему отвечает другой. Н. М. (фр.). — *Ред.*

ОЖИДАНИЕ

Напрасно маменька при мне
Всегда бывает безотлучно.
Мне на пятнадцатой весне
При ней, ей-богу, что-то скучно!

Нельзя природу обмануть, —
Я это очень замечаю!
И уж давно кого-нибудь
Как будто жду — и не встречаю!

Но он, желаемый, придет,
Рассеет думу роковую —
И роза бледная вопьет
В себя росинку дождевую.

< 1837 >

ИЗ VIII ГЛАВЫ ИОАННА

И говорят ему: «Она
Была в грехе уличена
На самом месте преступленья,
А по закону мы ее
Должны казнить без сожаленья;
Скажи нам мнение свое!»

И на лукавое воззвание,
Храня глубокое молчанье,
Он нечто — грустен и уныл —
Перстом божественным чертил!
И наконец сказал народу:
«Даю вам полную свободу
Исполнить древний ваш закон,
Но где тот праведник, где он,
Который первый на блудницу
Поднимет тяжкую десницу?»

И вновь писал он на земле!..
Тогда с печатью поношенья
На обесславленном челе
Сокрылись чада ухищренья —
И пред лицом его одна
Стояла грешная жена!

И он с улыбкой благотворной
Сказал: «Покинь твою боязнь!
Где обвинитель твой упорный,
Кто осудил тебя на казнь?»

Она в ответ: «Никто, учитель!»
— «Итак, и я твоей души
Не осужу, — сказал спаситель, —
Иди в свой дом и не греши».

< 1837 >

ВЕНОК НА ГРОБ ПУШКИНА

Oh, qu'il est saint et pur le transport du poète,
Quand il voit en espoir, bravant la mort muette,
Du voyage des temps sa gloire revenir!
Sur les âges futurs, de sa hauteur sublime,
Il se penche, écoutant son lointain souvenir;
Et son nom, comme un poids jeté dans un abîme,
Éveille mille échos au fond de l'avenir!

V. Hugo¹

1

Эпоха! Год неблагодарный!..
Россия, плачь!.. Лишилась ты
Одной прекрасной, лучезарной,
Одной брильянтовой звезды.
На торжестве великом жизни
Угас для мира и отчизны
Царь сладких пёсен, гений лир!
С лица земли, шумя крылами,
Сошел, увенчанный цветами,
Народной гордости кумир!

И поэтические вежды
Сомкнула грозная стрела,
Тогда как светлые надежды
Вились вокруг его чела!

¹ О, как свят и чист восторг поэта, когда зрит он с надеждой, презирая немую смерть, как слава его остается в течении времени! Он склоняется со своей превыспренней высоты над грядущими веками, внимая своему отдаленному существованию. Имя его, как некая тяжесть, брошенная в бездну, пробуждает тысячекратное эхо в глубине будущего. В. Гюго (фр.). — *Ред.*

Когда рука его сулила
Нам тьму надежд, тогда сразила
Его судьба, седой палач!
Однажды утро голубое
Узрело дело роковое...

О, плачь... Россия, долго плачь!

Давно ль тебя из недр пустыни полудикой
Возвел для бытия и славы Петр Великий,

Как деву робкую на трон!

Давно ли озарил лучами просвещения
С улыбкою отца, любви и ободренья

Твой полунощный небосклон.

Под знаменем наук, под знаменем свободы

Он новые создал, великие народы,

Их в ризы новые облек;

И ярко засиял над царскими орлами,

Прикрытыми всегда победными громами,

Младой поэзии венок.

Услыша зов Петра, торжественный и громкий,

Возникли: старина, грядущие потомки,

И Кантемир, и Феофан;

И наконец во дни величия и мира

Взгремела и твоя божественная лира,

Наш холмогорский великан!

И что за лира! Жизнь! Ее золотые струны

Вспоминали вдруг и битвы и перуны

Стократ великого царя,

И кроткие твои дела, Елисавета;

И пели все они в услышание света

Под смелой дланью рыбака!

Открылась для ума неведомая сфера,

В младенческих душах зиждительная вера

Во всё прекрасное зажглась,

И счастья заря роскошно и приветно

До скал и до степей Сибири многоцветной

От вод балтийских разлилась!

Посеяли тогда изящные искусства

В груди богатырей возвышенные чувства;

Окреп полмира властелин.

И обрели его в воинственной державе

Бессмертию веков, незакаленной славе

Петров, Державин, Карамзин!

Потом, когда неодолимый
Сын революции Бонапарт
Вознес рукой непобедимой
Трехцветный Франции штандарт,
Когда под сень его эгиды
Склонились робко пирамиды
И Рима купол золотой;
Когда смущенная Европа
В волнах кровавого потопа
Страдала под его пятой;

Когда, отважный, вне законов,
Как повелительное зло,
Он диадимою Бурбонов
Украсил дерзкое чело;
Когда, летая над землею,
Его орлы, как будто мглою,
Мрачили день и небеса;
Когда муж пагубы и рока
Устами грозного пророка
Вещал вселенной чудеса;

Когда воинственные хоры
И гимны звучные певцов
Ему читали приговоры
И одобрения веков;
И в этом гуле осуждений,
Хулы, вражды, благословений
Гремел, гремел, как дикий стон,
Неукротимый и избранный
Под небом Англии туманной
Твой дивный голос, о Байрон!..

Тогда, тогда в садах Лицея,
Природный русский соловей,
Весенней жизнью пламенея,
Расцвел наш юный корифей.
И гармонические звуки
Его младенческие руки
Умели рано извлекать;
Шутя пером, играя с лирой,
Он Оссиановой порфирой
Хотел, казалось, обладать...

Он рос, как пальма молодая
На иорданских берегах,
Главу высокую скрывая
В ему знакомых облаках;
И, друг волшебных сновидений,
Он понял тайну вдохновений,
Глагол всевышнего постиг,
Восстал, как новая стихия,
Могуч, и славен, и велик,—
И изумленная Россия
Узнала гордый свой язык!

3

И стал он петь, и всё вокруг него внимало;
Из радужных цветов вручил он покрывало
Своей поэзии нагой.
Невинна и смела, божественная дева
Отважному ему позволила без гнева
Ласкать, обвить себя рукой
И странствовала с ним, как верная подруга,
По лаковым паркé блистательного круга
Временщиков, князей, вельмож,
Входила в кабинет ученых и артистов
И в залы, где шумят собрания софистов,
Меняя истину на ложь!
Смягчала иногда, как гений лучезарный,
Гонения судьбы, то славной, то коварной,
Была в тоске и на пирах,
И вместе пронеслась, как буйная зараза,
Над грозной высотой мятежного Кавказа
И Бессарабии в степях.
И никогда, нигде его не покидала;
Как милое дитя, задумчиво играла
Или волной его кудрей,
Иль бледное чело, обьятое мечтами,
Любила украшать небрежными перстами
Венком из лавров и лилей.
И были времена: унылый и печальный,
Прощался иногда он с музой гениальной,
Искал покоя, тишины;
Но и тогда, как дух приникнув к изголовью,
Она его душе с небесною любовью
Дарила праведников сны.

Когда же, утомясь минутным упоеньем,
Всегдашним торжеством — высоким наслажденьем,
Всегда юна, всегда светла —
Красавица земли, она смыкала очи,
То было на цветах, а их во мраке ночи
Для ней рука его рвала.
И в эти времена всеведущая Клио
Являлась своему любимцу горделиво,
С скрижалю тайною веков;
И пел великий муж великие победы,
И громко вызывал, о праотцы и деды,
Он ваши тени из гробов!

4

Где же ты, поэт народный,
Величавый, благородный,
Как широкий океан,
И могучий и свободный,
Как суровый ураган!
Отчего же голос звучный,
Голос, с славой неразлучный,
Своенравный и живой,
Уж не царствует над скучной,
Полумертвою душой,
Не владеет нашей думой,
То отрадной, то угрюмой,
По внушенью твоему?
Не всегда ли безотчетно,
Добровольно и охотно
Покорялись мы ему?
О так! О так! Певец Людмилы и Руслана,
Единственный певец волшебного Фонтана,
Земфиры, невских берегов,
Певец любви, тоски, страданий неизбежных, —
Ты мчал нас, уносил по лону вод мятежных
Твоих пленительных стихов,
Как будто усыплял их ропот грациозный,
Как будто наполнял мечтой религиозной
Давно почивших мертвецов.
И долго, превратясь в безмолвное вниманье,
Прислушивались мы, когда их рокотанье
Умолкнет с отзывом громов.

Мы слушали, томясь приятным ожиданьем,
И вдруг, поражена невольным содроганьем,
Россия мрачная в слезах
Высоко над главой поэзии печальной
Возносит не венок... но факел погребальный,
И Пушкин — труп, и Пушкин — прах!..
Он прах!.. Довольно! Прах, и прах непробудимый!
Угас и навсегда, миллионами любимых,
Державы северной Боян!
Он новые приял, нетленные одежды
И к небу воспарил под радугой надежды,
Рассея вечности туман!

5

ГИМН СМЕРТИ

Совершилось! Дивный гений!
Совершилось: славный муж
Незабвенных песнопений
Отлетел в страну видений,
С лона жизни в царство душ!

Пир унылый и последний
Он окончил на земле,
Но, бесчувственный и бледный,
Носит он венок победный
На возвышенном челе.

О, взгляните, как свободно
Это гордое чело!
Как оно в толпе народной
Величаво, благородно,
Будто жизнью расцвело.

Если гибельным размахом
Беспощадная коса
Незнакомому со страхом
Уравнять умела с прахом,—
То узрел он небеса!

Там, под сению святого,
Милосердного творца,
Без печального покрова
Встретят жителя земного,
Знаменитого певца.

И благое провиденье
Слово мира изречет,
И небесное прощенье,
Как земли благословенье,
На главу его сойдет.

Тогда, как дух бесплотный, величавый,
Он будет жить бессумрачною славой;
Увидит яркий, светлый день,
И пробежит неугасимым оком
Мильон миров в покое их глубоком
Его торжественная тень!
И окружит ее над облаками
Теней, давно прославленных веками,
Необозримый легион:
Петрарка, Тасс, Шенье — добыча казни...
И руку ей с улыбкою приязни
Подаст задумчивый Байрон.

И между тем, когда в России изумленной
Оплакали тебя и старец и молодой
И совершили долг последний и священный,
Предав тебя земле холодной и немой,
И, бледная, в слезах, в печали безотрадной,
Поэзия грустит над урною твоей, —
Неведомый поэт, но юный, славы жадный,
О Пушкин, преклонил колено перед ней!
Душистые венки великие поэты
Готовят для нее, второй Анакреон,
Но верю я — и мой в волнах суровой Леты
С рождением его не будет поглощен:
На пепле золотом угаснувшей кометы
Несмелою рукой он с чувством положён!

УТЕШЕНИЕ

Над лирою твоей разбитою, но славной
Зажглася и горит прекрасная заря!
Она облечена порфирию державной
Великодушного царя.

2 марта 1837

*Вот тебе, Александр, живая картина
моего настоящего положения:*

< Поверь, мой милый, слову друга:
Уж не клянусь в часы досуга
Судьбу воинскую мою, >
Но горе мне с другой находкой:
Я ознакомился — с чахоткой
И в ней, как кажется, сгнию!
Тяжелой мраморною плитой,
Со всей анафемскою свитой —
Удушьем, кашлем, — как змея,
Впилась, проклятая, в меня;
Лежит на сердце, мучит, гложет
Поэта в мрачной тишине
И злым предчувствием тревожит
Его в бреду и в тяжком сне.
«Ужель, ужель, — он мыслит грустно, —
Я подвиг жизни совершил
И юных дней фиал безвкусный,
Но долго памятный, разбил!
Давно ли я в оргиях шумных
Ничтожность мира забывал
И в кликах радости безумных
Безумство счастьем называл?
Тогда — вдали от глаз невежды
Или фанатика глупца —
Я сердцу милые надежды
Питал с улыбкой мудреца
И счастлив был! Самозабвенье
Плодило лестные мечты,
И светлых мыслей вдохновенье
Таилось в бездне пустоты.

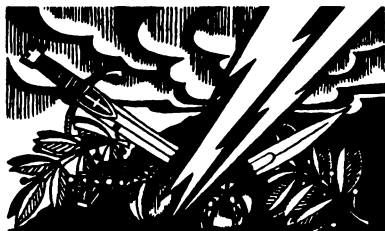
.
.

С уничтожением рассудка,
В нелепом вихре бытия,
Законов мозга и желудка
Не различал во мраке я.
Я спал душой изнеможенной,
Никто мне бед не предрекал,

И сам — как раб, ума лишенный, —
Точил на грудь свою кинжал;
Потом проснулся... но уж поздно:
Заря по тучам разлилась —
Завеса будущности грозной
Передо мной разодралась...
И что ж? Чахотка роковая
В глаза мне пристально глядит
И, бледный лик свой искажая,
Мне, слышу, хрипло говорит:
«Мой милый друг, бутылным звоном
Ты звал давно меня к себе;
Итак, являюсь я с поклоном —
Дай уголок твоей рабе!
Мы заживем, поверь, не скучно:
Ты будешь кашлять и стонать,
А я всегда и безотлучно
Тебя готова утешать...»

Декабрь 1837





А й, ахти! ох, ура,
 П <равославный> наш ц <арь> ,
 Н <иколай> г <осударь> ,
 В тебе мало добра!..
 Обманул, погубил
 Ты миллионы голов —
 Не сдержал, не свершил
 И <мператорских> слов!..
 Ты припомни, что мы,
 Не жалея себя,
 Охранили тебя
 От большой кутерьмы,—
 Охранили, спасли
 И по братним т <елам>
 Со грехом пополам
 На п <рестол> возвели!
 Много, много сулил
 Ты с <олдатам> тогда;
 Миновала беда —
 И ты всё позабыл!
 Помыкаешь ты нас
 По горам, по долам,
 Не позволишь ты нам
 Отдохнуть ни на час!
 От ста <льных> те <саков>
 У нас сп <ины> трещат,
 От уч <ебных> ша <гов>
 У нас но <ги> болят!
 День и ночь наподряд,
 Как волов наповал,
 Бьют и мучат с <олдат>
 О <фицер> и ка <прал> .

Что же, бе <лый> от <ец>,
Своих черных ов <ец>
Ты стираешь с земли?
Иль мы кроме побой
Ничего пред тобой
Заслужить не могли?
Или думаешь ты
Нами вечно играть
И что.. мать
Лучше доброй молвы.
Так у <мней> мы, чем встарь>,
П <равославный> наш <царь>,
Н <иколай> г <осударь>.
Ты бо <лван> наших р <ук>:
Мы склейли тебя
И на тысячу штук
Разобьем, разлюбя!

СУЛТАН

Тихо в спальне у султана.
В легкой розовой чалме
На подушке оттомана
Он замечен в полутьме.
Благовонное алоэ
И душистые цветы
В пышном убранном покое
Нежат чувства и мечты.
И горит от нетерпенья
Взор владыки мусульман:
Верно, дивного явления
Ждет рассеянный султан.
Держит чашу не с сорбетом
Он рассеянной рукой:
Запрещенный Магометом
В ней напиток дорогой...
Время длится неприметно,
Бьется сердце, ноет дух,
И кальян его заветный
Недокуренный потух.
Бьет в ладони, и мгновенно
Черный евнух перед ним.
«Скоро ль?» — «Идут...» — «Вон из спальни!»

И счастливцев меж рабынь,
Приведенных из купальни,
Видит трех полубогинь.
Три богатых каравана
Из Аравии пришли
И в подарок от Судана
Сладострастию султана
Юных пленниц привели.
Все они разнообразной
Красотой одарены —
И как будто ленью праздной
Для любви сотворены.
Две из них белы и нежны,
Как лилеи под росой
Или ландыш белоснежный,
Только срезанный косой.
Третья блещет черным оком,
Величава и смугла,
Грозен в ужасе глубоком
Бледный лоск ее чела...

К МОЕМУ ГЕНИЮ

Ужель, мой гений бысролетный,
Ужель и ты мне изменил
И думой черной, безотчетной,
Как тучей, сердце омрачил?
Погасла яркая лампада —
Заветный спутник прежних лет,
Моя последняя отрада
Под свистом бурь, на море бед...
Давно челнок мой одинокой
Скользит по яростной волне,
И я не вижу в тьме глубокой
Звезды приветной в вышине;
Давно могучий ветер носит
Меня вдали от берегов;
Давно душа покоя просит
У благодетельных богов...
Казалось, теплые молитвы
Уже достигли к небесам,
И я, как жрец, на поле битвы
Курил мой светлый фимиам,

И благодетельное слово
В устах правдивого судьи,
Казалось, было уж готово
Изречь: «Воскресни и живи!»
Я оживал... Но ты, мой гений,
Исчез, забыл меня, а я
Теперь один в цепи творений
Пью грустно воздух бытия...
Темнеет ночь, гроза бушует,
Несется быстро мой челнок —
Душа кипит, душа тоскует,
И, мнится, снова торжествует
Над бедным плователем рок.
Явись же, гений прихотливый!
Явись опять передо мной
И проводи меня счастливо
К стране, знакомой с тишиной!

РУССКИЙ НЕПОЛНЫЙ ПЕРЕВОД
КИТАЙСКОЙ РУКОПИСИ,

ВЫВЕЗЕННОЙ В 1737 ГОДУ
ИЕЗУИТСКИМИ МИССИОНЕРАМИ ИЗ ПЕКИНА,
НЕИЗВЕСТНОГО ПОЧИТАТЕЛЯ ДОБРЫХ ДЕЛ

1

Девицы, дамы, господа,
Прошу пожаловать сюда!
Я вам немногими словами
Скажу, поверьте, не шутя,
Что за горами, за долами
И за индийскими морями
Вы не найдете с фонарями
Такого малого, как я!..
Я — диво, чудо в здешнем мире,
Во мне достоинств миллион.
Везде дивятся мне невольно
И говорят, что очень мил.
О, ведь зато на колокольне
Я воспитанье получил!..
Факир китайского собора —
Дурак набитый предо мной,
А все другие: «Фора, фора!» —
Кричат с поникшей головой...
Во-первых, слушайте: ей-богу,
Шайтан свидетель, — я не лгу,

Во все дома найти дорогу
Без затрудненья я могу.
К соседу или не соседу,
К чужим, своим — мне всё равно!
На чай, на завтрак и к обеду
Мне быть всегда позволено!
Моя метода обращения
С людьми всех званий и чинов
Достойна также удивленья
Глубокомысленных голов!
Встречаясь с кем-нибудь нарочно
(Хоть прежде лично и заочно
Его не знал я никогда),
Я подхожу к нему всегда
Преуниженно и учтиво
И завожу красноречиво
Весьма приятный разговор:
Про дождь, про лен, про скотный двор.¹
Потом без дальних объяснений
Иду за ним без приглашений,
Являюсь запросто к жене,
Сажусь, зеваю и моргаю
И жду закуски или чаю
(Люблю поестъ на стороне —
Пусть судят дурно обо мне!),
Потом иду в другое место,
Опять сижу и снова жду;
Особенно я там в ладу,
Где есть подарок мне в виду
Или красивая невеста.
Уж там не выживут меня!
Как им угодно, днем и ночью,
И стыд и совесть затая,
Я их терзаю всею мочью!
Уж там насильно я как свой!
Умен родитель мой косматый,
Он говорил мне завсегда:
«О сын мой, сын первоначатый,
Не знай ни чести, ни стыда,
Всё для тебя честно и свято,
Живи на счет других людей,
Обманывай всех человеков
И до скончанья наших веков,
Поверь, ты будешь всех умней!»

¹ Стих Пушкина.

2

Другое правило прямое
Я долгим опытом постиг:
Хвали свое, хули чужое,
Имей язвительный язык!
Я к этим правилам привык.
Всегда и всюду понемногу
Черню товарищей своих:
Того раскрашу я развратным,
Другого — пошлым дураком,
Того — невеждой неприятным,
Иного — явным подлецом
И, наконец, поодиночке
Знакомых так переберу,
Что все виновны без потачки,
А я и прав, и чист, и вру!
Смеюсь! Да что же! Так и должно:
Я их обманываю всех!
Я буду жить покуда можно,
Как вор в чулане, без помех!..
Предвижу я: близка надежда..
Какой-нибудь лихой невежда,
Меня прижавши в уголке,
Ударит сильно по щеке.¹
Но что мне плюха!.. Звук минутный,
Щелчок по носу! *Bon soir.*²
Итак, неси же, ветер попутный,
Неси, волны морской удар,
Мою предательскую лодку
На камни, мели и пески!..
Не даром пить чужую водку
И есть чужие пирожки.

3

Еще до этого я время
Одно достоинство имел,
Мне сам лукавый это семя
Растить и множить повелел.
А именно: людей почтенных,
Которых ласками я жил,
Всегда я в отзывах презренных
В знак уваженья поносил!

¹ Ожидание вполне совершилось.

² Добрый вечер (фр.). — *Ред.*

Судил превратно и коварно
Про каждый благородный дом
И завсегда неблагодарно
Платил за дружеский прием!
Теперь — язвительным дыханьем
И черной пеной языка
Я облил с редким состраданьем
Моих друзей исподтишка...
Живут они однообразно
В стенах Пекина, без затей,
Между утех и лени праздной,
С самодовольствием детей,
И мой расчет благоразумный
И мой блистательный успех
Нередко в их беседе шумной
Заводит дружественный смех!
Улыбкой жалкого презренья
Они мне платят, гордецы,
Но я факир — пустого мщенья
Не утрастились наглецы!..
Живу покойно, заклеянный
Проклятьем бога и людей,
И, перед всеми униженный,
Жду скромно ласки и честей!..
О пол почтенный, пол прекрасный!
О мест окружных господ!
У ваших ног, как раб подвластный,
Я пресмыкаюсь завсегда, —
Внемлите ж вы мольбе последней:
Позвольте жить у вас в передней...
Всегда тарелку и поднос
Держать рука моя готова,
И буду лаять я как пес
На своего и на чужого.

Здесь несколько строк в китайском подлиннике совершенно изглажены временем, залиты какою-то острою краскою, — и русский переводчик, при редком знании китайского языка, не в силах был связать или угадать последних идей добродетельного человека.

*Поэмы и повести
в стихах*







САШКА

К ЧИТАТЕЛЯМ

Н с для славы —
Для забавы
Я пишу!
Одобренья
И сужденья
Не прошу!
Пусть кто хочет,
Тот хохочет,
Я и рад,
А развратен,
Неприятен —
Пусть бранят.
Кто ж иное
Здесь за злое
Хочет принимать,
Кто разносит
И доносит —
Тот....

Глава первая

1

«Мой дядя — человек сердитый,
И тьму я браней претерплю,
Но если говорить открыто,
Его немножко я люблю!
Он — черт, когда разгорячится,
Дрожит, как пустится кричать,
Но жар в минуту охладится —
И тих мой дядюшка опять.

Зато какая же мне скука
Весь день при нем в гостинной быть,
Какая тягостная мука
Лишь о походах говорить,

2

Супруге строить комплименты,
Платочки с полу подымать,
Хвалить ей шляпки ее, ленты,
Детей в колясочке катать,
Точить им сказочки да лясы,
Водить в саду в день раза три
И строить разные гримасы,
Бормоча: „Черт вас побери!“»
Так, растянувшись на телеге,
Студент московский помышлял,
Когда в ночном на ней побеге
Он к дяде в Питер поскакал.

3

Студенты всех земель и краёв!
Он ваш товарищ и мой друг;
Его фамилья Полежаев,
А дальше... эх, друзья, не вдруг!
Я парень и без вас болтливый,
И только б вас не усыпить,
А то внимайте терпеливо:
Я рад весь век мой говорить!
Быть может, в Пензе городишка
Несноснее Саранска нет,—
Под ним есть малое селишко,
И там мой друг увидел свет...

4

Нельзя сказать, чтобы богато
Иль бедно жил его отец,
Но всё довольно торовато,
Чтоб промотаться наконец.
Но это прочь!.. Отцу быть можно
Таким, сяким и растаким,—
Нам говорить о сыне должно:
Посмотрим, вышел он каким.

Как быстро с гор весенни воды
В долины злачные текут,
Так пусть в рассказе нашем годы
Его младенчества пройдут.

5

Пропустим также, что родитель
Его до крайности любил,
И первый Сашеньки учитель
Лакей из дворни его был.
Пропустим, что сей ментор славный
Был и в французском Соломон
И что дитя болтал исправно:
«Jeau-foutre, un vil, une v...., un con».¹
Пропустим, что на балалайке
В шесть лет он «барыню» играл
И что в похабствах, бабках, свайке
Он кучерам не уступал.

6

Вот Саше десять лет пробило,
И начал папенька судить,
Что не весьма бы худо было
Его другому научить.
Бич хлопнул! Тройка быстрых коней
В Москву и день и ночь летит,
И у француза в пансионе
Шалун за книгою сидит.
Я думаю, что всем известно,
Что значит модный пансион.
Итак, не многим будет лестно
Узнать, чему учился он.

7

Должно быть, кой-чему учился
Иль выучил хоть на алтын,
Когда достойным учинился
Носить студента знатный чин!
О родины прямых студентов —
Гёттинген, Вильна и Оксфорд!

¹ Олух, подлец, в..., дурак (фр.). — *Ред.*

У вас не может быть патентов
Дурак, алтынник или скот;
Звонарь не может колокольный
У вас на лекции сидеть,
Вертеться в шляпе треугольной
И шпагу при бедре иметь.

8

У вас не вздумает мальчишка
Шипеть, надувшись: «Я студент!»
Вы судите: пусть он князишка,
Да в нем ума ни капли нет!
У вас студент есть муж почтенный,
А не паршивый, не сопьяк,
Не полузнайка просвещенный
И не с червонцами дурак!
У вас таланты в уваженье,
А не поклоны в трех верстах;
У вас заслугам награждение,
А не приветствиям в сенях!

9

Не ректор духом вашим правит —
Природный ум вам кажет путь,
И он вам чин и честь доставит,
А не «нельзя ли как-нибудь!».
А ты, козлиными брадами
Лишь пресловутая земля,
Умы гнетущая цепями,
Отчизна глупая моя!
Когда тебе настанет время
Очнуться в дикости своей?
Когда ты свергнешь с себя бремя
Своих презренных палачей?

10

Но что я?.. Где я?.. Куда скрылся
Вниманья нашего предмет?..
Ах, господа, как я забылся:
Я сам и русский и студент...
Но это прочь... Вот в вицмундире,
Держа в руках большой стакан,

Сидит с красотками в трактире
Какой-то черненький буян.
Веселье наглое играет
В его закатыстых глазах,
И сквернословие летает
На пылких юноши устах...

11

Кричит... Пунш плещет, брызжет пиво;
Графины, рюмки дребезжат!
И вокруг гуляки молчаливо
Рои трактирщиков стоят...
Махнул — и бубны зазвучали,
Как гром по тучам прокатил,
И крик цыганской «Черной шали»
Трактира своды огласил;
И дикий вопль и восклицанья
Согласны с пылкою душой,
И пал студент в очарованье
На перси девы молодой.

12

Кто ж сей во славе буйной зримый
Младой роскошный эпикур,
Царицей Пафоса любимый,
Средь нимф увенчанный Амур?
Друзья, никак не может статься,
Чтоб всякий вдруг не отгадал,
И мне пришлось бы извиняться,
Зачем я прежде не сказал.
Ах, миг счастливый, быстротечный
Волшебных юношества лет!
Блажен, кто в радости сердечной
Тебя сорвал, как вешний цвет!

13

Блажен, кто слез ручей горячий
Рукой Анюты утирал;
Блажен, кто жизни путь колючий
Вином отрадным поливал.
Пусть смотрит Гераклит плаксивый
С улыбкой жалкой на тебя,

Но ты блажен, о друг мой милый,
Забыв в веселье сам себя.
Отринем, свергнем с себя бремя
Старинных умственных цепей,
Что ныне гибельное время
Еще щадит до наших дней.

14

Хорош философ был Сенека,
Еще умней — Платон-мудрец,
Но через два или три века
Они, ей-ей, не образец.
И в тех и в новых шарлатанах
Лишь скарб нелепостей одних;
Но и весь свет наш на обманах
Или духовных, иль мирских.

.
.
.
.

15

И полно, я заговорился,
А как мой Сашка пировать
С в трактире научился,
Я и забыл вам рассказать.
Не знаю, право, я, природный
Умишка маленький в нем был
Иль пансион учено-модный
Его лозами поселил,
Но, лишь учась тому, другому,
Он кое-что перенимал
И, слов не тратя по-пустому,
Кой в чем довольно успевал:

16

Мог изъясняться по-французски
И по-немецки лепетать,
А что касается по-русски,
То даже рифмы стал кропать.
Хоть математике учиться
Охоты вовсе не имел,

Но поколоться, порубиться
С лихим гусаром не робел.
Он знал науки и другие,
Но это более любил...
Ну, ведь нельзя, друзья дорогие,
Сказать, чтоб он невежда был!

17

Притом же, правду-матку молвить,
Умен — не то, что научен:
Иной куда гораздо молвит —
Переучен, а не умен!
По-моему, семинариста
Хоть разучи бог знает как,
Строка в строку евангелиста
Прочтет на память, а дурак.
Я для того здесь об ученых
И умных начал рассуждать,
Что мне не хочется об оных
И об науках толковать.

18

Итак, ни слова об науках...
Черты характера сего:
Свобода в мыслях и поступках,
Не знать судьбою никого,
Ни подчиненности трусливой,
Ни лицемерия ханжей,
Но жажда вольности строптивой
И необузданность страстей!
Судить решительно и смело
Умом своим о всех вещах
И тлеть враждой закоренелой
К мохнатым шельмам в хомутах!

19

Он их терпеть не мог до смерти,
И в метафизику его
Ни мощи, ангелы, ни черти,
Ни обе книги — ничего
Ни так, ни эдак не входили,

И как ученый муж Платон
Его с Сократом ни учили,
Чтобы бессмертьем верил он,
Он ничему тому не верит:
«Всё это — сказки», — говорит,
Своим аршином б <ога> мерит
И в церковь гроша не дарит.

20

Я для того распространяюсь
О столь божественных вещах,
Что Сашу выказать стараюсь,
Как голого, во всех частях;
Чтоб знали все его как должно,
С сторон хорошей и худой,
Да и, клянусь, ей-ей, неложно
Он скажет сам, что он такой.
Конечно, многим не по вкусу
Такой безбожный сорванец,
Хоть и не верит он И <су> су,
Но, право, добрый молодец!

21

Вот всё, чему он научился,
Свидетель — университет!
Хотя б сам Рафаэль трудился —
Не лучше б снял с него портрет.
Теперь, какими же судьбами,
Меня вы спросите опять,
Сидит в трактире он с?
Извольте слушать и молчать.
Рожденный пылким от природы,
Недолго был он средь оков:
Искал он буйственной свободы —
И стал свободен, был таков.

22

Как вихрь иль конь мылостый в поле
Легит в свирепости своей,
Так в первый раз его на воле
Узрел я в пламени страстей.

Не вы — театры, маскарады,
Не дам московских лучший цвет,
Не петиметры, не наряды
Кипящих дум его предмет.
Нет, не таких мой Саша правил;
Он не был отроду бонтон,
И не туда совсем направил
Полет орлиный, быстрый он.

23

Туда, где шумное веселье
В роях неистовых кипит,
Отколь все света принужденья
И скромность ложная бежит;
Туда, где Бахус полупьяный
Об руку с Момусом сидит,
И с сладострастною Дианой,
Разнежась, юноша шалит;
Туда, туда всегда стремились
Все мысли друга моего,
И Вакх и Момус веселились,
Приняв в товарищи его.

24

В его пирах не проливались
Ни Дон, ни Рейн и ни Ямай!
Но сильно, сильно разливались
Иль пунш, иль грозный сиволдай.
Ах, время, времячко лихое!
Тебя опять не наживу,
Когда, бывало, с Сашей двое
Вверх дном мы ставили Москву!
Пока я жив на свете буду,
В каких бы ни был я странах,
Нет, никогда не позабуду
О наших буйственных делах.

25

Деру «завесу черной ночи»
С прошедших, милых сердцу дней
И вижу: в Марьиной мы роще
Блистаем славою своей!

Ермолки, взоры и походка —
Всё дышит жизнью и поет,
Табак, ерофа, пиво, водка
Разит, и пышет, и несет...
Идем, волнуясь величаво, —
И все дорогу нам дают,
А девки влево и направо
От нас со трепетом бегут.

26

Идем... и горе тебе, дерзкий,
Взглянувший искоса на нас!
«Молчать, — кричим, насупясь зверски, —
Иль выьем потроха тотчас!»
Толпа ль иль дев стыдливых
Попалась в давке тесной нам,
Целуем, ... смазливых
И харкаем в глаза каргам.
Кричим, поем, танцуем, свищем —
Пусть дураки на нас глядят!
Нам всё равно: хвалы не ищем,
Пусть как угодно говорят!

27

Но вот... темнее и темнее.
Народ разбрелся по домам.
«Извозчик!» — «Здесь, сударь!» — «Живее,
Пошел на Сретенку к!»
— «Но, но!» И дрожки задрожали;
Летим, Москва летит — и вот
К знакомым девкам прискакали,
Запор сломали у ворот.
Идем по-матерно ругаясь,
Врастяжку банты на штанах,
И, боязливо извиняясь,
Нам светит бандерша в сенях.

28

«Мне Танька, а тебе Анюта», —
Скосившись, Саша говорит.
Неоценимая минута,
Тебя никто не изъяснит!

Приап, Приап! Плечи!
Тебя достойный фимиам
Твоими верными сынами
Сейчас вскурится к облакам!
О, мизогины!
Вам слова два теперь скажу,
Какой божественной картины
Вам легкий абрис покажу!

29

Растянута, полувоздушна,
Калипса юная лежит,
<Студенту грозному послушна,
Она и млеет и дрожит.
Одна нога коснулась полу,
Другая — нежно, на отлет;
Одна рука спустилась долу,
Другая друга к персям жмет.
И вьется атласной,
И извивается кольцом,
Вкушает нектар сладострастный
В томленье пылком и живом.>

30

Нет, нет! И абрис невозможно
Такой картины начертать.
Чтоб это чувствовать, то должно
Самим собою испытать.
Но вот под гибкими перстами
Поет гитара контроданс,
И по-козлиному с
Прекрасный сочинился танц!
Возись! Пунш плещет, брызжет пиво,
Полштофы с рюмками летят,
А колокольчик несонливый
Уж бьет заутрени набат...

31

Дым каждую туманил кровлю,
Ползли ерыги к кабакам,
Мохнатых полчища — на ловлю,
И шайки нищих там и сям.

Вот те, которые в бордели,
Как мы, ночь в пьянстве провели,
Покинув постели,
Домой в пуху и пятнах шли.
Прощайте ж, милые красотки!
Теперь нам нечего зевать!
Итак, допив остаток водки,
Пошли домой мы с Сашкой спать.

32

Ах, много, много мы шалили!
Быть может, пошалим опять;
И много, много старой были
Друзьям найдется рассказать
Во славу университета.
Как будто вижу я теперь
Осаду нашу комитета:
Вот Сашка мой стучится в дверь...
«Кто наглый там шуметь изволит?» —
Оттуда голос закричал,
«Увидит тот, кто дверь отворит», —
Сердито Саша отвечал.

33

Сказав, как вихорь устремился —
И дверь низверглася с крючком,
И, заревевши, покатился
Лакей с железным фонарем.
Се ты, о Сомов незабвенный!
Твоею мощной пятерней
Гигант, в затылок пораженный,
Слетел по лестнице крутой!
Как лютый волк стремится Сашка
На деву бледную одну,
И распростерлася Дуняшка,
Облившись кровью, на полу.

34

Какое страшное смятенье,
И дикий вопль, и крик, и рев,
И стон, и жалкое моление
Нешадно избиенных дев!

Но вдруг огнями осветился
Пространный комитета двор,
И с кучерами появился
Свирепых буфелей дозор.
«Держи!» — повсюду крик раздался,
И быстро бросились на нас;
И бой ужасный завязался...
О грозный день, о лютый час!

35

Капоты, шляпы и фуражки
С героев буйственных летят,
И — что я зрю? — о небо! Сашке
Веревкой руки уж крутят!..
«Mon cher!»¹ — кричит он, задыхаясь. —
Сюда! Здесь всех не перебью!»
Народ же, больше собираясь,
На жертву кинулся свою.
Ах, Сашка! Что с тобою будет?
Тебя в рогатку закуют,
И рой друзей тебя забудет...
Нет, нет! Уж Калайдович тут!

36

Он тут! И нет тебе злодея!
Твою веревку он сорвал
И, как медведь, всё свирепея,
Во прах всех буфелей поклал.
Одной своей телячьей шапки
Уже вовек ты не узришь,
А сам, безвреден после схватки,
Опять за пуншем ты сидишь;
Пируй теперь, мой Жданов милый,
Твоя обида отмщена,
И проясни свой лик унылый
Стаканом пенного вина.

37

И ты, мой друг в тогдашни годы,
Теперь — подлец и негодяй,

¹ Мой дорогой! (фр.) — *Ред.*

Настрой-ка, Пузин, брат, аккорды,
 Возьми гитару и взыграй.
 Прочь, прочь, Надеждин, от бильярда:
 Коль проиграл, так не робей!
 Donnez-vous, Jean, un peu¹ гишарда!
 Коврайский! Вот сивуха — пей!
 А ты, наш чайный разливатель,
 О Кушенский, не отходи
 И, как порядка наблюдатель,
 За пиром радостным гляди!

38

Засядем дружеским собором
 За стол, уставленный вином,
 И звучным, громогласным хором
 Лихую песню запоем...
 Летите грусти и печали
 К,
 Давно, давно мы не бывали
 В таком божественном кругу!
 Скачите, ..., припевая:
 «Виват наш Саша, молодец!»
 А я, главу сию кончая,
 Скажу: «Ей-богу, удалец!»

Глава вторая

1

Чуть освещаемый луною,
 Дремал в тумане Петербург,
 Когда с уныньем и тоскою
 Узрел верхи его мой друг.
 На облучке, спустивши ноги,
 В забытье жалком он сидел
 И об оконченной дороге
 В сердечной думе сожалел.
 Стакан последний сиволдая
 Перед заставой осушил,
 И, из телеги вылезая,
 Он молчалив и страшен был.

¹ Жан, дайте нам немного (фр.) — Ред.

2

Нева широкая струилась
Близ постоянного двора,
И недалёко серебрилось
Изображение Петра.
Всё было тихо; не спокойно
В душе лишь Саши моего,
И не смыкались невольно
Глаза померкшие его,
Недавно буйного студента.
С дымящимся от трубки ртом,
Он, прислонясь у монумента,
Стоял с потупленным челом.

3

«Увы, увы!.. Часы веселья,
Вы пролетели будто сон!»
Так в петербургском новоселье,
Вздыхнувши тяжко, мыслил он:
«Быть может, долго, молодые
Красотки, мне вас не видать!
<И долго, ... крутые,
На вас не будут умирать!
И щупать трепетной рукою,
И прижимать к своим устам,
И нежно припадать порою
К упругим, полненьким грудям.>

4

Прощайте, звонкие стаканы,
И пунш, и грозный ерофей!
Быть может, други мои пьяны
Теперь пируют у,
И сны приятные осенят
Глаза, сомкнутые вином,
И яркие лучи осветят
Их, упоенных сладким сном!
Увы, увы! А я, несчастный,
Я б проклял восходящий день!..»
Умолк... и луч денницы ясной
Рассеивал ночную тень.

5

Ах, Сашка! Как тебе не стыдно,
Сробел, лихая голова!
Ей-богу, слышать нам обидно
Такие вздорные слова.
Когда ты был такою бабой?
Когда так трусил и тужил?
Как мальчик глупенький и слабый
При виде розог, приуныл.
Что ты в Москве накуролесил
И гол остался как сокол,
И как сова ты нос повесил...
Пошел, брат, к дядюшке, пошел!..

6

И что ж, друзья?.. Ведь справедливо
Он дядю чертом называл:
Ведь как же тот красноречиво
Его сначала отщелкал!
Такую задал передрагу,
Такую песенку отпел,
Так отприветствовал бродягу.
Что тот лишь слушал да глядел;
Потом всё тише да смиреннее,
Потом не стал уж и кричать,
Всё ласковее, всё добрее,
Потом и Сашей начал звать.

7

А Сашка тут и распустился,
И чувствует, что виноват,
Раскаялся — и прослезился,
А дядя?.. Боже мой, как рад!
Повесу грязного отмыли,
Сейчас белья ему, сапог,
И с головы принарядили
Как лучше быть нельзя, до ног.
Повеселиться там нисколько,
Никак не думав, не гадав,
Пирует Сашка мой и только!
Опять в кругу своих забав.

8

Где вид московского гуляки?
Куда девался пухлый лик?
В англо-кургузом модном фраке,
В отличной шляпе эластик,
В красивом бархатном жилете
Мой Сашка тот же, да не тот.
И вот, сбоченясь, на проспекте
С фигурой важною идет.
Червонцы светлы, драгоценны
И на театры в первый ряд
Билет на кресла ежедневный
В кармане брюк его лежат!

9

С какою миною кичливой
На прочих франтов он глядит,
Какой улыбкою спесивой
И дам и барышень дарит!
С какой приятностью играет
И машет хлыстиком своим,
И как искусно задевает
Под ножки девушкам он им;
Какой бонтон в осанке, взорах,
Какую важность возымел!
Но вот на ухарских рессорах
В театр, разлегшись, полетел.

10

Взошел. С небрежностью лакею
Билет, сморкаясь, показал
И, изогнувши важно шею,
Глазами ложи пробежал.
Взгремела «Фрейшица» музыка;
Гром плесков залу оглушил,
И всяк от мала до велика
И упоен и тронут был.
Что ж Сашка? С видом пресыщенья
Разлегшись в креслах, он сидел
И лишь с улыбкой сожаленья
В четыре стороны смотрел.

11

Напрасно *fora*¹ все кричали —
Он свой выдерживал *bon ton*²
И в самом действия начале
Спокойно пить пунш вышел вон;
Напрасно, милая Дюрова,
Твой голос всех обворожал:
Он не расслышал ни полслова,
Но только увидел;
Напрасно, Антонин воздушный,
Ты резал воздух, как зефир:
Для тону Саше будет скучно,
Хотя б растешил ты весь мир.

12

Да и нельзя же в самом деле...
Смотрите, он в каком кругу!
Народ не тот здесь, что в бордели, —
Иль видишь ленту, иль звезду!
И, шутки в сторону откинуть, —
С ним рядом первая ведь знать;
И непристойно рот разинуть,
Степного Фоку тут играть.
Так, раз и твердо рассудивши,
Всегда мой Сашка поступал
И всякий раз, в театре бывши,
Роль полусонного играл.

13

Но как же был зато он скромен
Во всех поступках и словах
И полутихо-нежно-томен
При зорких дяденьки глазах;
С каким почтеньем и терпеньем
Его он слушал по часам,
С каким — о, смех! — благоговеньем
Ходил с ним вместе по церквам;

¹ Бис, bravo (итал.). — *Ред.*

² Хороший тон (фр.). — *Ред.*

По Летнему ль гуляет саду —
Не свищет песенки, не бойсь,
Хоть будь красотка, — ни полвзгляду
Не кинет прямо и ни вкось.

14

С какою пылкостью восторга
Хвалил он дядины мечты,
Доказывал премудрость бога,
Вникал природы в красоты,
С каким он жаром удивлялся
Наполеонову уму
И как делами восхищался
Моро, и Нея, и Даву;
Ругал всех русских без разбора
И в Эрмитаже от картин
Не отводил ни рта, ни взора.
О плут! О шельма, сукин сын!

15

И потакал, и лицемерил,
Ему безжалостно он врал!
А честный дядя всему верил
И шельме денежки давал...
Бывало, только с Миллионной,
А дядя: «Где, дружок, был?»
А он (куда какой проворный!):
«Я-с по бульвару всё ходил,
Потом спуск видел парохода,
Да Зимний осмотрел дворец.
Какая ж тихая погода!»
Ах ты, ..., подлец!

16

Ах ты, проклятая ерыга,
Чего мошенник не соврет!
А хоть ругай — мой забулдыга
Живет да песенки поет...
Звенит целковыми рублями,
Летает франтиком в садах,
Пирует, нежится с
И сушит водку в погребках.

Ну что мне делать с ним прикажешь?
Не хочет слышать уж про нас...
Эй, Сашка! Или не покажешь
В Москву своих спесивых глаз?

17

Постой! Не вечно, брат, рейнвейны
В Café de France¹ ты будешь пить,
И лилейны
И в шляпе эластик ходить!
Постой, не вечно Петербурга
Красоток будешь целовать,
Опять любезнейшего друга
В Москву представят к нам, опять!
Гуляй, пируй, пока возможно,
Крути, помадь свой хохолок,
Минуты упускать не должно,
Играй, сбоченясь, á la coq!²

-

18

Не выпускай из рук стакана,
От Каратыгина зевай
И в ресторации с дивана,
Дымясь в вакштафе, не вставай;
Катайся в лодочках узорных,
Лови обманчивых жидов
И мчись на рысках проворных
До поздних полночи часов
..... целковенькой в бордели,
А дядя мыслит кое-что,
И в дилижансе две недели
Тебе уж место нанято.

19

Различноцветными огнями
Горит в Москве Кремлевский сад,
И пышно-пестрыми роями
В нем дамы с франтами кипят.

¹ Французское кафе (фр.). — *Ред.*

² Петухом (фр.). — *Ред.*

Музыка шумная играет
На флейтах, бубнах и трубах,
И гул шумящий зазывает
Кремля высокого в стенах.
Какие радостные лица,
Какой веселый, милый мир!
Все обитатели столицы
Сошлись на общий будто пир.

20

Какое множество букетов,
Индийских шалей и чепцов,
Плащей, тюбанов и лорнетов,
Подзорных трубок и очков;
И смесь роскошная в нарядах,
И лиц различные черты,
И выражения во взглядах
И плутовства и простоты,
И ловкости и неуклюжства,
И на глазах почтенных дам:
И надоевшее замужство,
И склонность к модным шалунам.

21

Как из-под шляпки сей игриво
Глазок прищуренный глядит;
Что для мужчин она учтива,
Он очень ясно говорит.
На грудь лилейную другая
Власы небрежно разметав
И всех прельстить собой желая,
Нарочно гордый кажет нрав;
Другая с нежностью лилеи,
Иная томно так идет,
Но подойди к ней не робея —
Она и ручку подает.

22

Всё живо и разнообразно,
Всё может мысли породить!
Там в пух разряженный присяжный
Напрасно ловким хочет быть;

Здесь купчик, тросточкой играя,
Как царь, доволен сам собой;
Там, с генералом в ряд шагая,
Себя тут кажет и портной,
Вельможа, повар и сапожник,
И честный, и подлец, и плут,
Купец, и блинник, и пирожник —
Все трутся и друг друга жмут.

23

Но что? Не призрак ли мне ложный
Глаза внезапно осенил?
Что вижу я? Ужель возможно,
Чтоб это Сашка мой ходил?..
Его ухватки и движенья,
Его осанка, взор и вид...
Какое странное сомненье...
И дух и кровь во мне кипит...
Иду к нему... трясутся ноги...
Всё ближе милые черты...
Дрожу, стремлюсь... колеблюсь... боги!..
О друг любезный, это ты?

24

Нет, я завесу опускаю
На нашу радость и восторг.
Такой минуты, сколь я знаю,
Никто нам выразить не мог.
Друзьям же верным и открытым
И всё желающим узнать,
Умам чрез меру любопытным
Довольно, кажется, сказать,
Что, раз пятнадцать с ним обнявшись,
И оросив слезами грудь,
И раз пятнадцать целовавшись,
В трактир направили мы путь.

25

Не вспомнишь все, что мы болтали,
Но все, что он мне рассказал,
Вы перед этим прочитали,
И я ни слова не соврал.

Одно лишь только он прибавил,
Что дядя в университет
Его еще на год отправил
И что довольно с ним монет.
«Сюда, ...!» — гремящим
Своим он гласом возопил,
И пуншем нектарным, кипящим
В минуту стол обрызган был.

26

Ты видел, Жеап, когда на дрожках
К тебе он быстро подлетел;
В то время с книгой у окошка,
Дымясь в гишарде, ты сидел.
Ты помнишь, о Коврайский славный,
Студентов честь и красота,
Какой ты встречею забавной
Его порадовал тогда:
В блевотине мертвецки пьяным
Тебя он в нумере застал,
И рвотом водочным, поганым
Его наряд ты замарал.

27

Ты зрел, любезный мой Костюшка,
Его как стельку самого,
И снова, толстенькая Грушка,
Ты нежила его.
Виват, трактиры и бордели,
Поживка еще будет вам,
И кабаки не опустели,
Когда приехал Сашка к нам.
В веселье буйственном с друзьями
Еще за пуншем он сидел,
А разноцветными огнями
Кой-где Кремлевский сад горел...

< Эпилог >

Друзья, вот несколько деяний
Из жизни Сашки моего...
Быть может, дождь ругательств, брани,
Как град, посыплет на него,
И на меня, как корифея
Его похабства и бесчинств,
Нагрянет, злобой пламенея,
Какой-нибудь семинарист...
Но я врагов сих презираю,
В дела их вовсе не вхожу
И, что про Сашку ни узнаю,—
Ей-богу, все вам расскажу.

1825—1826





ИМАН-КОЗЁЛ

Водной деревне, недалеко
От Триполи иль от Марокко —
Не помню я, — жил человек
По имени Абдул-Мелек.
Не только хижины и мула
Не заводилось у Абдула,
Но даже верного куска
Под час иной у бедняка
В запасной сумке не случалось.
Он пил и ел, где удавалось,
Ложился спать, где бог привел,
И, словом, жизнь так точно вел,
Как независимые птицы
Или поклонники царицы,
Котору вольностью зовут,
Или как нищие ведут.
С утра до вечера с клюкою
И упрощающей рукою
Бродя под окнами домов
Пророка ревностных сынов,
Он ждал святого подаяня,
Молил за чувства состраданья
С слезой притворной небеса,
Потом осушивал глаза
Своим изодранным кафтаном
И шел другим магометанам
Одно и то же повторять.
Так жил Абдул лет двадцать пять,
А может быть, еще и боле,
Как вдруг однажды, сидя в поле
И роя палкою песок,
Нашел он кожаный мешок.

Абдул узлы на нем срываest,
Нетерпеливо открывает,
Глядит, и что ж? О Магомет!
Он полон золотых монет.
«Что вижу я! Ужель возможно?
Алла, не сон ли это ложный? —
Воскликнул радостный бедняк. —
Нет, я не сонный! Точно так...
Червонцы... цехины без счету...
Абдул! Покинь свою заботу
О пище скудной и дневной:
Теперь ты тот же, да другой». —
Схватил Абдул свою находку,
Как воин пленную красотку,
Бежит, не зная сам куда,
Именно рад — и с ним беда!
Бежит что сил есть, без оглядки,
Лишь воздух рассекают пятки.
Земли не видит под собой.
И вот лесок пред ним густой.
Вбежал, взглянул, остановился
И на мешок свой повалился.

«Ну, слава богу! — говорит. —
Теперь он мне принадлежит.
Червонцы всё, да как прелестны:
Круглы, блестящи, полновесны!
Какая чистая резьба!
О, презавидная судьба
Владеть подобною монетой!
Я не видал милее этой.
И можно ль стать — я один
Теперь ей полный властелин.
Я... я... Абдул презренный, нищий,
Который для насущной пищи
Два дни лохмотья собирал
И их девать куда не знал,
Я — бездомовный, я — бродяга...

.
Блажен скупой, блажен стократ
Зарывший первый в землю клад!
Так, так! На лоно сладострастья,
На лоно выпренного счастья,
В объятия гурий молодых,
К горам червонцев золотых,

На крыльях ветра ангел рока
Тебя, по манию пророка,
Душа святая, принесет —
Там, там тебя награда ждет».

.

И снова радостный Абдул
На груди золота взглянул,
Вертел мешок перед собою,
Ласкал дрожащею рукою
Его пленявшие кружки
И весил, сколь они легки,
И прикасался к ним устами,
И пожирал их все глазами,
И быстро в землю зарывал,
И снова, вырывши, считал.

Так обезьяна у Крылова
Надеть очки была готова
Хотя бы на уши свои,
Того не зная, что они
Даны глазам в употребленье.

И вот дивится все селенье,
В котором жил Абдул-Мелек.
«Откуда этот человек,
Из самых бедных, как известно,—
Заговорили повсеместно,—
Откуда деньги получил?
Ну, так ли прежде он ходил?
Какой наряд, какое платье!
Ему ли, нищенской ли братье
Носить такие епанчи?»
(А он оделся уж в парчи.)
«Давно ли мы из состраданья
Ему давали подаянья
И он смиренно у дверей
В чалме изодранной своей,
Босой и голый, ради неба,
Просил у нас кусочка хлеба,—
И вдруг богат стал! Отчего?..»

«Готов и дом уж у него!» —
Другой сказал с недоуменьем,
И все объаты удивленьем:

«И дом готов! Нельзя понять,
А как изволит отвечать,
Коль намекнешь ему об этом.
Ну — заклинай хоть Магометом,
А он одно тебе в ответ:
«Мне бог послал». — Ни да, ни нет.
Что хочешь говори — ни слова.
Ты подойдешь: «Абдул, здорово!
Откуда денег ты достал?»
А он, проклятый: «Бог послал».
Такой ответ — на что похоже!»
— «Да, да! И мне твердит все то же, —
Шептал завистливый иман, —
Но я открою сей обман.
Конечно, много может вера!
Однако ж не было примера,
Чтоб за хорошие дела
Давал червонцы нам Аллá.
Люби его всю жизнь усердно,
А все умрешь так точно бедно,
Каким родила мать тебя,
Когда не любишь сам себя
И там прохлопаешь глазами,
Где должно действовать руками.
Пой эти песни простакам
И легковерным, а не нам.
Я сорок лет уже иманом,
И если с денежным карманом,
То оттого, что мало сплю
И кой-что грешное люблю.
И как, мой друг, ни лицемеришь,
Меня ничем не разуверишь:
Нашел ты, верно, добрый клад.
Проспорить голову я рад...» —
И углубился в размышленье,
Каким бы образом именье
Себе Абдулово достать.
Пронырством истину узнать —
Старанье тщетное — не можно:
Себя ведет он осторожно.
Прокрасться в дом к нему тайком
И деньги вынудить ножом —
Успех неверный и опасный;
Просить на бедных — труд напрасный;
Взаймы — не даст, украсть — нельзя...

Иман выходит из себя:
Нет средства обмануть Абдула.
Гадал, гадал, и вдруг мелькнула
Ему идея сатаны:
Пришельцем адской стороны
Иль просто дьяволом с когтями,
В козлиной шкуре и с рогами
Абдула ночью поугать
И деньги дьяволом отнять.
«Прекрасно, чудно, несравненно! —
Кричал стократно, восхищенный
Своею выдумкой, иман. —
Как дважды два мой верен план!»
Сказал — и разом все готово.
Козла здорового, большого
В хлеву поспешно ободрал,
На палках шерсть его распял;
Сперва рукой, потом другою,
Потом совсем и с головою
В него с усилием он влез —
И стал прямой козел и бес.

«Как, как! Иман в козлиной шкуре?
Не может быть того в натуре, —
Кричат пятнадцать голосов, —
Не может быть людей-козлов!»

Друзья мои! Пустое дело:
Могу уверить очень смело
И вас, и прочих молодых,
Людей неопытных таких,
Что в сто иль тысячу раз боле
Искусств таинственное поле
Открыто глупым дикарям,
Чем нашим важным хвастунам,
Всезнайкам гордым и надменным,
Полунеждам просвещенным.
Поверьте: множество вещей
(Прочтите «Тысячу ночей»),
Которых мы не понимаем
И нагло вздором называем,
Враньем, несбыточной мечтой,
В степях Аравии святой,
За Индостанскими горами,
За неоткрытыми морями

Не выдумки и не мечты,
А так известны, так просты,
Как наше древнее преданье
Об очень чудном наказанье
Царицей Ольгою древлян,
Как всякий рыцарский роман,
Как предречение кометы,
Как Фонтенели и Боннеты...
В козла запрятался иман,
Как русский прячется в кафтан.
В козлины лапы всунул ноги,
На голове — явились роги,
С когтями, бородой, хвостом —
И, словом, сделался козлом.

Коль говорить вам правду надо,
Я не видал сего наряда,
Но будь на месте я — не я,
Когда хоть каплю от себя
В моем рассказе я прибавил:
Мне это сведенье доставил
Один приехавший арап,
По имени Врилги-хап-хап.
Он человек весьма приятный,
И что важнее: вероятный —
Не лжет ни слова — и он сам
Свидетель этим был делам.

Спустилась ночи колесница;
Небес лазоревых царица,
Блеснула бледная луна;
Умолкло все, и тишина
Простерлась в дремлющем селенье
Свершив обряды омовенья,
Облобызавши Алкоран,
Семейства мирных мусульман
Предались сладкому покою.
Один, с преступною душою,
В одежде беса и козла,
Забыв, что бодрствует Алла
И видят всё пророка очи, —
Один лишь ты во мраке ночи,
Иман-чудовище, не спишь,
Как тень нечистая скользишь,

Как дух, по улице безмолвной,
Корысти гнусной, злобы полный —
Ты не иман, а Вельзевул.

И вдруг встревоженный Абдул —
К нему стучится кто-то, слышит,
И за дверьми ужасно дышит,
И дико воеет, и скрипит,
И хриплым гласом говорит:
«Абдул, Абдул! Вставай скорее,
Покинь твой страх, будь веселее:
Твой гость пришел, твой друг и брат.
Отдай назад, отдай мой клад;
Узнай во мне — Адрамелеха!» —
И снова грозный голос смеха,
И визг, и скрежет раздались;
Крючки на двери потряслись,
Трещит она, валится с гулом,
И пред трепещущим Абдулом
Козел рыкающий предстал...
«Отдай мой клад! — он закричал, —
Отдай! — взгремел громоподобно. —
Мне было дать его угодно —
И отниму его я вновь.
Где, гнусный червь, твоя любовь
И благодарность за услугу
Мне, избавителю и другу?

.....
Кому, о дерзостный! Кому
Дерзал ты жаркие моления
В пылу восторга и забвенья
За тайный дар мой приносить?

.....
Куда, Адамов сын презренный,
Моей рукой обогащенный,
Златые груды ты сорил?
Меня ли тратой их почтил?
Познал ли ты мирское счастье:
Забавы, роскошь, сладострастье,
Веселье буйное пиров
И плен заманчивых грехов?
Ты не искал моей защиты;
Пророк угрюмый и сердитый
Тебе приятнее меня —
Тебе не нужен боле я!

Итак, свершись предназначенье —
 Впади, как прежде, в унижение!
 Отдай мой дар, отдай мой клад —
 И будь готов за мною в ад!»
 — «О сильный дух, о дух жестокой! —
 Вскричал Абдул в тоске глубокой. —
 Постой, постой! Возьми твой клад,
 Но страшен мне, ужасен ад...»

.
 Иман, схватив скорей мешок,
 Лихим козлом из дому — скок;
 Ему как пух золотое бремя,
 Как Архимед в старинно время,
 «Нашел!» — он радостно кричит
 И без души домой бежит.
 Примчался, кинул деньги в сено
 И стал из дьявольского плена
 Свой грешный труп освобождать,
 И так и сяк — тянуть и рвать
 Бесов лукавых облаченье, —
 Нет... ни искусство, ни уменье,
 Ничто нисколько не берет —
 Козлина шерсть с него нейдет;
 Вертится, бесится, кружится,
 Потеет, душится, бранится,
 Пытает снять с себя козла —
 Нет силы... кожа приросла.

Что делать? Бедный ты невежда!
 Исчезла вся твоя надежда:
Сырое липнет на сухом —
 А ты не слыхивал о том!
 Когда б ты знал хотя немного,
 Что запрещается престрого
 От европейских докторов
 (От самых сведущих голов)
 Не только в шкуры кровавые
 И не совсем еще сухие
 Влезать, как ты изволил влезть,
 Но даже стать на них иль сесть —
 Чему есть многие причины
 (Которых, впрочем, без латыни
 Тебе не можно рассказать),
 То, верно б, шкуру надевать
 Тебе не вздумалось сырую;

Теперь же плачь и вóпи: вскую!
Реву, завистливый иман,
Кляни себя и свой обман,
Терзайся, лей рекою слезы,
Твое лукавство и угрозы
Увлечь ограбленного в ад
Теперь тебя лишь тяготят;
И шерсть козлиная с тобою
Пребудет ввек, как с сатанюю,
Который с радостию злой
Теперь летает над тобой.
«Иман, иман! — тебе на ухо
Шипит ужасный голос духа,
Как шорох листьев иль змеи. —
Приятны ль цехины мои?»
Напрасно, мучимый тоскою,
Окован мощною рукою,
Бежишь в обитель спящих жен;
Они невинны: легкий сон
Смыкает сладостно их очи,
Для них отрадны тени ночи,
В душе их царствует покой.
Напрасно с просьбой и мольбой
Ты ожидаешь состраданья;
Твой гнусный вид, твои рыданья,
Твои слова: «Я ваш супруг!» —
Как громом их сразили вдруг.
Испуга пагубного жертвы,
Они упали полумертвы
При этих горестных словах.
«Не муж явился к нам в рогах
С брадой и шерстиею козливою,
Но дух подземный, нечестивый,
Приняв козла живого вид,
Его устами говорит».
И крик детей, и жен смятенье,
И в доме страшное волнение,
И визг, и вой: «Алла, Алла!»,
И быстролетная молва,
И речи, сказки об имане
И о смешном его кафтане
В селенье быстро разнеслись.
«Где, где он? — вопли раздались. —
Кажите нам сего урода!»
И сонмы буйные народа
К нему нахлынули на двор.

«Вот дух нечистый, вот мой вор! —
Кричал с горящими глазами
И угрожая кулаками
И вне себя Абдул-Мелек. —
Отдай, презренный человек,
Сейчас мешок мой с золотыми
Или я в ад тебя за ними,
Исчадь адово, пошлю;
Отдай мне собственность мою!»

«Абдул, Абдул! — сказал несчастный. —
Теперь я вижу, что напрасно
Не чтит Аллу я моего:
Правдиво мщение его!
Возьми твой клад — мне бес лукавый
Вдохнул поступок мой неправый».

«Теперь он боле не иман;
Его на петлю, на аркан! —
Кричал народ ожесточенный. —
Пускай во все концы вселенной
Пройдет правдивая молва,
Что *так* за гнусные дела
У нас карают всех злодеев».

.
«Ура! — раздался общий крик. —
Пророк божественный велик!
Пред ним не скрыты преступленья,
И грозен час его отмщенья!
Покинь, Абдул, покинь твой страх,
Иман и клад в твоих руках».
«Так награждаются обманы
И козлоногие иманы!» —
Абдул безжалостно твердил
И по селу его водил
С веревкой длинною на шее.
«Сюда скорей, сюда скорей!» —
Кричали зрители вокруг;
И хилый дедушка, и внук,
И стар, и молод собирались,
Козлу`смешному удивлялись
И тайно думали: «Алла!
Не дай нам образа козла!»

Уже то время миновало;
Имана бедного не стало,
Покрыла гроб его ковыль;
Но неизгладимая *быль*
Живет в преданьях и рассказах,
И об имановых проказах
Там и доселе говорят:
И детям маленьким твердят:
«Дитя мое! Не делай злого
И не желай себе чужого,
Когда не хочешь быть козлом:
За зло везде заплатят злом».
И в час полночи молчаливой
Ребенок робкий и пугливый
Со страхом по полю бежит,
Где хладный прах его лежит.
И мусульманин правоверный
Еще доселе суеверно
Готов пришельцу чуждых стран
Сказать, что мертвый их иман
Нередко, встав из гроба, бродит
И криком жалостным наводит
Боязнь и трепет в тех местах,
Что — страшно думать о козлах.

1825 или 1826





ДЕНЬ В МОСКВЕ

Дома... Боже мой, насилу вижу свет!
Мой милый, посмотри, в уме я или нет?
Не видишь ли во мне внезапной перемены?
Похож ли на себя? С какой ужасной сцены
Сейчас я ускользнул!.. Где был я, о творец!
Я мукой заслужил страдальческий венец!
Нет, Сидор Карпович, покорнейшим слугою
Прошу меня считать, но... в дом к вам ни ногою —
Хотя б вы умерли — не буду никогда.
«Что случилось с тобой?» — «Беда, беда, беда!»
— «Положим, что беда, но объяснись, как должно».
— «Нет сил пересказать, наказан я безбожно.
Послушай и суди: сегодня поутру
Сам черт меня занес к mademoiselle¹ Тру-тру,
Известной жрице мод, торгующей духами,
Ликером, шляпками и многими вещами,
О коих я судить нимало не привык
По правилу: держи на привязи язык;
Взял дюжину платков, материй для жилетов
И, осмотрев мильон шнуровок и корсетов,
Заказанных у ней почетным щегольством,
Хотел благодарить за ласки кошельком, —
Как вдруг — преддверие блистательного храма
Звенит и хлопает... Вуаль отброся, дама
С девицей в локонах вступает в магазин,
И милости прошу: баронша Крепсенштейн!
Взошла — и началась ужасная тревога:
«Bon jour, ma chère!»² Ба, ба, скажите, ради бога,
Ужели это вы, почтенный наш Сократ?»
Они, как сговорясь, вдруг обо мне пищат:
«Ах, боже мой! Вот смех, вот чудеса, вот странно!

¹ Мадмуазель (фр.). — *Ред.*

² Здравствуйте, дорогая! (фр.). — *Ред.*

Серьезный господин, который беспрестанно
Поносит женский пол, и моды, и весь свет,
Заехал к mademoiselle купить себе лорнет,
Колечко, медальон иль что-нибудь такое.
И что же? На софе посиживают двое,
Как будто о делах приличный разговор
Ведут наедине!» Такой нелепый вздор,
Бесстыдство матери и дочери в огласку
Невольно бросило меня сначала в краску,
И я уже хотел почтенной Крепсенштейн
Сказать и пояснить, что если магазин
Француженки Тру-Тру слывет Пале-Роялем,
То ей, окутанной огромнейшим вуалем,
Едва ль не совестно с девицей приезжать
В такой свободный дом товары покупать.
Но быстро все мои тяжелые заботы
Пресекали новые парижские капоты.
«Ах, прелесть! Что за цвет! Прекраснейший фасон!
А эти складочки, а этот капишон!..
Ах, маменька! Скорей, немедленно обновы».
— «Изволь, мой друг, изволь!» — ответ, всегда готовый,
Был дочке радостной. Баронша — в кошелек,
А кошелек, как пух, и тонок и легок.
«Смотрите, да он пуст! — баронша закричала. —
Ах, мой создатель! Как забывчива <я> стала,
Без денег выезжать! А все заторопясь...
Mais à propos¹, — ко мне с улыбкой обратясь,
Сказала дружески, — я видела при входе,
Что есть у вас большой бумажный курс в расходе.
Прошу, отдайте ей за эти пустяки,
А завтра мы сочтем и прежние долги».
Что делать мне? Полез к бумажным кредиторам
И в знак почтения к уродливым узорам
Парижских епанчей три сотни заплатил.
Зато мне и хвала! Сказали: «Как он мил!»
«Конечно, очень мил», — подумал я с досадой,
И проклял магазин со всей его помадой,
Чепцами, блондами, а более всего
С гостями вечными, бароншами его,
Потом с покупкою и книжкою карманной,
Довольно гибкою от встречи нежеланной,
Я ехал отдохнуть в досужный час домой.
Но вот Кремлевский сад пестреет предо мной.

¹ А кстати (фр.). — *Ред.*

Нельзя не погулять. «Фома, держи левее,
К воротам. Стой!» — и слез. Иду большой аллеей,
Любуясь зеленью и пышностью цветов,
Сажусь под арками. Тут запах пирожков,
Паштетов, соусов — приманка сибарита —
Невольно моего коснулся аппетита...
«Толпы зевак еще и гастрономов нет,—
Подумал я,— велю подать себе котлет
И выпью рюмки две хорошего донского»,—
Подумал — и взошел; велел — и все готово.
Но только сесть хотел — дверь настежь, и Ослов
С отборной партией бульварных молодцов,
Как водится всегда, охотников до рома,
Котлет, чужой жены и до чужого дома,
Ввалил прямехонько в ту комнату, где я
Готовил скромное занятие для себя.
«Любезнейший мой друг, старинный мой приятель! —
Вскричал, обняв меня, сей новый истязатель. —
Здоров ли, жив ли ты? Скажи, какой судьбой
Привел меня господь увидеться с тобой?
Позволь, тебя всего сто раз я поцелую!
Вот друг мой, господа! Мой друг, рекомендую;
Прошу его любить: он все равно что я,
А вам представлю их, все добрые друзья:
Вот князь Свистов, а вот поэт Ахтикропалов,
Сверчков, Бостонников, Облизов и Пропалов.
Ей-ей, сердечно рад! Знакомьтесь поскорей;
Мы время проведем как можно веселей!»
И с этим словом все нахалы, пустомели,
Вертясь и кланяясь, вокруг меня обсели.
Котлеты между тем свернулись в желе
И лакомили мух покойно на столе.
Жестокая беда! Но вот еще мученье!
Является паштет, огромное строенье,
Торжественный венец искусства поваров,
Со свитой водок, вин и влаги всех родов.
Почтеннейший Ослов, на откуп взяв желудки,
Как истинный делец, успел уже за сутки
Вперед распорядить явление пирога —
И снова я в руках могущего врага!
Облизов, приступя к решительному бою,
Сразил чудовище искусною рукою,
Огромный зев его на части разделил,
И всякий с лезвием ко труп у приступил.
Припомни, как терзал Демьян соседа Фоку,
Как потчевал его без отдыху и сроку

И градом пот с него, несчастного, бежал;
Так точно и меня знакомец угощал
Без срока, отдыха и даже без оглядки!
«Да кушай, милый мой, вот ножка куропатки,
Цыплята, голуби и фарш — и все тут есть.
Отведай же, мой друг, прошу тебя я в честь».
Хочу сказать, что сыт, — не даст ответить слова;
Лишь только я начну — и рюмка мне готова.
«Пей, пей, любезнейший! Поменьше говори.
Что за бордо, сотерн, шампанское! Смотри!
Да, кстати, добрый наш поэт Ахतिकропалов,
Ты так запрятался меж рюмок и бокалов,
Что мудрено тебя найти и с фонарем.
Отсвистнись-ка, мой друг, каким-нибудь стишком!»
— «Готов!» — сказал поэт с довольною улыбкой;
Перст ко лбу — и в ушах раздался голос хрипкой:
 «Я с удовольствием сию
 В кругу друзей почтенных
 И с чистой радостью гляжу
 На строй бутылок пенных,
 Которых слезы, как хрусталь
 Лазурный, белый и румяный,
 Кропят граненые стаканы —
 И, не откладывая в даль,
 Запью последнюю печаль».

Скончал. Бутылка хлоп — в фиале зашипело,
И «браво», как ядро из пушки, загремело...
«Списать стихи, списать! Вот истинный поэт!
Как скоро и легко! Отличнейший куплет!»
И вдруг карандаши и книжки записные
Посыпались на стол в хвалу и честь витии.
А я... как думаешь? Скорее шляпу, трость
Да в общей кутерьме, как запоздалый гость,
Забывши заплатить за грешные котлеты,
Которые опять быть могут подогреты,
Бежать, да как бежать! Без памяти, без сил,
Нашел свой экипаж, как бешеный вскочил.
«Пошел, Фома, пошел! Скорее, ради бога!»
Пусть там о беглеце идет у них тревога...
Уже две улицы остались позади;
Я дух переводил свободнее в груди,
И только изредка, исполненный боязни,
Погони ожидал, <как будто смертной казни>.
Но все несчастья, нарочно сговорясь,
Пред домом Трефиной меня толкнули в грязь
Без всякой милости, с Фомой, кабриолетом,

Журналом дамских мод и наконец пакетом
Материй и платков mademoiselle Тру-тру.
Как Вакхов гражданин, проснувшись поутру,
Невесело встает с услужливой постели,
Вставал из грязи я без плана и без цели.
Вдруг тонкий голосок воздушною струей
Раздался над моей печальной головой:
«Вы ль это? Боже мой! Какое приключение!
Не сделалось ли вам удара от падения?
Вот люди, соль и спирт — они вас укрепят.
Прошу взойти наверх». Я бросил томный взгляд
В воздушную страну, из коей, мне казалось.
Истек приятный звук. И что же оказалось?
Особа Трефиной, дородна и тучна,
Как на море подчас девятая волна,
Стояла, на балкон небрежно опираясь.
Что было делать мне? Неловко извиняясь
В нечаянном грехе, Фому и фазтон
Отправил я домой, а сам без оборон
От выдумок судьбы жестокой и нахальной
Повлекся к лестнице парадной машинально.
Чем встретили меня — нетрудно угадать.
Ни сил я не имел, ни время отвечать.
Напала на меня вся дамская эскадра,
Вопросы сыпались, как с Эрзерума ядра.
Бог знает, до чего б их штурм меня довел,
Но тем окончилось, что подали на стол.
Хвала на этот раз уставам просвещения!
У Трефиной я был избавлен принуждения:
Сказал, что не хочу, — и дело решено.
Сиди, кури табак — хозяйке все равно.
Стол начат хорошо: особы две крестились,
Потом, как водится, сперва разговорились
О важном, — например, < что будет государь
На этих днях в Москву, > что будто секретарь
Такого-то суда за рубль лишился места,
И замуж за судью идет его невеста.
Потом, на полутон понизя разговор,
Коснулись ближнего. Какой-нибудь узор
Подола Мотовой в прошедшее собрание
Успел приобрести всеобщее вниманье.
Иного с головы размерили до ног,
И всякий говорил, что думал и что мог.
Приезжий между тем господчик из Калуги
Девике Трефиной оказывал услуги:

Брался ей косточку разрезать с мозжечком
И многое шептал, как кажется, о том.
Но, как бы ни было, стол кончился исправно.
Я время проводил ни скучно, ни забавно.
Десерт и кофе шли своею чередой,
И я доволен был обедом и собой.
Но вот что повторяю: осмей мое сознание,
А вера в дьяволов имеет основание.
Сызмала верить им от нянек я привык
И после опытом ту истину постиг.
Есть дьяволы — никто меня не переспорит,—
Не мы, а семья их кутит, мутит и вздорит.
Они, проклятые, без тела и без лиц,
Влезают и в мужчин, и в женщин, и в девиц;
Сидят в них, к пакостям, страстям, порокам клонят
И, раз на шею сев, в открытый гроб загонят.
Старинный Ариман и новый падший дух
Едва ли не живут и дают нас, как мух!
Мне думать хочется, что это не пустое!
А впрочем, вот тому свидетельство живое:
Девушка Фольгина по просьбе двух смелей,
Которые, на шаг не отходя от ней,
Точили на заказ безбожно каламбурь,
Разыгрывала им отрывок увертюры
Из оперы «Калиф», потом, переходя
От арии к рондо, нежнее соловья,
Томнее горлицы прелестным голосочком
Пропела песню: «Раз весною под кусточком».
И прочая... Игра и пение вокруг
Сирены Фольгиной собрали знатный круг:
Дивились, хлопали, хвалили, рассуждали
И чудом из певиц торжественно назвали.
Один из сказанных услужливых господ
Приходит вне себя: как обер-франт и мот,
Скользя, подходит к ней с улыбкой чичисбея.
«Позвольте, — говорит, — божественная фея,
Устами смертного коснуться ваших рук!
Меня очаровал непостижимый звук,
Произведенный их летучими перстами».
С сим словом подлетел и страстными губами
Хотел восторг любви руке ее принести.
Она, заторопясь наезднику присесть,
Нечаянно ногой за кресла зацепила
И франта на паркё с собою уронила.
«Ах, ах!» — как водится, но дело уж не в том:
Закрыв лицо и грудь, горящие стыдом,

Как серна, бросилась в другую половину,
А ловкий петиметр, прелестную картину
Увидя и другим немножко показав,
Поднялся охая, как будто он и прав.
Что было следствием — никто меня не спросит:
Кто нюхает табак, кто лимонаду просит,
Кто сожалеет вслух и очень рад тайком,
Кто обтирается батистовым платком
И далее. Меж тем отец и мать певицы,
Разгляда нехотя наморщенные лица,
Карету — и с двора. Я тоже замышлял,
Но Сидор Карпович тревогу прокричал:
«Куда, куда и вы?.. Гей, люди, повеленье:
Вот шляпа вам и трость — убрать на сохраненье!
Ни шагу из дому, ни капли воли нет.
Вы партию жене составите в пикет,
Бостончик или вист. Два столика готовы —
Прошу не отказать, не будьте так суровы!»
Засел я нехотя, смертельно не любя
Для прихоти других женить себя.
Проходит час и два — нам дела нет нимало:
Сражаемся и всё!.. Мне даже дурно стало!
Виконт де ла Клю-Клю, парижский патриот,
Оставя в Франции жену и эшафот,
Чтоб быть учителем у русских самоедов,
По счастью, был тогда из близких мне соседев.
«*Viconte, prenez ma place*»¹, — сказал я обратясь.
«*Bon, bon!*»² — он отвечал. И я, перекрестясь,
Но только верно уж неявно и наружно,
Пошел из-за стола рассеять миг досужный.
Послушай, что теперь случилось со мной,
И верь, что все дела текут не сатаной!
В исходе одного большого коридора
Вдруг слышится мне смех и шепот разговора.
«Подслушать тайну — есть позорная черта, —
Вдали остановясь, подумал я тогда. —
Быть может, через то я много потеряю...
Но ч<ерт> меня возьми!.. Я точно различаю
Девичьи голоса. Подслушаю секрет...»
Подкрался и взошел в ближайший кабинет.
Вот тайный разговор от слова и до слова:

ДЕВИЦА 1-Я

Да знаешь ли ты, чем Анета не здорова?

¹ Виконт, займите мое место (фр.). — *Ред.*

² Хорошо, хорошо! (фр.). — *Ред.*

С. ДВУХА > 2-я

Неужели улан?..

1-я

Уж знает вся Москва!..
Прошу покорнейше!.. Но только он едва
Останется в глупцах.

2-я

О, это вероятно!..
А впрочем, милая, какой мужчина статный!

1-я

Не Сонин.

2-я

Ха, ха, ха! Я думаю, наскучил!

1-я

Пустою нежностью в два месяца измучил!
Ах, что за фалалей! В отставку, со двора!

2-я

Налетов, камер-паж... Ma chère, убей бобра.

1-я

Et vos affaires?¹

2-я

Hélas!² Сказать тебе не смею!

1-я

Забавно! До сих пор?..

2-я

Он слеп, а я робею!

1-я

Кто этот в парике осанистый брюнет
Играет с Трефиной так счастливо в пикет?
Не знаешь ты его? Он мастерски играет.
Но Трефина, поверь, не много потеряет,
Хотя б он на нее сто тысяч записал.

2-я

Как? Что? Он на ноге?

1-я

Контракт уж подписал:
Что выиграет туз, тем пользуется дама.

¹ А ваши дела? (фр.). — *Ред.*

² Увы! (фр.). — *Ред.*

2-я

Fi donc!¹ Так нагло жить и не бояться срама!
А этот пасмурный и скучный кавалер,
Разбитый лошаадьми, точь-в-точь как *grande misère*²,—
Из двух: или влюблен, или глупец тяжелый!

1-я

Тс!.. Кажется, идут! Оправимся, пойдем!..

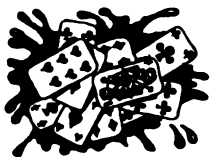
Каков был разговор! Что думаешь о нем?
А в заключение как выражено внятно:
«Влюблен или глупец!..» Не правда ли, приятно!
А делать нечего: наука для ушей;
Недаром говорят: есть кошки для мышей.
Итак, оправившись, как скромные девицы,
Вернулся я опять в клуб новостей столицы.
Вхожу — и вижу там всезнаек дорогих
В кругу их маменек и тетенок седых.
Они уже опять и кротко и невинно,
Как куколки, сидят в беседе благочинной
И, только изредка кивая головой,
Дивуются вранью рассказчицы одной.
Я долго не спускал исподтишка их с глазу,
Но вдруг: «От сорока и восемьдесят мазу...» —
Раздалось в углу. И что же? Мой брюнет
(Что ныне на ноге), огромный пакет
Имея пред собой наличных ассигнаций,
Оставля козырей к услугам древних граций,
Как бес, понтирует с каким-то толстяком.
Что раз, то «attendes!», то транспорт, то с углом!..
Толстяк уже пыхтит, лицо краснее рака,
А всё зазорнее заманчивая драка!
Но наконец нет сил!.. «Нельзя ль переменить?»
Прошу, мечите вы!.. Хоть карту бы убить!..
Ни слова вопреки. Серьезно, равнодушно
Колоды обменял злодей его послушный
И мечет. Первая убита толстяком;
Вторая также. Туз и дама пик с углом
Убиты. Карты в тос. Толстяк свободней дышит.
Другая талия — толстяк берет и пишет.
«Тьфу, счастье!» — ворчит с досадою брюнет
И с места пересел. «Пятьсот рублей валет!»

¹ Тьфу! (фр.). — *Ред.*

² Неудача, беда (фр.). — *Ред.*

Вспотевшая рука банкёра задрожала...
Ждут оба... карты нет... идет — направо пала!
«Насилу!.. Он опять!.. Проклятое плие!..
Он и отыгрывать! Скажите, сряду две
И три!.. Опять идет!» Признаться, эта сцена —
Игры и счастья слепая перемена —
Невольно и меня влекла в среду толпы
Зевак, которые, недвижны, как столбы,
У стульев игроков, разиня рот, стояли
И с нетерпением конца задачи ждали.
Понтёр не сводит глаз; торопится брюнет —
И вдруг четвертый раз на правую валет!
«Фальшь! — толстый закричал. — Вот скраденная карта!»
Хватает за рукав и с первого азарта
С размаху бац его колодою в висок!..
Банкёр встает, но стул как раз сбивает с ног.
Кровь брызжет. Деньги, стол, мел, щетки, два стакана
Летят за ним вослед без цели и без плана.
«Убийство! Караул! Спасите! — раздалось,
И всё собрание рекою разлилось. —
Гей, люди, кучера! Салопы и кареты!»
Бегут по лестнице, едва полуодеты,
Теснятся, падают, толкаются, пищат —
И мигом опустел плачевный маскарад...
Я... Боже упаси свидетельственной роли!
И что мудреного? Боясь такой же доли,
Хоть сроду не бывал картежным, подлецом,
Схватив чужой картуз, скорей оттолк бегом.
Зову извозчика, скачу как из содома,
И вот, как видишь сам, сейчас лишь только дома!
Петрушка, где халат? Сними скорее фрак,
Оправь мою постель, дай трубку и табак!..
Гостей не принимать! Гони их, бей, коль можно, —
И убирайся сам... Я зол теперь безбожно!

Между 1829 и 1831





КРЕДИТОРЫ

Что делать мне от кредиторов?
Они замучили меня!
От их преследующих взоров
Хоть бросься в воду из огня!
Пугаясь встречи их накладной,
Везде я бегаю, как вор;
Но, боже мой, как ни досадно,
Где ни ступи — всё кредитор!
Как саранча, как ополченья
Теней, лишенных погребенья,
Вокруг Хароновой лады, —
Толпятся вокруг меня стадами
С своими жадными руками
Враги-мучители мои!
Как на трепещущее тело
В степи упавшего быка
Глядит толпа воронья смело,
Алкая жданного куска, —
Так мне глядят они в глаза
С ландшафтом харь и выраженья
Досады, злости, нетерпенья,
Притворной ласки — и следят
Меня, как рыбу или клад!
«Когда же? Скоро ли? Да что же?
Нам деньги нужны — ведь пора.
Легко ли ждали мы!» О боже,
Хоть отрекайся от двора!
Им деньги надобны — вот повесть:
Кому ж не надобны они?
Сошлюсь на чью хотите совесть.
Я вновь бы занял сотни три, —
Да что ж, когда никто не верит,
А только требуют уплат;

Тут и < монахи > залицемерит,
Как за грехи потянут в ад!
«Как быть, любезные, терпите! —
Заимодавцам мой ответ. —
В другое время приходите,
Теперь, ей-ей, ни гроша нет!»
Отпевши так серьезным тоном
Иль «Добрый день!», иль «Добра ночь!»,
И, кто с упреком, кто с поклоном,
Они идут лениво прочь.
Что ж, други? Честность, несомненно,
В стране подсолнечной нужна,
Но признаюсь вам откровенно:
Нужда ужасна и сильна!
Не всякий выгодно повздорит
С негодной фурией-нуждой,
За словом дело переспорит,
Хоть будь волшебник не пустой!

.
.
.
.

Скажу короче: благороден,

.
.

Богат, покоен и свободен
Кто обстоятельствам не раб,
Кто сам больной и эскулап!..
Но тот, кого судьба от скуки
Согнуть изволит в три дуги,
Хоть будь сам черт, да пусты руки,
Без покровительств и поруки,
Тот нос и уши береги!
Бывал и я когда-то в свете,
Кой-что нередко замечал, —
И что ж осталось на примете?
Не много чести я видал!
Случалось вскользь видать в прихожей
Или на рынке где-нибудь,
Но всё с такой дурною рожей,
Что даже страшно и взглянуть!
А у вельмож, господ чиновных,
Военных, светских и духовных,

.
.

В <церквах, дворцах,>
Картежных клобах и парадах
Они являются без ней!
А что того еще смешней,—
Они с богатством и чинами
Живут одними лишь долгами.
И видел я издалека,
Что от долгов иные бары,
Хотя толсты, как самовары,
Но вместе тоньше волоска
И легче перышка гагары!
Их очень много — перечесть
За труд излишний почитаю,
Но вот о чем вас вопрошаю:
Куда ж они зарыли честь?
Смотрите: Н*** спешит к обеду,
В ландо разлегшись щегольком,—
И вот, оставивши беседу,
Домой торопится пешком.
Карета, лошади, лакеи
Исчезли вдруг, как чародеи,—
Он конфискован за долги...
И... здесь-то честь побереги!..
Спокойно лежа на диване
С хорошей трубкой табаку,
Имея тысяч сто в кармане —
Да ни полтинника в долгу,—
Конечно, нам о благородстве
Легко судить и рассуждать
И всех нечестных осуждать,
Но при большом недоброхотстве
Слепой фортуны мудрено
Сказать, что бедность и раздолье,
Квас и шампанское, подполье,
И пышный замок — всё равно!
Привычка к старому невольно
Банкрота мучит и крушит,
И превратиться в Ира больно
Тому, кто жил как сибарит.
Что ж делать в море от ненастья? —
Искусно править у кормы.
Чем заменить потерю счастья? —
Искусно деньги брать взаймы.
«Но брать взаймы, так брать с отдачей,—
Рычит кредиторский подьячий,—

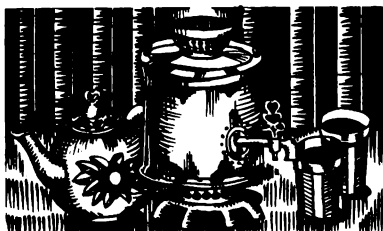
На это есть свои права».
О золотая голова!
Давай лишь денег нам поболе,
Под роспись или под заклад
(Чему не всякий, впрочем, рад),
А там в твоей, пожалуй, воле
По сроку требовать назад.
Греми, великий муж, протестом
И апелляциям не забудь;
Коль нужно будет, то присестом
Махни по форме в земский суд
И налепи на просьбе в пуд
Печать свинцовой гирей с тестом...
А мы червонные твои
Меж тем на мелочь разменяем
И, труся грозного судьи,
Кой-где меж водкою и чаем,

.....
Когда ж до медного рубля
Съедем, уьем и протранжирим,
То, совесть бережно храня,
Тебе ж его на зубы кинем
И будем вновь тебя просить,
Нельзя ли вновь нас одолжить...
Богат я, милый, — вот проценты,
Изволь и с суммой получить.
Без денег, — друг мой, документы
Храни, чтоб всё не упустить!
Расписка, вексель — деньги тоже;
А если — вздор, — но от чего,
Меж тем избави тебя боже! —
В уплату рвенья твоего
Ты не получишь ничего,
То укрепишь по-философски,
Судом разделки не проси
И, как процентщик, по-геройски
Пустой урок перенеси!
Зачем срамить себя бесславно?
Припомни только без хлопот
Панглоса мудрого расчет:
Он показал, и очень явно,
Что зло с добром в связи издавна
И всё здесь к лучшему идет.
Так что ж печальною мечтою
Тревожить робкие умы?

Перо с бумагой предо мною —
Давайте денег мне взаймы.
А вас, старинные знакомцы,
Прошу мне в уши не жужжать
И знать подтверже, что червонцы
Сходнее брать, чем отдавать.
Отдам, отдам и вам, поверьте,
Но, ради бога, вокруг меня
Без шабаша не лицемерьте,
Дождитесь радостного дня!
Вот мы поправимся немного,
Свалим огромные грехи —
И не всегда невежды строго
Судить нас будут за долги,
Как ныне судят за стихи...
Прощайте! — Ох, как будто стало
Теперь на сердце веселей;
Авось мучителей хоть мало
Я тронул логикой своей.

Вторая половина 1820-х годов





ЧУДАК

Дорогой в град первопрестольный,
Часа в четыре поутру,
Игрой судьбины самовольной
К ямскому сонному двору
Примчались быстро друг за другом
Две тройки и карета цугом.
Улан — красавец и корнет,
Мужчина в фраке средних лет
И барышня свежее розы,
С служанкой сивой, как морозы,
Выходят — входят и: «Гей-гей!
Давайте чаю поскорей!»
Читатель, верно, вам знакомы
Неугомонные содомы
Неугомонных ямщиков,
Итак, оставя кучеров
И слуг вертеться возле сена
И воевать за рубль промена,
Посмотрим лучше на свою
Разнообразную семью.
Облокотяся нерадиво
На стол, девица молчаливо
Сидит за чайником своим;
Улан, с искусством щегольским
Играя перстнем и часами,
В карман не лезет за словами
И, как учтивый кавалер,
Желает знать всё, например:
Кто такова она? Откуда?
Как имя ей? Мими, Земруда
Или подобное тому?
Находит в ней достоинств тьму,

Обворожен ее румянцем,
Дивится вслух прелестным пальцам,
А втайне — ножке; да притом
Он мыслит также о другом.
Невольно барышня краснеет,
Но он нимало не робеет,
Осаду правильно ведет
И смело в чашку рому льет...
Другая резкая картина:
Во фраке средних лет мужчина,
Качая важно головой,
Как будто занятый большой
Алгебраической поверкой,
С полуоткрытой табакеркой
И весь засыпан табаком,
Ходил задумчиво кругом.
Вдруг, скуца долгим размышленьем,
Подходит к барышне с почтеньем
И предлагает ей... чего? —
Понюхать... Барышня его
Глазами мерит с удивленьем
И отвечает с наклоном:
«Покорно вас благодарю —
Не нюхаю и не курю».
В ответ ни слова, хладнокровно
Отходит прочь спутник скромный;
Минуты две спустя потом
Вновь угощает табаком:
«Прошу понюхать!» — «Я сказала, —
Смутясь девица отвечала, —
Что я не нюхаю». Улан,
Поставя выпитый стакан,
Взглянул, скосясь, на господина,
Но беззаботливая мина
В широком фраке чудака
Смягчила гнев его слегка.
Пунш снова налит; всё как прежде.
Но непонятному невежде
Неймется — барышне опять
Идет табак свой предлагать:
«Прошу понюхать!» — Градом слезы
Кропят ланит прелестных розы.
«Что вам угодно от меня? —
Вскричала жалостно она. —
Подите дальше, ради бога!»

— «Опять, уж это слишком много! —
Вскричал значительно улан. —
Вы наглы, сударь, вы буян!
Прошу разделаться с корнетом
За наглость даме пистолетом».
— «Зачем не так: я очень рад».
Готовы пули. Идут в сад.
Курки на взводах — бац! С корнета
Летит долой пол-эполета;
Соперник жив, без картуза.
Глядят, разиня рот, в глаза
Друг другу храбрые герои;
Потом сближаются — и двое
Вдруг составляют одного!
«Ура!» — и больше ничего...
На стол являются бутылки.
Улан, в движениях гнева пылкий,
Был в дружбе также щекотлив:
В карманной книжке начертив
Свой полный адрес в память другу,
Пожал ему усердно руку,
Два раза в лоб поцеловал
И в ближний город поскакал.
А барышня? И, други, прежде
Пока забавному невежде
Защитник скромности — корнет —
Дал в руку смертный пистолет,
Она, с досады и испуга,
Не дождалась другого цуга
И кое-как на четверне
С двора свернула в тишине.
А наш чудак с серьезной маской
Теперь один в кибитке тряской
Летит дорогой столбовой —
На встречи новые и бой.
И точно: вдруг в глуши крапивной
Он слышит стон и вопль разрывной
И колокольчик в стороне.
Кинжал и сабля на ремне,
Ружье с картечью у лакея, —
Чего бояться? Не робея
Летит крапивою на стон —
И что ж, кого встречает он?
Два мужика... один с дубиной,
С звероподобной образиной,

За вожжи держит лошадей
Несчастной барышни моей;
А кучер с старою служанкой
Лежат бездушною вязанкой,
Опутаны без рук и ног
Веревкой вдоль и поперек...
«О боже! Стой!» — вскричал он внятно;
Вооруженный сбруей ратной,
Спешит к красавице. Кинжал
С ружьем и саблей заблистал.
Злодеи в бегство. «Вы свободны!» —
Гласит ей витязь благородный.
Пошло всё прежним чередом,
И он — в карете с ней вдвоем,
Как друг и ангел-охранитель.
«Чем заплачу вам, мой спаситель?» —
Твердит девица чудаку.
«Прошу понюхать табаку!»
А после? Что болтать пустое?
Они в Москву явились двое,
Смеялись, думали; потом
Накрыл священник их венцом;
Потом всё горе позабыли,
Гуляли, спали, ели, пили —
И, приучившись к чудаку,
Она привыкла к табаку.

Вторая половина 1820-х годов





ЭРПЕЛИ И ЧИР-ЮРТ

Две поэмы

Evil be to him that evil thinks¹.

Воинам Кавказа

ЭРПЕЛИ

Глава 1

Эдва под Грозною² возник
Эфирный город из палаток
И раздался приветный крик
Учтивых егерских солдаток:
«Вот булки, булки, господа!»
И, чистя ружья на просторе,
Богатыри, забывши горе,
К ним набежали, как вода;
Едва иные на форштадте
Найти успели земляков
И за беседою о свате
Иль об семействе кумовьев,
В сердечном русском восхищенье
И обоюдном поздравленьи,
Вкусили счастье сполна
За квартой красного вина;
Едва зацарствовала дружба,—
Как вдруг, о тягостная служба!
Приказ по лагерю идет:
Сейчас готовиться в поход!
Как вражья пуля, пролетела
Сия убийственная весть,

¹ Позор тому, кто подумает об этом дурно (англ.).— *Ред.*

² Крепость.

И с Ленью сильно зашумела
На миг воинственная Честь.
«Увы! — твердила Лень солдатам. —
И отдохнуть вам не дано;
Вам, точно грешникам проклятым,
Всегда быть в муке суждено!
Давно ль явились из похода —
И снова, батюшки, в поход!
Начальство только для народа
Смышляет труд да перевод.
Пожить бы вам хотя немного
Под Грозной крепостью, друзья!
Нет, нет у Розена ни бога,
Ни милосердия, ни меня!
Пойдете вы шататься в горы,
Чеченцы, бестии и воры,
Уморят вас без сухарей;
Спросите здешних егерей!..»
— «Молчать, негодная разиня! —
В ответ презрительно ей Честь. —
Я — сердца русского богиня
И подавлю пятою лесть!
Ужель вы, братцы, из отчизны
Сюда спешили для того,
Чтоб после слышать укоризны
От сослуживца своего:
«Они-де там не воевали,
А только спали на печи,
В станицах с девками играли
Да в селах ели калачи!»
(Не воевали мы, бесспорно, —
Есть время спать и воевать.)
Вам был знаком лишь ветер горный,
Теперь пора и горы знать;
Вы целый год здесь ели дули,
Арбузы, терн и виноград;
Теперь — прошу — отведай пули,
Кто духом истинный солдат!
Винить начальство грех и глупо:
Оно, ей-ей, умнее нас,
И без причины вместо супа
В котлы не льет гусиный квас.
Идите в горы, будьте рады,
Пора патроны расстрелять,

За храбрость лестные награды
Сочтут за долг вам воздавать;
А егерям прошу не верить,
Хоть Лень сослалась на их гурт:
Они привыкли землемерить
Одну дорогу в Старый Юрт»¹.
Так Честь солдатам говорила,
Паря над лагерем полка,
И Лень печально и уныло
Ушла, вздохнув издалека.

Внезапно ожили солдаты:
Везде твердят: «В поход, в поход!»
Готовы. «Здавствуйте, ребята!»
— «Желаем здравия!» — И вот
Выходят роты. Солнце блещет
На грани ружей и штыков;
Крест на грудь — и как море плещет
В рядах походный гул шагов.
Вот Розен!.. Как глава от тела,
Он от дружин не отделен;
Его присутствием несмелый
Казак и воин оживлен!
Его серебристые седины
Приятны старым усачам:
Они являют их глазам
Давно минувшие картины,
Глубоко памятные дни!
Так прежде видели они
Багратионов пред полками,
Когда, готовя смерть и гром,
Они под русскими орлами
Шли защищать Романов дом,
Возвысить блеск своей отчизны
Или, к бессмертью на пути,
Могилу славную найти
Для вечной и бессмертной тризны!
Так прежде сам он был знаком
Седым служителям Беллоны;
Свои надежды, обороны
Они вторично видят в нем.

¹ *Старый Юрт* — маленькая крепость в 18 верстах от Грозной. Возле са-
мой крепости протекают между гор ручьи горячих минеральных вод.

И полк устроенной громадой
По полю чистому валит,
И ветер свежеею отрадой
Здоровых путников дарит.
Всё живо: здесь неугомонный
Гремит по воле барабан;
Там хоры песни монотонной
«Пал на синё море туман!..»,
Здесь «Здравствуй, милая...», с скачками
Передового плясуна;
Веселый смех между рядами
И без запрету тишина.
Глубокомыслящие канты
И на черкесских жеребцах
В доспехах горских адъютанты,
Крутя столбом летучий прах,
Сверкают, вьются пред глазами.
День вечереет; за горой
С полублестящими лучами
Исчез бог света золотой.
Луна серебряной лампадой
Виднеет в небе голубом;
Заря вечерняя прохладой
Приятно веет над полком.
Вперед, вперед! Еще немного —
Близка до станции дорога!
Вот ручеек горячих вод...
Отбой!.. Окончен переход!...

Глава 2

Кто любит дикие картины
В их первобытной наготе,
Ручьи, леса, холмы, долины,
В нагой природу красоте;
Кого пленяет дух свободы,
В Европе вышедшей из моды
Назад тому немного лет, —
Того прошу когда угодно
Оставить университет
И в амунии походной
Идти за мной тихонько вслед.
Я покажу ему на свете
Таких вещей оригинал,

Которых, верно, в кабинете
Он на ландкартах не видал,
А, шедши фронтом, на походе
Увидит их по сторонам,
Как у себя на огороде
Чеснок и редьку по грядам.
Я покажу ему с улыбкой
На степи верст по пятисот,
На коих изредка ошибкой
Ковыль с мордвинником растет,
И, расстилаясь в день румяный,
Цветник сей длинной полосой
Блестит, как океан багряный,
Своей колючею красой.
Я покажу ему титана,
Который сед и стар, как бес,
В огромной области тумана
Всегда в войне против небес!
Из ребр его окаменелых
Мильоном волн оледенелых
Шумят и летом и зимой
Ручьи с свирепой быстротой.
Напрасно жар полдненный пышет,
Сразясь с тройным его венком,
Сердит и пасмурен, он дышит
Одними вьюгами и льдом!
Кругом, от моря и до моря,
Хребты гранита и снегов,
Как Эльборус, с природой споря,
Стоят от бытности веков!
И неприступная сияет
Из облаков их высота;
Туда лишь дерзкая мечта
С царем пернатых долетает.
Потом, направивши слегка
Полет и взору и надежде,
Я б показал сему невежде
Крутые горы из песка,
Которых около Валдая,
Раз десять в Питер проезжая,
Заметить, верно, он не мог.
А что за вид! Какой песок!
Куда ваш славный воробьевский!..
Какой-нибудь писец московский
Не только б в думе пожалел

Засыпать им свой бред плутовский,
Но, право б, горсть тихонько съел!
Потом, пришедши с ним на берег,
Я б показал ему Сулак,
Лихую Сунжу или Терек;
Не утерпел бы он никак,
Чтобы не вскрикнуть: «Что такое,
Вода иль грязные помои?»¹
В ответ: «Помилуйте, вода,—
Сказал бы я ему невинно,—
Попробуйте, она чиста,
Как в Яузе или Неглинной!»
Потом любезному дружку
Я показал бы лес фруктовый,
В котором с девушкой суровой
Сойтись опасно пастушку,
Затем что слишком мал в округе:
Верст десять только есть к услуге,
Да и довольно некрасив:
Из грушей, персиков и слив!
Спросил бы я его учтиво:
Давно ль он прибыл из столиц?
Едят ли там в июне сливы
Без покровительства теплиц?
На все вопросы таковые
Глазища выпуча большие,
Стоял бы он передо мной,
Как сивка-бурка пред Бовой
Или как лист перед травой;
А я, в досужный час, от скуки,
В Костеках или Ташкичу,
Его ударя по плечу
И взявши дружески за руки,
Зашел бы с ним за буерак
И, севши рядом, начал так:
«Мой милый! очень натурально
Вам всем, столичным петушкам,
Из залы вышед танцевальной,
Дивиться здешним чудесам.
Вам всё здесь ново, всё забавно,
Я очень верю, потому,
Что я и сам еще недавно
Облекся в ратную суму.

¹ Все реки на Кавказе чрезвычайно быстры и мутны.

И я, мой друг, в былые годы
Ходил во фраках, да каких!
Последней, самой лучшей моды,
Короткофалдых, обрезных!
Штаны на мне, я помню живо,
Любил носить я широко,
Из казимира и трико,
Внизу с чешуйкою красивой.
А сапоги — ты, верно, знал
Все магазинны по бульвару —
Мне немец Хейн всегда шивал
По тридцати рублей за пару,
На вес пять-шесть золотников.
Вот был недавно я каков!
Так обратимся мы к предмету:
Я думал так же, как и ты,
Готов был целый век по свету
Искать чудес и красоты
В природе мудрой и премудрой,
Как нам твердит ученый хор,
И восхищался до тех пор,
Пока, мне кажется, за вздор
Меня распудрили не пудрой,
Как, может, ты предполагал.

. и что же?

Прошу пройтиться на Кавказ!
С какою, думаешь ты, рожей
Узнал заслуженный приказ?
Не восхищался ли, как прежде,
Одним названием «Кавказ»?
Не дал ли крылышек надежде
За чертовщиною лететь,
Как-то: черкешенок смотреть,
Пленяться день и ночь горами,
О коих с многими глупцами
По географии я знал,
Эльбрусом, борзыми конями,
Которых Пушкин описал,
И прочая... Ах нет, мой милый!
Я вспомнил то, кем прежде был,
Во что господь преобразил, —
И с миной кислой и унылой
И нос и уши опустил!

Пришед сюда, я взором диким
Окинул всё, что прежде мне
Казалось чудным и великим,—
И всем скучал наедине,
В шуму пиров и тишине!
Вот эти дивные картины:
Каскады, горы и стремнины...
С окаменелою душой,
Убитый горестною долей,
На них смотрю я поневоле
И, верь мне, вижу из всего
Уродство — больше ничего!
Быть может, друг мой (почему же
Не быть подобному с тобой?),
Поссорясь ветрено с судьбой,
Ты сам наденешь фрак поуже
Или две капли так, как мой;
Тогда судить умнее станешь,
Навек поклонись мечтам —
И удивляться перестанешь
Кавказа вздорным чудесам!

Глава 3

Меж тем уходит день за днем
Неизменяемым порядком;
Жары над странственным полком
Сменяет ночь в молчанье кратком;
За переходом переход:
Степями, аулами, горами
Московцы дружными рядами
Идут послушно без забот.
Куда? Зачем? В огонь иль воду?
Им всё равно: они идут,
В ладьях по Тереку плывут,
По быстрой Сунже ищут броду;
Разносит ветер вдоль реки
С толпами ратных челноки;
Бросает Сунжа вверх ногами
Героев с храбрыми сердцами¹.
Их мочит дождь, их сушит пыль.
Идут — и живы, слава богу!

¹ Сунжа в самых мелких местах так быстра, что невозможно сильному человеку ступить шагу, не подавшись в сторону. Большая часть солдат переходила ее, держась между собою за руки, а некоторые падали с ружьями.

Друзья, поверьте, это было!
Я сам, что делать, понемногу
Узнал походную тревогу,
И кто что хочет говори,
А я, как демон безобразный,
В поту, усталый и в пыли,
Мочил нередко сухари
В воде болотистой и грязной
И, помолившись потом,
На камне спал покойным сном!..
А вы, бифтексы и котлеты,
Домашней кухни суета,
Какие лестные приветы
Я вам выдумывал тогда!
С каким живым воспоминаньем,
С каким чудесным обоняньем
Перед собой воображал!
Я вас не резавши глотал,
Без огурцов и кресс-салата...
А на поверку, наконец,
Увы, хоть съел бы огурец,
Да нет их в ранце у солдата!

.
.

Уже осталось за нами
Довольно русских крепостей,
В которых рядом с кунаками
Живут семейства егерей,
Или, скажу яснее, роты
Линейной егерской пехоты
Из сорок третьего полка.
Уж наши воины слегка
Болтать учились по-чеченски,
Как встарь учились по-немецки,
И восхищались от души
(Таков обычай русской рати),
Когда случалось им кстати
Сказать «яман» или «якши».
Уже тарутинцы успели
Подробно нашим рассказать,
Притом прибавить и прилгать,
Как в Турции они терпели
От пуль, и ядер, и чумы,
Как воевали под Аджаром,
И, быть украшивая с жаром,
Пленяли пылкие умы,

Всегда лежавшие на печке...
Мы, в разговоре деловом
Прошедши вброд еще две речки,
К Внезапной крепости тишком
Пришли внезапно вечером...
Вот здесь и точка с запятою...
Я должен тон переменить
И, как поэт отважный, вдвое
Сурьезней дело пояснить.
Итак, принявши тон сурьезный,
Скажу вам так: когда из Грозной
Пошли мы, грешные, в поход,
То и не думали, не знали,
Куда судьба нас заведет.
Иные с клятвой утвержали,
Что мы идем на смертный бой
В аул чеченский, не мирной;
Другие, впятеро умнее
И на сужденье поскромнее,
Шептали всем, понизя тон,
Что наш второй батальон
Был за Андреевской нещадно
Толпою горцев окружен.
Все пели складно, да не ладно;
Один поход мог доказать,
Как хорошо умеют врать.
Замечу здесь: все офицеры,
Конечно, знали наперед
Вернее, нежели мушкеры,
Куда судьба их заведет,
Но знали так, как думать должно,
Не для других, а для себя;
Итак, рассказов не любя,
Хранили тайну осторожно.
Теперь, к Внезапной подходя,
Засуетились все безбожно:
«Да где ж второй наш батальон?
Ведь, говорят, в осаде он».
— «Э, вздор, нагали об осаде:
Он здесь с бутылками стоит;
Смотрите, ежели в параде
Он нас принять не поспешит».
— «Да, если здесь, то, верно, выйдет».
Идет наш первый батальон —
И что же? Место только видит,
Где был второй... «Да где же он?» —

Один другого вопрошает,
А тот в ответ ему: «Бог знает!»
Меж тем и спать уже пора...
Как раз раскинули палатки,
И разрешение загадки
Все отложили до утра.

Глава 4

Вали¹ бессменный Дагестана
И русской службы генерал,
В Тарках, без трона и дивана,
Сидел владетельный шамхал.
Ему подвластные магоги
В папах², с трубками в руках,
Сложив крестом смиренно ноги,
Сидели также на коврах,
Как одурелые французы
От русской пули и штыков.
Они внутри своих лесов
Покойно сеяли арбузы,
Пшеницу, просо и саман³,
В душе, быть может, персиян
И турок нам предпочитали,
Но между тем, <боясь плетей,>
Без отговорок и затей,
Уставы наши принимали,
Склонясь покорною главой
Перед десницей громовой.
Враги порядка и покоя,
Они, подчас от злобы воя,
Точили шашки на кремнях,
Но грохот пушки на горах
Вослед словесных увещаний
Всегда и быстро укрощал
Тревоги буйственных собраний
И мир в аулах водворял.
Так их смирял Ермолов славный,
Так на равнинах Эрпели
Они позор свой погребли,
Вступивши с Граббе в бой неравный.

¹ Один из титулов шамхала.

² Персидская шапка.

³ Персидский табак.

С тех пор устроенной толпой,
Смирять пыл мятежной страсти,
Они под кровом русской власти
Узнали счастье и покой.
Последний луч надежды темной
Бросал в разбойничий аул
Глава Востока — Истамбул,
Но, сокрушив кумир огромный
И льва тавризского связав,
С берегов Аракса до Кубани
Могущий росс, питомец брани,
Лишил злодеев тщетных прав.
Закоренелые невежды,
От Черных гор до снеговых,
С потерей слабой их надежды
Вписались все в число мирных.
Какой-нибудь Самсон презренный
Или преступный Каплунов¹,
Спасаясь казни заслуженной,
Тревожат мир ночных воров
И потаенными стезями
С мирными, добрыми друзьями
Из гор являются врасплох
Перед стадами земляков.
Но правосудный меч в размахе
Висит на нити роковой,
И рано ль, поздно ль головой,
В оцепенении и страхе,
Злодеи дань позорной плахе
Заплатят жалкой чередой.
Итак, кавказские герои
В косматых шапках и плащах,
Оставя нехотя в горах
Набеги, кражи и разбои,
Свою насильственную лень
Трудом домашним заменили
И кукурузу и ячмень
С успехом чудным разводили.
Как вдруг в один погодный день,
На зло внезапное и горе,
Из моря или из-за моря —
О том безмолвствует молва —

¹ Беглые русские солдаты, проживающие у горских разбойников, известные своею отважностью и ненавистью к соотечественникам.

У них явился гость отменный,
Какой-то гений исступленный,
Пророк и поп Кази-Мулла.
Как муж, ниспосланный от бога
Для наставленья мусульман,
Нося открытый Алкоран,
Он вопиял сначала строго
На тьмы пороков и грехов
Своих почтенных земляков.
Стращал их пагубною бритвой,
Которой к раю на пути,
Запасшись добром молитвой,
Должны их души перейти
Иль, отягченные грехами,
Упасть на огненное дно,
Где нечестивым суждено
Жить в вечной каторге с чертями.
«О, горе нам, Алла, Алла! —
Черкесы вторят с умилением. —
Велик и прав святой мулла
С ужасной бритвой и мученьем!»
А он, усами шевеля,
Как голова на сходе шумном,
И знаком вопли прекратя,
Вещал в пророчестве безумном:
«Откройте сонные глаза,
Развесьте уши все народы!
Грядут со мною чудеса
И воскресение свободы!
Определения судьбы
Готовят нам иную долю:
Исчезнет Русь, конец борьбы —
Вы возвратите вашу волю!
Жив бог, а я его пророк!
Его уста во мне вещают,
В моей деснице пребывают
И жизнь, и смерть, и самый рок!
Как дождь неожиданный и обильный,
Мы ополчимся на врагов,
Прогоним их рукою сильной
С анапских пашен и лугов,
С холмов роскошных Дагестана
И ненавистного тирана
Свободных гор, без оборон,
Обратно вытесним за Дон!

О, верьте! Крепости, станицы
И села русских — прах и тлен;
Их дети, жены и девицы
Узнают гибель, месть и плен!
И населят леса и степи,
У нас отнятые войной,
И только с смертию земной
Спадут с них тягостные цепи!»
И раздались и вопль и стон:
«Исчезни, Русь, ступай за Дон!»
Смутились буйственные горы;
В мятежных сонмах, в тишине,
Везде идут переговоры
Об удивительной войне.
Везде мулла благовествует;
Он — им посланник от небес,
Нигде ни шагу без чудес:
Там он покойно марширует,
Босой, все видят, по реке;
Там улетает налегке
К седьмому небу из аула;
Там обращает кошку в мула,
А здесь забавной чередой
Переменяет вид природный
И перед вами как угодно —
Без бороды и с бородой!
В один и тот же миг неожиданный
Изволит быть в пяти местах¹.
Короче: поп довольно странный,
Хотя б и в русских деревнях.
Что делать? Шутка не до смеха!
Пошла ужасная потеха.
Черкес мирной и немирной —
Все бредят мыслию одной:
Скорей исполнить предсказанье,
Закон докучный истребить
И Русь святую на изгнанье
За Дон широкий осудить.
Иные кое-где от скуки
Уже собирались по ночам,
Но им, как дерзким шалунам,
Веревкой связывали руки;

¹ Ничего вымышленного: верный отголосок молвы горцев о чудесах новоявленного пророка.

Другие, несколько умней,
С мирского общего совета
Держались неутралитета
И ожидали лучших дней.
Но больше всех, как якобинцы,
Взбесились жители земли
Под управлением Вали —
Неугомонные тавлинцы;
За ними вслед койсубулинцы.
Шамхал, заботливый старик,
Кричал о казни громогласно,
Но беспокоился напрасно,
И бунт торжественно возник.
Читатель, ежели ты срода
Хотя две книги прочитал,
То непременно угадал
Причину нашего похода.
Что будет далее, прошу
Меня не спрашивать заране:
Ты не останешься в обмане,
Я всё подробно опишу.

Глава 5

Когда по высшему велению
Уничтожались иногда
С лица земного города,
То мудрено ль землетрясенью —
Хочу я физиков спросить —
Аул кумыков навестить,
Разрушить две иль три мечети,
В которых набожно с муллой
Молились девы, старцы, дети
Перед невидимым Аллой —
И вдруг с глухим подземным гулом,
Под грудой камней и столпов,
Пришли в обители отцов?
Вот был с Андреевским аулом:
Шесть суток гром по временам
Из тьмы крошечной по горам
Носился тихо и протяжно,
Потом решительно и важно
Во всех местах загрохотал,
Дома и сакли разметал,
Испортил в крепости строенья,

Казармы, стены, укрепления —
И... очень скромно замолчал!
Сего печального явления
Мы не застали, но следам
Еще живого разрушенья
Дивились с горестию там.
Всё было дико и уныло,
Всё душу странника в тоску
И грусть немую приводило.
Громады камней и песку,
Колонн разбитых пирамиды,
Степные пасмурные виды,
Туман волнистый над горой,
Кустарник голый и порой
Как будто мертвое молчанье...
Два дня томилось ожиданье:
Когда ж идти на явный бой,
Алая смерти благородной?
Раздался снова шум походный —
И полк дружиной боевой
Идет дорогою степной.
Всё те же холмы, горы, реки,
Всё те же ветры и жары,
Сырые, вредные пары
И кукурузные чуреки¹;
Всё те же змеи по полям,
Вода с землею пополам,
Кизиль неспелый, розан дикой;
Черешня с луком и клубникой,
Чеснок, коренья всех родов
И сыр из козых творогов...
Идут... Седая пыль столпами
Летит вослед за казаками;
Мирные всадники толпой
Покойно едут стороной;
Мешаясь с ними, офицеры
Заводят речи — на словах
И пантомимой — о конях,
Кинжалах, шашках; канонеры
За путевым экипажом
Идут с зажженным фитилем;
Джигиты бешеные скачут;

¹ *Чуреки*. Горцы вообще не имеют хлеба, а заменяют его чуреками — лепешками, печенными в золе, из проса, пшена или кукурузы.

Трещат колеса по кремням;
Арбы немазанные плачут;
Везде и крик, и шум, и гам.
Там с крутизны несется фура,
Там, между узких дефилей,
Впрягают новых лошадей.
Но вот аул Темир < -Хан-Шура >
Мелькнул за речкою вдаль;
Вот ближе, ближе... Перед нами...
Прошли... Привал!.. И за стенами
На отдых воины легли.
Вода кипит, огонь пылает;
Быки в котлах, готов обед;
Здоровы все, усталых нет!
Вдруг шум внезапный прерывает
Войнский добрый аппетит.
Глядим... Какой чудесный вид!
Из-за горы необозримой
Необозримою толпой,
Покорной, тихою стопой
Идет народ непокоримый.
Потупя взоры в тишине,
Как очарованы во сне
Питомцы яростные брани;
Обезоружены их длани;
Ни пистолет, ни ятаган
Не красят пышного наряда;
Вся их надежда, вся ограда
Перед начальником отряда —
Их предводитель Сулейман.
Печален, бледен, сын шамхала,
Склоня колена и главу,
Почтил безмолвно генерала,
Ковер раскинут на траву,
И, может быть, в виду народа,
За кратким отдыхом похода,
Судьба пришельцев решена!
Паше бумага подана...
Он пишет... кончил. С уваженьем
Вторично голову склоня,
Садится с ловким небреженьем
На подведенного коня.
Народ, князя, все равным кругом
Его обстали... На коней
Взлетают все... Быстрей, быстрей

Обратно скачут друг за другом.
И, то являясь на горе,
То исчезая за горою,
Как свет на утренней заре
В борьбе с туманной пеленою
Иль при волшебном фонаре
Рои китайских легких теней,
Они сокрылись... Для чего?
Откуда, как и отчего?
Не предложу моих суждений,
Не объясню вам ничего,
Затем что знаю очень мало;
Что знаю мало, не скажу,
А лучше место покажу,
Где всякой тайны покрывало
Всегда прозрачно и светло,
Как изумруд или стекло.
Вот это место дорогое:
Оно на кухне у котлов.
Там всё премудрое земное;
Там ежедневно от голов
Веселых, добрых, беззаботных
И завсегда словоохотных
Легко вы можете узнать
Такие вещи в белом свете,
О коих даже в кабинете
Не часто смеют рассуждать.
Там всё подробно вам докажут,
А в заключение того
С божбой анафемскою скажут,
Что этот слух от самого
Кузьмы Савельича Скотова.
«Коль скоро так, тогда ни слова,—
Все закричат, разиня рот,—
Кузьма Савельич не соврет!»
А кто он? — спросите вы кстати;
Да генеральский человек...
Ужели то вам невдомек?
Таков обычай русской рати.
Прошу пожаловать за мной
К котлам... поближе... так... садитесь.
Вот ложка вам, перекреститесь...
Бульон здоровый и мясной...
Чу!.. О тавлинцах разговоры.

КАШЕВАР 1-й

Да, да, естественные воры!
Коль наших нет, так берегись,—
Башку сорвут, как звери злые;
Отрядом только покажись —
И все приятели мирные.

КАШЕВАР 2-й

Весь в красном, сколько серебра
На шароварах и бешмете!

КАШЕВАР 1-й

Как не иметь ему добра,
Порезав нас, на белом свете?

МУШКАТЕР
(раскурывая трубку)

Сперва словами улещал,
Что бунтоваться уж не станет,
А после клятву написал.

ГОЛОСОВ 10

Небось!.. Московских не обманет!..

КАШЕВАР 1-й

Я, говорит он, воевать
С царем российским не намерен,
А чтоб он был во мне уверен,
Готов ему присягу дать,
И серебра, и много злата.
А есть в горах у нас два брата,
Которых трусит весь Кавказ,—
Они воюют против вас.

КАШЕВАР 2-й
(из-за котла)

Уйдем не этаких нахалов.

КАШЕВАР 1-й

А я, дескать, Мирза Шамхалов,
Ваш вечный данник и слуга!

МУШКАТЕР

Забудет гневаться... Ага!..
А сколько верст еще до места?

КАШЕВАР 1-й

Да что! С хорошего присеста
Часа в четыре мы дойдем.

КАШЕВАР 2-й

И всех их завтра перебьем!
Да, если б что-нибудь под руку
Случилось, братцы, мне поймать,
Уж то-то б стал я разгонять
На кухне тягостную муку,
Всегда б был навеселе, пьян!

КАШЕВАР 1-й

Гей, вы, вставайте, барабан!

Котлы, котлы! Как сходны вы
С столами светских сибаритов,
Где пресыщаются умы.
За недостатком appetitов
Болтаньем сплетницы-молвы!
А вы, одутливые бары,
Среди поклонников своих —
Желудков тощих и пустых, —
Вы в полном смысле кашевары!

Глава 6

Вот наконец мы и пришли
Под знаменитый Эрпели!
В пяти частях моих записок
Представя вкратце весь поход,
Я должен здесь, как Вальтер Скотт
Или Байрон, представить список
С живых разительных картин
Вам, мой любезный господин,
Иль вам, почтеннейшая дама
(Которым вместо порошков
Смекнула ласковая мама
Поднести тетрадь моих стихов.
Рецепт действительный, не спору).
Но, к моему большому горю,
Я должен правду вам сказать,
Что не умею рисовать.
Учился прежде у Визара
Чертить контуры рук и ног,

По смелой живописи дара
Понять, как Й <оге> ля урок,
Подобно У <тки> ну, не мог.
Простите ж мне мое незнание —
Ему взамену есть старание;
Мой безыскусный карандаш
Так точно верен без поверки,
Как на устах у лицемерки
Всегда готовый «Отче наш».
Картина первая: на ровном
Пространстве илистой земли
Стоит в величии огромном
Аул тавлинцев — Эрпели.
Обломки скал и гор кремнистых —
Его фундамент вековой!
Аллеи тополей тенистых —
Краса громады строевой!
Везде блуждающие взоры
Встречают сакли и заборы,
Плетни и валы; каждый дом —
Бойница с насыпью и ровом.
Над разорвавшейся рекою,
Бегущей с горной высоты,
Искусства чудного рукою
Везде устроены мосты;
Водовороты, переходы,
Каскады, мельница, отводы —
Всё дышит резкой наготой
Природы дикой и простой!
В ауле шум и конский топот,
Молчанье жен и детский хохот;
На кровлях, в окнах, у ворот
Кипящий ветренный народ,
Богато убранный, одетый,
Как кизильбаши персиян;
Там — оттоманский ятаган,
Там — ружья, сабли, пистолеты
Блестят, сверкают серебром
В своем параде боевом;
Здесь — коней странные приборы:
Луки, уздечки, стремяна;
Бород раскрашенных узоры,
Куски материй, полотна,
Едва скрывающие плечи
Седых, запачканных старух,
И лай собак на русский дух,

И крик, и визг, и сцены встречи,
И говор волн, и ветра гул —
Вот скопированный аул!..
Идем — и вид другой картины:
Среди возвышенной равнины,
Загроможденной с двух сторон
Пирамидальными горами,
Объявших гордыми главами
С начала мира небосклон,
Разбиты белые палатки...
Быть может, прежние догадки
Теперь решились: это он —
Второй наш добрый батальон!
Так, он — свободный, незапертый,
Как утверждали мы сперва,
Но вот еще здесь лагерь!.. Два!..
И три!.. Наш будет уж четвертый...
Идет всё далее отряд...
Вот эполеты забелели.

.
Бутырцы красные блестят...
Московцы странно говорят...

.
«Какой же, братцы, это полк?»
— «Куринский!» — некто отвечает...

.
И начался тихонько толк!
Меж тем особу генерала
Два сына старго шамхала,
Со свитой пышною князей
И благородных узденей,
С благоговеньем окружали
И на челе его читали
И мир и грозный приговор —
Великой правды договор.
Поборник древней русской славы,
Как полководец величавый,
Он привлекал к себе сердца;
В нем зрели с чувством удивленья
Два неразрывные стремленья:
И властелина, и отца.
Что мыслил он? Что отражалось
Во глубине его души?..
Не смеем знать... нам оставалось
Молить всевышнего в тиши;

О чем молить — другая тайна:
Ее постигнуть может тот,
Кто духом истый патриот;
Для злых она необычайна.

О Эрпели, о Эрпели!
И ты уроком для земли!
И ты, быть может, для поэта
В другие дни, в другие лета
Послужишь пищею живой!
Ты воскресишь воспоминанье
О бурях сердца, о страданье
Души, волнуемой тоской,
Под игом страсти роковой!
Быть может, ежели холера
Меня в червя не обратит,
Походный грифель мушкетера
В карманной книжке сохранит
Твои леса, ручьи и горы,
И друга искреннего взоры
Прельстятся с правнуком моим
Изображением твоим.
Я расскажу им в час досужный
Об эрпелийской красоте
И эпизод довольно нужный
Не пропущу о баранте,
Кафир-Кумыке, Казанищах,
Где был второй наш батальон,
И о любезнейших дружищах,
Которым всё поведал он
Под сенью мирных балаганов:
Плененье горских пастухов
Со многим множеством баранов
И полновесных курдюков...
Тьмы разных случаев, тревоги
И приключения в дороге...
Все эти песни хороши,
Но вот что в голову мне входит:
Подчас за разум ум заходит,
А я теперь хоть не пиши,
Заняться вздумал я мечтою
Нелепой, странной и пустою —
О счастье будущих времен,
А настоящие оставил,

Тогда как первый батальон
Еще палаток не поставил.
Итак, моя галиматъя,
Adieu¹ до будущего дня!

Глава 7

Не зная исстари властей,
Повиновенья и князей —
Вина мятежных покушений,
Бунтов и общего вреда, —
В кругу шамхаловых владений
Гнездилась дикая орда.
На дне вертепов неприступных,
Таясь, как новый сатана,
Таить не думала она
Надежд и замыслов преступных:
Взирая гордо на позор
Бунтовщиков окружных гор,
Смиранных вдруг единым словом,
И, ненавидя мир и дань,
В ожесточении суровом
Она готовилась на брань.
Ни жребий явный истребления,
Ни меры кроткия главы
Победных войск и ополченья
В виду защитной их горы,
Ни увещания тавлинцев

.
Не укротили роковой
Отважный бунт койсубулинцев.
С вершин утесов на отряд
Они смеются беззаботно.
Готовят пули и охотно
Кинжалы длинные острят.
Ни путь широкий, ни тропины
На их высокие стремнины
Стопы пришельцев не ведут.
Пред любопытными очами
Стоит с гранитными стенами
Природной крепости редут,
Недосыгаемый, огромный.
И за оградой вековой,

¹ Прощай (фр.). — *Ред.*

В хаосе пронасти бездонной,
Как тартар буйный и живой,
Кипят свободные аулы...
Кто видел легкие черты
С картины адской суеты
В заводах Брянска или Тулы,
Где неумолчной чередой
Гудят и стонут над водой
Железо, медь, чугун и камень,
Где угли, искры, жар и пламень
Блестят, сверкают и шумят,
Где гвозди, молоты, машины
И рук искусственных пружины
В насильном действии звучат
И поражают удивленьем
И свежий слух, и свежий взор, —
Того незначащим сравненьем
Знакомлю с видом этих гор.
Дыша слепым ожесточеньем,
Там всё кипит вооруженьем:
Как муравьиные рои,
Мелькают всадники и кони,
Куют джелоны, сбруи, брони,
Чеканят ружья, лезвии;
Везде разьезды, шум и топот;
В глухой дали отзывный грохот,
Огни, пальба, воинский крик
И в кольцах грудь — на русский штык.
Они не знают нашей встречи,
Им незнаком открытый бой;
Питомцы наглых битв и сечи,
Они не зрели над собой
Свистящих ядер и картечи.
Но рати северной приход
Даст брани новый оборот!

.
.
. В восьми верстах
От гордой вражьей цитадели,
Среди равнины на холмах
Шатры отряда забелели.
Здесь видим дружные полки
С берегов Москвы благословенной,
А там — граненые штыки
Пехоты русской отдаленной,

Из заграничных городов,
Всегда готовые на зов
Царя, начальников и чести;
Там, гибель верная врагов,
Алая крови, бед и мести,
Стоит ватага казаков;
А там за лагерем походным
Ибрагим-бек и Ахмет-хан,
Князя от крови мусульман,
Пылая рвением благородным,
Из разных стран под Эрпели
Свои дружины привели.
У них кумыки и тавлинцы
С свинцом и сталью на конях,
И с ятаганами в боях
Пехота горцев — мехтулинцы.
У вод холодного ручья
Аул летучий их мятется,
И знамя розовое вьется
Над белой ставкою вождя.
Все ждут решительной осады,
Все ждут и смерти и награды!..
И вот на утренней заре
Отрядом легким батальоны
С весельем двинулись к горе!
Пути не видно... Нет препоны!
Война и слава не без слуг:
С подошвы горной сотни рук
Взрывают новую дорогу!
Идут и роют... Впереди
Зияют пушки роковые,
Внутри рядов и позади
Кинжалы, ружья боевые
И беспардонные штыки!
Вот пуля свищет, вот другая!..
Идут!.. Вот залп из-за кремней
Раздался, сверху пролетая!..
Идут, работают смелей!..
Уж высоко! Туман нагорный
Густеет, скрыл средину гор;
Темнеет день, слабеет взор,—
Идут отважно и упорно.
Внезапный холод, ветер, дождь
Приводят в трепет нестерпимый,—
Идут стеной неотразимой!
Среди их друг и бодрый вождь!

Вот солнце яркими лучами
Блеснуло вновь. Туман исчез...
Они вверху, и пред глазами,
С огромной массой небес,
Как в неразрывной, длинной цепи,
Слились, казалось, горы, степи,
Холмы, долины. Целый мир
Представил чувствам дивный пир...
Безмолвно воины взирают
На точку светлую земли;
Едва заметные, мелькают
Под ними стан и Эрпели.
Вдали, под крепостию Бурной,
Синеет моря блеск лазурный,
Ландшафт несвязный дальних стран,
И вокруг — воздушный океан!..
Поражены недоумением,
Они бросают мутный взор
Во глубину ужасных гор,
Глядят... И с радостным движеньем
От поразительных картин
Отряд отхлынул от стремнин!
Там — света нового пространство,
Мифологическое царство
Подземных теней и духов;
Там елисейские долины,
О коих исстари веков
Не знают русские дружины,
Цветут средь рощей и дубров;
Там по гранитам зеленели
Кедровник, пихта, ольха, ели;
Там, роя камни и песок,
Сулак, как мелкий ручеек,
Бежал извилистой струею;
А там огромной полосой
Вдали тянулись над водой
Скалы безбрежные грядой;
И тридцать шесть аулов бранных,
Покрытых мрачной тишиной,
Как сонмы демонов изгнанных,
В тени чернели рассыпной.
Глаза, очки, лорнеты, трубы,
Носы, фуражки, уши, губы —
Всё устремилось с высоты
В страну ужасной красоты.

Глядели, думали, дивились,
Кричали, охали, крестились
И, изумленные, сошли
С полнеба к жителям земли.
Насилу кончил! Слава богу!
Устал! Позвольте замолчать...
Прорыв на первый раз дорогу,
Поэму буду продолжать.
Всего мучительней на свете
Сурьезный выдержать рассказ,
А я — имейте на примете —
Перо туплю не на заказ,
Без подлой лести и прикрас.
Не знаю, строгая цензура
Меня осудит или нет;
Но всё равно — я не поэт,
А лишь его карикатура.

Глава 8

«Ну-ну, рассказчик наш забавный, —
Твердят мне десять голосов, —
Поведай нам о битве славной
Твоих героев и врагов!
Как ваше дело, под горою?»
— «Готов! Согласен я, пора!
Итак, торжественно со мною
Кричите, милые: ура!»
— «Ба! И сраженье и победа,
Как после сытного обеда
Десерт и кофе у друзей!
Так скоро?» — «Ровно в десять дней
Покорность, мир и аманаты —
И снова в Грозную поход!»
— «Какой решительный расчет,
Какие русские солдаты!
Но как, и что, и почему?»
Вот объяснение всему:
Койсубулинская гордыня
Гремела дерзко по горам;
Когда ж доступна стала нам
Их недоступная твердыня
Посредством пушек и дорог
(Чего всегда избежи бог),

Когда злодеи ежедневно,
Как стаи лютые волков,
На нас смотрели очень гневно
Из-за утесов и кустов,
А мы, бестрепетною стражей,
Меж тем работы берегли
И, приучаясь к пуле вражьей,
Помалу вверх покойно шли,
И скоро блоки и машины
Готовы были навестить
Их безобразные вершины,
Чтоб бомбой пропасть осветить, —
Тогда военную кичливость
У них рассудок умирил
И непробудную сонливость
Бессонный ужас заменил.
Сначала, бодрые джигиты,
Алкая стычек и борьбы,
Они для варварской пальбы
Из-под разбойничьей защиты
Приготовляли по ночам
Плетни с землею пополам,
Дерев огромные обломки
И, давши залп оттуда громкий,
Смеялись нагло русакам,
Стращали издали ножами
С приветом: «яур» и «яман» —
И исчезали, как туман,
За неизвестными холмами;
Но после, видя жалкий бред
В своем бессмысленном расчете,
Они от явных зол и бед
Все были в тягостной заботе.
Едва зари вечерней тень
Прогонит с гор веселый день
И ляжет сумрак над полями —
Никем не зримыми толпами
В ночном безмолвии они
Разводят яркие огни,
Сидят уныло над скалами
И озирают русский стан,
Который, грозный, величавый
И озарен луной кровавой,
Лежит, как белый великан.

С рассветом дня опять в движение
Неугомонная орда:
Отрядов сменных суета
И новых пушек появление
Своей обычной чередой —
Всё угрожает им бедой,
Неотразимую осадой!
Невольный страх сковал умы
Детей отчаянья и тьмы
За их надежною оградой...
И близок час! Готов удар!
Кипит в солдатах бранный жар!
Полки волнуются, как море!
Последний день... и горе, горе!..
Но вот — внезапно мирный флаг
Мелькнул среди ущелий горных;
Вот ближе к нам — и гордый враг,
С смиреньем данников покорных,
Идет рассеять русский гром,
Проя с потупленным челом
Статей пощады договорных!
Статьи готовы, скреплены...
Народов диких старшины
Решают участь поколений!
Восходит светлая заря!
В параде ратные дружины:
Койсубулинские стремнины
Под властью русского царя!
Присяга нового владенья —
И взорам тысячей предстал
Победоносный генерал
Без битв и крови ополченья!..
Цветут равнины Эрпели!
Покой и мир в аулах бранных!
Не видят более они
Штыков отряда троегранных!
В своих утесах вековых
Не слышат пушек вестовых!
Громада зыбкая тумана,
Молчанье, сон и пустота
Объемлют дикие места
Надолго памятного стана!
И стан под Грозною стоит...
Но дума, дума о прошедшем
Невольно сердце шевелит;

В бреду поэта сумасшедшем
Я дни минувшие ловлю
И, угрожаемый холерой,
Себя мечтательною верой
Питать о будущем люблю!
Поклонник муз самолюбивый,
Я вижу смерть невдалеке,
Но всё перо в моей руке
Рисует план свой прихотливый:
Сойдя к отцам вослед других,
Остаться в памяти иных!
Быть может, завтра или ныне,
Не испыта <вши> вражьих пуль,
Меня в мучной уложат куль
И предадут земной пустыне!..
В глухой, далекой стороне
От милых сердцу я увяну...
В угодность злобному тирану,
Моей враждующей судьбе!
Увидя мой покров рогожный,
Никто ни истинно, ни ложно
Не пожалеет обо мне.
Возьмут, кому угодно будет,
Мои чевяки и бешмет
(Весь мой багаж и туалет) —
И всякий важно позабудет,
Кто был их прежний господин!
А панихиды, сорочин,
Кутьи и прочих поминаний
Хоть и не жди!..
Вот мой удел!
Его без дальних предсказаний
Я очень ясно усмотрел!
Что ж будет памятью поэта?
Мундир?.. Не может быть!.. Грехи?..
Они оброк другого света...
Стихи, друзья мои, стихи!..
Найдут в углу моей палатки
Мои несчастные тетрадки,
Клочки, четвертки и листы,
Души тоскующей плоды
И первой юности проказы...
Сперва, как должно от заразы,
Их осторожно окурят,

Прочтут строк десять втихомолку
И, по обычаю, на полку
К другим писцам переселят...
А вы, надежды, упования
Честолюбивого создания,
Назло холере и судьбе,—
Вы не погибнете с страдальцем:
Увидит чтец иной под пальцем
В моих тетрадках *А* и *П*,
Попросит ласковых хозяев
Значенье литер пояснить —
И мне ль забвенным, мне ли быть?
Ему ответят: «Полежаев...»
Прибавят, может быть, что он
Был добрым сердцем одарен,
Умом довольно своенравным,
Страстями, жребием бесславым
Укор и жалость заслужил;
Во цвете лет — без жизни жил,
Без смерти умер в белом свете...
Вот память добрых о поэте!

1830



ЧИР-ЮРТ

А < юбезный > д < руг >

Среди ежедневных стычек и сражений при разных местах в Чечне, в шуму лагеря, под кровом одинокой палатки, в 12 и 15 градусов мороза, на снегу, воспламенял я воображение свое подвигами прошедшей битвы, достойной примечания в летописях Кавказа, и в 11 дней написал посылаемый к тебе «Чир-Юрт».

*А. П. А < озовскому >
Крепость Грозная
25 мая 1832 года*

Песнь первая

Цель бытия души высокой,
Удел и жизнь полубогов,
Сияет слава в тьме веков,
В пучине древности глубокой!
Подобно юной красоте
В толпе соперниц безобразных,
Подобно солнцу в высоте
Перед игрой лучей алмазных,
Она блестит, она горит
Без украшений и убранства,
Среди бесплодного тиранства
Своих ничтожных эвменид.

Где тот, чью душу не волнует
Войны и славы громкий глас?
Чье сердце втайне не тоскует,
Внимая воина рассказ
О наслажденьях жизни бранной,
Кровавых сечах и боях,
О вражьих пулях и мечах
И смерти, всюду им попранной?
Кто не стремится, не летит
Душой за взором и за словом,
Когда усасть инвалид
На языке своем суровом,
Но верном, как граненый штык,
С которым к правде он привык,
Передает детям иль внукам
Любимый ключ к своим наукам —
Большую повесть прежних лет?

О, знай, питомец Аполлона,
Там, где витийствует Беллона,
Ничтожен гений и поэт!

Есть много стран под небесами,
Но нет той счастливой страны,
Где б люди жили не врагами,
Без права силы и войны!
О, где не встретим мы способных
Основы блага разрушать?
Но редко, редко нам подобных
Умеем к жизни призывать!..

Младые воины Кавказа,
Война и честь знакомы вам;
Склоните слух к моим словам,
К словам кавказского рассказа!
Я не усастый инвалид,
Наследник песней Оссиана;
Под кровом горного тумана
Мне дева арфы не вручит...
Но ропот грусти безотрадной,
Пиры кровавые мечей
Провозгласит вам, славы жадный,
Певец печали и страстей!
Добыча юности безумной
И жертва тягостная дня,
Я загубил уже в подлунной
Состав весенний бытия.
Неукротимый и мятежный,
Покоя сладкого злодей,
Я потонул в глуби безбрежной
С звездой коварною моей!
На поле чести, в бурях брани
Мой меч не выпадет из длани
От страха робостной души,
Но, вечной грустью очарован,
Наедине с собой, в тиши,
Мой ум бездействен, дух окован
Цепями смерти вековой,
Как гений злобы роковой!
Забытый, пасмурный и скучный
Живу один среди людей,
Томимый мукою своей,
Везде со мною неразлучной...

Безжалостный, свирепый взор,
Привет холодный сострадания —
Всё новой пищей для страдания,
Всё новый, вечный мне укор!..
Одни тревоги и волненья,
Картины гибели и зла —
Дарят минуты утешенья
Тому, кто умер для добра...
Так, уничтоженный для жизни,
Последней кровью для отчизны
Я жажду смыть мое пятно!..
О, если б некогда оно
Исчезло с следом укоризны!
Военный гул гремит в горах;
Клятвопреступный дагестанец,
Лезгин, чеченец, закубанец
Со мною встретятся в боях!
Не изменю царю и долгу,
Лечу за честию везде
И проложу себе дорогу
К моей потерянной звезде!

Меж тем под ризою ночною
Шумит в разбойничьем лесу
С своей обычной быстротою
По голым камням Араксу.
Но искры бунта с новой силой
Пророк неистовый раздул,
И стал пустынною могилой
Мятежных подданных аул.
Всё пусто в нем! Свирепый пламень
Пожрал жилище беглецов;
Обломки бревен, черный камень
И пепел брошенных домов
Гласят об участи врагов!

Там, где под русскою защитой
Недавно цвел веселый мир,
Лежит возникший и разбитый
Чеченской вольности кумир.
Поля и нивы золотые —
Удел богатой тишины —
В места унылые, пустые
В единый миг обращены.

Их топчет всадник беспощадный
Своим гуляющим конем,
Меж тем как хищник кровожадный
В оцепенении немом
Клянет отмстительную руку
Неодолимого бойца
И видит, с жалостью отца,
Тоску, отчаянье и муку
Своей жены, своих детей,
Которых он, изнеможенных,
Нагих и голодом изнуренных,
Сокрыл в пристанище зверей...

Перед аулом над рекою,
В огнях, как пламенный вулкан,
Стоит громадой боевою
Каратель буйных — русский стан.
Немноголюдные дружины
В летучих ставках и шатрах
По скату вражеской долины
Окрест себя наводят страх!
Нет, око видит с изумленьем
В пришельцах русских горсть людей,
Но эта горсть с пренебреженьем
Пойдет на тысячи смертей!
Не в первый раз под их стопами
Хрустит в лесах осенний лист,
Не в первый раз над головами
Они внимают пули свист!
То дети чести безукорной,
Владыки сабли и штыка.
Мятежник, хищник непокорный
Их знает — эти три полка!..
Всегда в крови на вражьем трупе,
Всегда с победой впереди:
При Эндери, при Маюртупе,
Под богатырским Кошкильди!
Вблизи рассыпана ватага
Неукротимых ездоков,
Казачья буйная отвага,
Краса линейных удалцов.
Татарский вид, вооруженье,
Страны отечественной грудь —
Всё может в рыцаря вдохнуть
Боязни тайной впечатленье!

Взращенный в сечах на коне,
Он дышит смертью на войне!..
Всегда в трудах, всегда в движенье
Сия блуждающая рать!
Ее удел и назначенье —
Закон и правду охранять!
В стране гористой печенега,
Где житель русского села
Без верной шашки у седла
Небезопасен от набега;
Где мир колеблемый станиц,
Ненарушимость достояний,
И святость прав, и честь девиц
Нередко жертвою стяжаний
Неумолимых кровопийц;
Где беззащитные трепещут,
Где в тишине полночной блещут
Ножи кровавые убийц, —
Необходим бесстрашный воин,
Опора слабых, страх врага,
И, верный долгу, он достоин
Из рук бессмертия — венка!..

Взяла довольно храбрых воев
Неукротимая страна;
Молва гласит нам имена,
И жизнь, и подвиги героев.
Довольно трупов и костей
Пожрали варварские степи,
Но ни огонь, ни меч, ни цепи
Не уничтожили страстей
Звероподобного народа!
Его стихия — кровь и бой,
Насильство, хищность и разбой,
И безначальная свобода...

Ермолов, грозный великан
И трепет буйного Кавказа!
Ты, как мертвящий ураган,
Как азиатская зараза,
В скалах злодеев пролетал!
В твоём владычестве суровом
Ты скиптром мощным и свинцовым
Главы Эльбруса подавлял!..
И ты, нежданный и крылатый,

Всегда неистовый боец,
О Греков, страшный — и заклтый
Кинжалом мести наконец!
Что грохот вашего перуна?
Что миг коварной тишины?
Народы Сунжи и Аргуна —
Доныне в пламени войны;
Брега Койсу, брега Кубани
Досель обмыты кровью брани!
Там, где возникнул Бей-Булат,
Не истребятся адигеи;
Там выются гидами злодеи
И вечно царствует булат!

Он здесь, он здесь, сей сын обмана,
Сей гений гибели и зла,
Глава разбоя и Корана,
Бич христиан — Кази-Мулла!
«Пророк, наследник Магомета,
Брат старший солнца и луны...» —
Вот титла хитрого атлета
В устах бессмысленной страны!..
Он чужд пронырства лицемера:
Оно не нужно для глупцов;
Ему довольно пары слов:
Так бог велит, так хочет вера!
Он всё для горцев: судия,
Пророк, наставник, предводитель
И первый — прав и бытия
Своих апостолов гонитель!..
Там, обольщая Дагестан,
Он грабит русского вассала,
И слабый подданный шамхала
Влечется силою в обман!..
Граната в парк дохнула адом...
Скалы — на воздух!.. Гром, огонь
Взвились над морем!.. Всадник, конь —
Всё пало ниц кровавым градом...
Пророк исчез с своим отрядом...
Там он, разлив как океан
Свои мятежные народы
Вкруг малой горсти россиян,
Грозит бедой, отводит воды...
Но крепость русская тверда:
Не стонет воин изнуренный,

Сверкает штык ожесточенный —
И льется жаждущим вода!
Что ж гений замыслов преступных,
Посланник мнимый божества?
С гремящей славой торжества
Он оставляет недоступных
И поучает мусульман
Перед началом первой битвы
Читать прилежнее молитвы
И верить твердо в Алкоран...

Вот тайна властвовать умами!
Вот легкоеверие людей,
Всегда готовое мечтами
Питать волнение страстей!..
Надеждой ложной и безумной
Лукавец очи ослепит,
И сонм невежд хвалою шумной
Свою погибель одобрит!
Уже тогда, как грозно, грозно
Накажет нас правдивый меч,
Хотим мы с робостью пресечь
Удар отмстительный, но поздно!..
Тогда в ужасной наготе
Предстанет нам внезапно совесть,
И ум, блуждавший в темноте,
Прочтет ее живую повесть!

О, для чего я на себе
Влачу раскаяния бремя?
Зачем счастливейшее время
Я отдал бурям и судьбе,
Несправедливой, своенравной,
Убийце пылкого ума?..
Ужель последней ночи тьма
Застанет труп мой, всё бесславный,
Всё ненавистный для людей,
Отраду вранов и червей?..

Меж тем под ризою ночью
Шумит в разбойничьем лесу
С своей обычной быстротою
По голым камням Араксу.
Мелькая в нем светло и стройно,

Луна плывет в туманной мгле;
Дружина русская покойно
Стоит на вражеской земле...
Ночлег на месте — нет сомненья...
В кострах чеченские дрова,
Вокруг забота, и движенья,
И песни звучные слова...
Иные спят, другие бродят,
В кружках толкуют кой о чем;
Пикет сменяют, цепь разводят,
Смеются, вздорят о пустом.
В одной палатке за стаканом
Видна мирская суета;
В другой досужная чета,
Засев en grand¹ над барабаном,
Преважно судит о *плие*;
А третий зритель машинально
Им поясняет пунктуально,
Что даму следует на *пе*.
«У всякого своя охота,
Своя любимая забота», —
Сказал любимый наш поэт,
А потому сомненья нет,
Что часто в лагере походном
Мы видим так же точно свет,
Как и в собрание благородном.
Но вот различие: в одном
Вернее, нежели в другом!..
Тьфу — как несбыточны догадки!
Лишь только даму в третий раз
На *пе* загнули, вдруг приказ:
Снимать немедленно палатки!
Приказ исполнен в тишине;
Багаж уложен, цепи сняты;
В строю рассчитаны солдаты,
И всадник в бурке на коне...
Поход. Марш, марш по отделениям!
Развились лентой казаки,
И с непонятным впечатленьем
Безмолвно тронулись полки...
Заряд на полке, всё готово!..
На сердце дума: верно, в бой!..

¹ Основательно (фр.). — *Ред.*

Но вопросительного слова
Не знает русский рядовой!
Он знает: с нами Вельяминов!
И верит счастливой звезде!
Отряд покорных исполинов
Ему сопутствует везде.
Он знал его давно по слуху,
Давно в лицо его узнал!..
Так передать отважность духу
Умеет горский Аннибал!..
Он наш, он сладостной надежде
Своих друзей не изменил;
Его в грозу войны, как прежде,
Нам добрый гений подарил!
Смотрите, вот любимый славой!..
Его высокое чело
Всегда без гордости светло,
Всегда без гнева величаво!..
Рисуют тихо думы след
Его пронзительные взоры...
Достойный видит в них привет,
Ничтожный — чести приговоры!..
Он этим взором говорит,
Живит, терзает и казнит...
Он любит дело, а не слово...
С душою доброю — он строг!
Судья прямой, но не суровый,
Бесстрастно взыщет он за долг;
За чувство истинной приязни
Он платит ласкою отца;
Никто из рабственной боязни
Не избегал его лица.
Всегда один, всегда покоен;
Походом, в стане пред огнем
С замерзлым усом и ружьем
Нередко греется с ним воин...
Куда ж поход во тьме ночной?
Наш полководец не обманщик,
Его ответ всегда простой:
«Куда ведет нас барабанщик».

Но мы не первый раз в горах!
Ведет в Внезапную дорога;
От ней в двенадцати верстах
Аул. Мы знаем, где тревога!

Идем. Уж полночь. Огоньки
С высот твердыни замелькали;
По камням речки казаки
С главой дружины проскакали;
За ними вслед полки вперед,
Артиллеристы на лафеты...
Патроны вверх, полураздеты,
Ногой привычною мы вброд.
Вот на горе перед аулом...
«Вперед!» — «А! верно, на Сулак? —
Перелилось болтливым гулом. —
Ведь говорил же нам казак!»

Давно ль, расставшись с Дагестаном,
На этом месте, о друзья,
Наскуча длинным рамазаном,
Байрам веселый встретил я!
Тогда всё пело беззаботно
В деревне счастливых татар;
В то время русские охотно
Желали видеть их базар.
Мирной чеченец, кабардинец,
Кумык, лезгин, койсубулинец,
И персиянин, и еврей,
Забыв вражду своих обрядов,
Пестрели здесь, как у друзей,
Красою праздничных нарядов.
В толпе андреевцев, жидов,
Смотря на разные проказы,
Кто не купил себе обнов
Тогда на лишние абазы?
Один с ружьем приходит в стан,
Другой под буркою мохнатой,
Тот шашкой хвалится богатой,
А этот кажет ятаган.
Всего так много, так довольно,
Товар Востока налицо,
И, признаюсь, меня невольно
Пленило горское кольцо
И трубка — ах! какая трубка!
Ее разбила у меня
Потом невинное дитя,
Одна девчонка-душегубка!
Но верьте, я не пропущу
Смешной каприз такого роду —

И по пятнадцатому году
Шалунье славно отомщу...
Теперь где лица, где наряды?
Где разноцветный их базар?
Нигде задумчивые взгляды
Не встретят ласковых татар. -
Разбойник яростный в пустыню
Торговый город обратил
И незаконную гордыню
На пепле саклей водворил.
Одни потомки Авраама
Покорны русскому мечу
И в укреплениях Ташкичу
Ждут смело нового байрама.

Верхи Андреевой горы
Давно сокрылись для отряда;
Ясней туманная громада,
Сырее влажные пары.
Долина глухо вторит топот
Шагов фаланги боевой,
И зашумел перед зарей
Волны Койсу протяжный ропот.
Вот прояснился небосклон...
Река вблизи. На берег прямо
Кавалерийский легион
Коней испуганных упрямо
Торопит в воду. Залп огней
Раздался вдруг из камышей...
Покойно, тихо, без ответа
На ласку вражьего привета
Плывут и едут казаки...
Вторичный залп... Опять молчанье...
В волнах разлившейся реки
И гул, и крик, и коней ржанье!
Вода свирепствует, кипит,
Буграми в рать отважных хлещет;
Товарищ всадника трепещет,
И леденеет, и храпит...
Вздывая морду, друг ретивый
В стихии грозной тонет с гривой,
Дрожит, колеблется, как челн,
Несет заветного рубаку
Или, предавшись злобе волн,
Бессильный мчится по Сулаку...

Но солнце блещет в вышине.
И русской пушки гул мятежный
Гласит на вражьей стороне
Чир-Юрта жребий неизбежный!

Вот он, отважнейший в горах,
Как Голиаф неодолимый,
Стоит в красе необозримой
На диких каменных скалах!
Возникший в ужасах природы,
Надменный крепостью своей,
Он вечный воин мятежей
И страж разбойничьей свободы!
Назло примерной доброте
Вассал и друг неблагодарный,
Как часто в наглой черноте
Питал он замысел коварный!
Острил убийственный кинжал
На благодетельную руку
И ей же с робостью вверял
Свою измену, жизнь и муку!
Но он придет, сей лютый час!
Злодей проснется без отрады,
И будет тщетно скорбный глас
Просить отверженной пощады!..

О, как безумна, как дерзка
Неустрасимость смельчака!
Он презирает наши пули;
Смеясь, готовится к войне,
И между тем в его ауле
Дымятся сакли в тишине...
Когда жена его и дети
Стремятся в ужасе к мечети
И в прахе льют потоки слез,
Кичливый варвар с небреженьем
Дарит их ложным утешеньем
Иль взором гнева и угроз!
Слепец, уверенный тираном
В своей надежде роковой,
Клялся торжественно Кораном,
Мечом и бритой головой
Спасти могилы правоверных
От поругания собак
И кровью воинов неверных
Насытить яростный Сулак!

Но не преступного вассала
На жертву русскому обрек
Святой губитель их, пророк...
О нет, и подданных шамхала,
Мятежных жителей Тарков,
И маюртупских беглецов
Он здесь собрал для истребления!
И я клянусь своим ружьем:
Кази-Мулла с большим умом
И вправе требовать почтения!
Его призывный к брани клич —
Всегда злодеям новый бич!

Смотрите, вот они толпами
Съезжают медленно с холмов
И расстилаются роями
Перед отрядом казаков.
Смотрите, как тавлинец ловкой
Один на выстрел боевой
Летит, грозя над головой
Своей блестящею винтовкой!
С коня долой — удар, и вмиг
Опять в седле, стреляет снова,
К луке узорчатой приник —
И нет наездника лихого!
Вот двое пеших за бугром...
На сошки ружья, приложились...
Три пули свистнули кругом...
Они ответили и — скрылись!
Но пусть картечью и ядром
Пугают робких! Что за дума
У полководца на челе?
Среди Сулака на седле
Взирает мрачно и угрюмо
На переправу генерал.
По грудь в воде, рука с рукою,
Неверной, шаткою ногою
Пехотный сонм переступал;
Река, как ад с отверстым зевом,
Крутя валы с ужасным ревом,
Твердыню храбрых облила;
За каждый шаг — назад, стеною,
Дружину с ношей боевою
Волна свирепая гнала...

Собрав измученные силы,
 Без слов, но с бодрою душой,
 Они встречают мрак могилы
 И образ смерти пред собой!
 Один упал, другой слабест...
 Шатнулся, пал... и в целый рост!
 На помощь — кони: тот за хвост,
 Другой на гриве цепенеет!..
 Ныряют сабли и штыки,
 Несутся пушки с лошадьями,
 Летает гибель над главами —
 Идут бестрепетно полки!..

Всегда задумчивый, глубокой
 Ценитель сердца и людей,
 Но, затаив в душе высокой
 Волненье чувства и страстей,
 Не изменя чела и взора,
 Он вдруг решается... «Назад!» —
 Он рек — и силу приговора
 Покорно выполнил отряд.

Песнь вторая

Да будет проклят злополучный,
 Который первый ощутил
 Мученья зависти докучной:
 Он первый брата умертвил!
 Да будет проклят нечестивый,
 Извлекший первый меч войны
 На те блаженные страны,
 Где жил народ миролюбивый!..

.

Печальный гений падших царств,
 Великой истины свидетель:
 Закон и меч! — Вот добродетель!
 Единый меч — душа коварств!

Доколь они в союзе оба,
Дотоль свободен человек;
Закона нет — проснулась злоба,
И меч права его рассек!..

Вот корень жизни безначальной,
Вот бич любимый сатаны!
Вина разбоя и войны,
Кавказа факел погребальный!..
И ты сей жребий испытал,
Чир-Юрт отважный, непокорный!
Ты грозно бился, грозно пал
С твоей гордынею упорной!

О, как ужасно разлилось
Меча губительного мщенье!
Как громко, страшно раздалось
В туманах гор твое паденье!..
И час пробил! Чир-Юрта нет!
В стенах Чир-Юрта сын побед,
Огонь, гроза и разрушенье!..

Толпа врагов издалека
Взирала с радостью шумной
На отступление врага.
Оно надеждою безумной
Питало ярость смельчака;
Оно вещало суеверным
Определение небес:
«Сам рок противится неверным,
И гяур мстительный исчез!»
Сильней отвага горделивца,
Спесивей варварская честь,
И мчит по саклям кровопийца
Никем не слыханную весть!..
Какой восторг и изумленье
И жен, и старцев, и детей!
Какое бурное волненье
Среди народных площадей!..
«Я здесь, рабы мои! Я с вами! —
Вещает глас среди толпы. —
Я вам безгрешными устами
Открою таинства судьбы!
Как волны моря от гранита,
От вас отхлынули враги,

Но сила дивная реки
Была небесная защита!
Внимайте мне: придут полки,
Придут сюда за палачами,
И меч невидимой руки
Сразит их вашими мечами!..
Молите бога! Сильный бог
Приемлет теплые молитвы,
Но для неправедных жесток
И страшен он на поле битвы!»
— «Исчезни, рабственный позор! —
Завыли грозно изуверы. —
Умрем за вольность наших гор,
За край родной, за святость веры!»

Чей глас таинственный вещал
Слова коварства и обмана?..
Кто имя бога призывал? —
Мятежник гор и Дагестана!
Но где отряд? Ужели он
С своим вождем не занят славой?
Ужель пророком осужден
Он вечно быть над переправой
И уготовит наконец
Себе страдальческий венец
За пир последний и кровавый,
Который дать желает нам
В угодность бритым головам?..

О, горе, горе! По Сулаку
Вблизи отыскан новый брод,
И вождь на гибельную драку
Проклятых гяуров ведет!
«Беда!.. Помилуй, ради бога!
Чего ты хочешь, генерал?
Пророк шутить не будет много,
Он нас повесить обещал!
Пропали мы, пропали гуртом!..»
Но он не слышит, он идет...
И что за чудо? Весь народ
Живой явился под Чир-Юртом!

Простите, милые друзья,
Когда за важностью рассказа
Всегда рождается у меня
Некстати шутка и проказа!

Ей-ей, не знаю почему,
Я своевольничать охотник
И, признаюсь вам, не работник
Ученой скуке и уму!
Мне дума вольная дороже
Гарема светлого паши,
Или почти одно и то же:
Она — душа моей души.
Боюсь, как смерти, разных правил,
Которых, впрочем, по нужде,
В моральной жизни и в беде
Благоразумно не оставил,
Но правил тяжкого ума,
Но правил чтенья и письма
Я не терплю, я ненавижу
И, что забавнее всего,
Не видел прежде и не вижу
Большой утраты от того.
Я трату с пользою исчислю,
И вот что после вывожу:
Когда пишу, тогда я мыслю;
Когда я мыслю, то пишу...
Скажи же, милый мой читатель
И равнодушный судия,
Ужель я должен, как писатель,
Измучить скукою себя?..
Ужели день и ночь для славы
Я должен голову ломать,
А для младенческой забавы
И двух стихов не написать?..
Мы все, младенцы пожилые,
Смешнее маленьких ребят,
И верь: за шалости бранят
Одни лишь глупые и злые.

Всё тихо в лагере ночном.
К земле прикинув головою
С своим хранителем-ружьём,
Приносит русский дань покою.
Питомец севера и льдов,
Не зная прихоти и неги,
Везде завидные ночлеги
Себе находит у врагов.
И сон угрюмый над аулом
Летает с образом луны;

Одна река протяжным гулом
Тревожит царство тишины.
О сон лукавый, сон опасный,
Товарищ думы и тоски!
Тебя приветствуют напрасно
Сии мятежные враги!..
Отрады сладкого забвенья
Всегда чуждается злодей,
И ты крылом успокоенья
С подругой сердца и ночей
Не осенишь его очей!
Увы, печальна, одинока,
С душевной бурей на челе,
Как жертва крови и порока,
Таится, бедная, во мгле!
Она исполнена боязни,
Для ней погиб надежды луч,
Ей светлый день за ризой туч —
Предвестник гибели и казни!..
А он, убийца юных дней
Подруги сердца и ночей,
Меж тем, бессонный, на кинжале
Лежит в разбойничьем завале!

Но вот уж ранняя звезда
В пустынях неба показалась;
Волнистой тенью нагота
Полей и гор обрисовалась.
Ударил звонкий барабан;
Завыла пушка вестовая,
И полунощный великан
Восстал, как туча громовая!
Молитва к богу, меч во длань,
И за начальником отряда
Толпой бесстрашною на брань
Валит безмолвная громада.

Певец Гюльнары! Для чего
В избытке сердца моего,
В порывах сильных впечатлений
Назло природе и судьбе,
Зачем не равен я тебе
Волшебным даром песнопений?
Тогда бы кистью твоей,
Всегда живой и благородной,

Я тронул с гордостью свободной
Сердца холодные людей!
Тогда, владыка величавый
Перуна, гибели и зла,
Изобразил бы я дела
Войны жестокой и кровавой!..
Отважный приступ христиан,
Злодеев яростную встречу,
Орудий гром, пальбу и сечу,
И смерть, и кровь, и трепет ран...
Изобразил бы я страданье
Полуживого мертвеца,
И жил и членов содроганье,
Его последнее дыханье
И чувства мертвого лица!..
Но ты, певец души и чувства,
Умея смертных презирать,
Ты нам не передал искусства
Умы и души волновать!..
Как непонятное явление,
Исчезло мира изумленье —
Великий гений и поэт!..
Осиротевшая природа
И Новой Греции свобода
Вещают нам: Байрона нет!..

.
.

Недолго, воины Москвы,
Своих врагов искали вы!
На заповеданной молитве,
С ружьем и пашкою в руках,
Вы их узнали на холмах,
Давно готовых к лютой битве.
Свинец летучий, рассыпной
Встречает рать передовую,
И первый раз в толпу лихую
Направлен меткою рукой
Удар картечи боевой...
И разлетелся с рокотаньем
Заряд чугунного жерла,
И салатовец с содроганьем
Бежит до нового холма...
Засел... Проходит ополчение.

Кремни стучат, ядро свистит...
Защита... натиск... отражение...
Злодей рассеян и бежит!..

Отряд идет густой колонной,
Но на пути большой овраг,
Кругом завалы; злобный враг
Из-за утесов, пеший, конный,
Стреляет в цепь и в казака;
Навстречу гул единорога,
Картечи, ядра в смельчака —
И снова чистая дорога.

Линейный всадник впереди,
Усач с крестами на груди,
Отважный Засс его главою;
Всегда в виду, всегда в огне,
Под ним летает конь гусарский;
Перед полками князь Черкасский
И полководец на коне.
Земля трясется, тучи дыма,
Жужжанье пули, свист ядра,
И штык, и сабли, и «ура»
Приводят в трепет мизраима.
Он уступает чудесам,
Клянет открытое сражение
И, угрожая в отступление,
Спешит к завалам и стенам.

Искусство, сила и природа
Слились, казалось, заодно
В защиту дикого народа:
И рвы, и насыпь, и бревно,
И неприступными рядами,
Как время вечные, скалы,
Над ними вьются временами
Одни свирепые орлы
И, с алчным криком облетая
В глуби туманной вышины
Чир-Юрт и горы Балтугая,
Неволью в жителей страны
Вдыхают ужасы войны.
Там, укрепясь ожесточеньем,
Засели бодрые враги

И ожидали с небреженьем
Иноплеменные полки.
И вот они перед врагами
С своими страшными громами
Идут нетрепетной грядой;
Питомцы хищного разбоя
Огонь открыли роковой,
И зашумела над стеной
Гроза решительного боя.

Не видно более в дыму
Ни скал, ни воинов аула;
В тревоге приступа, в шуму,
В раскатах пушечного гула
Не слышно голоса вождя,
Но он повсюду, вождь упрямый:
Иди вперед, кидайся прямо
В огонь свинцового дождя —
Он там, покойный, величавый;
Он видит всё, его рука
Вам указывает и врага,
И путь давно знакомой славы!..
Смотрите: вот бросает он
Стрелков бутырских батальон
С крутого берега Сулака!
Пока у варваров кипит
С бойцами егерскими драка,
Стрелок отважный поспешит
Тропой неведомой к оплоту —
И враг, противной стороной,
Увидит вдруг перед собой
Неотразимую пехоту.

Но бой сильнее! Вот ядро
Разбило твердое ребро
Полугранитного завала,
И изумился суевер!
Неустршимый офицер,
Покорный воле генерала,
Взлетает с скоростью ядра
На вышину другой защиты;
За ним друзья его... Ура!
Толпы неистовые сбиты!..
И — на завале ятаган
И разогнутый Алкоран!

Какое гибельное море
На осажденных пролилось!
И гром, и треск, и горе, горе:
Веленье Мощного сбылось!
Бутырцы в схватке рукопашной
На опрокинутой стене;
Московец, егерь тучей страшной
На новой сбитой стороне;
Визжат картечи, ядра, пули,
Катятся камни и тела,
Гремит ужасное «Алла!» —
И пушка русская в ауле!..

Кто проникал в сердца людей
С глубоким чувством изучения;
Кто знает бури, потрясения —
Следы печальные страстей;
Кто испытал в коварной жизни
Ее тоску и мятежи
И после слышал укоризны
Во глубине своей души;
Кому знакомы месть и злоба —
Ума и совести раздор —
И, наконец, при дверях гроба
Уничуждения позор;
Кого обманывал стократно
Неверный счастья идеал;
Кто всё ужасно, невозвратно
В безумстве жалком потерял;
Кто силой опыта измерил
Земного блага суеты, —
Тому б страдальцу я поверил
Мои унылые мечты,
Мой ум, мой дух, воображенье,
Под залпом тысячей громов,
На трупах русских и врагов,
На страшном месте пораженья!..
Но, ах! в убийственной глуши
Едва ль я сам не без души!..

Всё истребляет, бьет и губит
Везде бегущего врага;
Его, беспамятного, рубит
Кинжал и шашка казака;
Жестокой местию пылая
В бою последнем, роковом,

Его пехота удалая
Сражает пулей и штыком.
Дитя безумного мечтанья,
Надежда храбрых умерла
И падшей гордости стенанья
С собой в могилу унесла.
Бежит злодей, несомый страхом,
За ним летучая гроза
И смерти лютая коса
С своим безжалостным размахом.
В домах, по стогам площадей,
В изгибах улиц отдаленных
Следы печальные смертей
И груды тел окровавленных.
Неумолимая рука
Не знает строгого разбора:
Она разит без приговора
С невинной девой старика
И беззащитного младенца;
Ей ненавистна кровь чеченца,
Христовой веры палача,—
И блещет лезвие меча!..

Как великан, объятый думой,
Окрест себя внимая гул,
Стоит громадою угрюмой
Обезоруженный аул.
Бойницы, камни, и твердыни,
И длинных скал огромный ряд —
Надежный щит его гордыни —
Пред ним повержены лежат.
Их оросили кровью черной
Его могучие сыны,
И не поднимет ветер горный
Красы погибшей стороны:
Оборонительной стены
И стражей воли непокорной!..
И всё в унынии кругом!
Его судья, властитель новый,
В ущелья гор за беглецом
Теперь несет удар громовый!

Не воин, клявшийся Аллой
Рассеять сонм иноплеменный,
Не воин битвы дерзновенной,
Отважный духом и рукой,

Полурассеянный, разбитый,
Но вечно грозный для врага,
Всегда готовый для защиты,
Бежит, грозя издалека
Победоносному герою,
И вдруг неожиданный перевес
Дает отчаянному бою...
Нет, воин ярости исчез
С своею клятвой на завале;
Столпы чир-юртские упали
С утратой славы мусульман,
И лютой мести ураган
Вился над робкими душами
В огне потерянных голов,
Над беззащитными руками
Обыкновенных беглецов...
Не тратьте лишнего заряда,
Рои крылатые стрелков:
Для очарованного стада
Довольно сабли и штыков!
Холмы, утесы и стремнины —
Всё неприязненному путь,
Но вслед за ним — повсюду грудь
И меч торжественной дружины...
За ней отчаянье и стон,
И кровь и смерть со всех сторон!

Между крутыми берегами,
Всегда обмытыми водой,
Шумит кипучими валами
Койсу, туманный и седой.
Противник вечный русской силы,
В холодной сфере глубины
Не раз готовил он могилы
Детям полночной стороны.
Неукротимый и суровый,
Недавно с яростию новой
Он ополчался на коней
И смелых воинов Завета,
Когда толпа богатырей
На бранный берег Магомета
Вносила тысячу смертей.
Еще под каменной скалою
Привязан счастливый челнок,

На коем раннюю порою
Вчера пронесся лжепророк.
С какою радостью бурной
Волною светлой и лазурной
Он лобызал его края,
Дарил, как ветер, легким бегом
И, силу дивную тая,
Остановил его под берегом.
Теперь кипучею волной,
Сражаясь с черными скалами,
Опять шумит под берегами
Койсу, туманный и седой.
Уста коварного пророка
Вещали гибель и обман,
И обратились силы рока
На суеверных мусульман.
Но что за крик, и шум, и грохот
От стен Чир-Юрта по горам?
И пули визг и конский топот
Гласят чудесное волнам...
Вот ближе, ближе!.. Под скалами
Койсу не плещет, не шумит;
Потомок Каина толпами
На берег в ужасе спешит.
Койсу кипит, вздымает волны,
Горами хлещет в крутизну,
И воин бритый — пеший, конный —
Стремглав слетает в глубину!
За ним картечи!.. Воют, стонут,
Плывут мятежно, бьются, тонут
Сыны отчаянья и зла...
Спаси их, праведный Алла!

О, кто, свирепую душою
Войну и гибель полюбя,
Равнина бранная, тебя
Обмыл кровавою росой?
Кто по утесам и холмам,
На радость демонам и аду,
На пир шакалам и орлам,
Рассеял ратную громаду?
Какой земли, какой страны
Герои падшие войны?

Всё тихо, мертво над волною;
Туман и мир на берегах;
Чир-Юрт с поникшею главою
Стоит уныло на скалах.
Вокруг него, на поле брани,
Чернеет дыму полоса
И смерти алчная коса
Сбирает горестные дани! .

Приди сюда, о мизантроп,
Приди сюда в мечтаньях злобных
Услышать вопль, увидеть гроб
Тебе немилых, но подобных!
Взгляни, наперсник сатаны,
Самоотверженный убийца,
На эти трупы, эти лица,
Добычу яростной войны!
Не зришь ли ты на них печати
Перста невидимой руки,
Запечатлевшей стон проклятий
В устах страданья и тоски?..
Смотри на мглу ужасной ночи
В ее печальной тишине,
На закатившиеся очи
В полубагровой пелене...
За полчаса их оживляла
Безумной ярости мечта,
Но пуля смерти завизжала —
В очах суровых темнота!
Взгляни сюда, на эту руку, —
Она делила до конца
Ожесточение и муку
Ядром убитого бойца!
Обезображенные персты
Жестокой болью сведены,
Окаменелые — отверсты,
Как лед сибирский, холодны!..
Вот умирающего трепет:
С кровавым черепом старик...
Еще издал протяжный лепет
Его коснеющий язык...
Дух жизни веет и проснулся
В мозгу рассеченной главы...
Чернеет... вздрогнул... протянулся —
И нет поклонника Аллы!..

Повсюду, жертвою погони,
Во прахе всадники и кони
И нагруженные арбы;
И победителям на долю
Везде рассеяны по полю
Мятежной робости дары:
Кинжалы, шашки, пистолеты,
Парчи узорные, браслеты
И драгоценные ковры.

Чрез доли, горы и стремнины,
С челом отваги боевой,
Идут торжественной тропой
К аулу русские дружины.
За ними вслед — игра судьбы —
Между гранеными штыками
Влачатся грустными толпами
Иноплеменные рабы.

Восстав над вечною могилой,
В последний раз издалека
Чир-Юрт, пустынный и унылый,
Встречает грозного врага.
Сверкает, пышет бурный пламень;
Утесы вторят треск и гул
И указуют пепл и камень,
Где был разбойничий аул!..

Когда воинственная лира,
Громовый звук печальных струн,
Забудет битвы и перун
И воспоет отраду мира?
Или задумчивый певец,
Обманут сладостною думой,
Всегда печальный и угрюмый,
Найдет во бранях свой конец?

Между декабрем 1831 и маем 1832





ВИДЕНИЕ БРУТА

Слетела ночь в красе печальной
На Филиппинские поля,
Последний луч зари прощальной
Впила холодная земля.
Между враждебными шатрами
Народа славы и войны
Туман сгущенными волнами
Разнес отраду тишины.
Тревоги ратной гул мятежный,
Стук копий, броней и мечей
Умолк; кой-где в дали безбрежной
Мелькает зарево огней;
Протяжно стонет конский топот,
И, замирая в тьме ночной,
Сливает эхо звучный ропот
С отзвонком стражи боевой.
И тихо всё... Судьба вселенной
Погружена в глубокий сон;
Один булат окровавленный
Предпишет с утром ей закон.
Но чей булат окровавленный?
Святой защитник вольных стран
Или поносный и презренный
Булат — убийца сограждан?
Погибнет сонм триумвирата
Или, презревши долг и честь,
Готовит римлянин для брата
Позор и цезарскую месть?..

Всё спит... Ужасная минута!..
Ужель зловещий, тяжкий сон
Смыкает так же очи Брута?
Ужель не бодрствует и он?

О нет, волнуясь жаждой боя,
В его груди пылает кровь:
В его груди, в душе героя
Горит к отечеству любовью!..
Во тьме полуночи глубокой,
Угрюм, задумчив и уныл,
Под кровом ставки одинокой
Он безотрадно опочил.
И сна вотще искали вежды:
Предчувствий горестных толпа,
И отдаленные надежды,
И своенравная судьба —
Его насильственно терзали.
Он ждал, он видел море бед —
За думой черной налетали
Другие черные вослед.
То, жертва сильных впечатлений,
В волненье памяти живой
Он воскрешал угасший гений,
Судьбу страны своей родной:
Он пробегал картины славы,
Те достопамятные дни,
Когда Рим гордый, величавый
Был удивлением земли;
Когда Камиллы, Сципионы
Дробили в гневе роковом
Составы царств, крушили троны
Народной вольности мечом;
Когда рождались для потомства
Сцеволы, Регул, Цинциннат;
Когда был Рим без вероломства
Свободной бедностью богат...
То, снова в вихрь переворотов
Проникнув с тайною тоской,
Он видел гибель патриотов
Над их потупленной главой:
Раздоры Мария и Силлы,
Как бурный нравственный потоп,
Разрушив щит народной силы,
Повергли Рим в кровавый гроб;
Два солнца Рима, два злодея
В крови отчизны возросли —
Помпей и Цесарь... Прах Помпея
С гражданской жизнью погребли...

Цезарь, Октавий, Марк Антоний
Судьбы завтра изрекут:
Иль самовластие на троне,
Или свободный Рим и Брут.

«Глава, десница заговора,
Я первый вольность пробудил,
Я первый гения раздора,
Завоевателя Босфора,
Отца и друга умертвил!..
Ничтожный, робкий сонм сената
Моей надежде изменил
И пред мечом триумvirата
Колена рабства преклонил!
Позор мужей, позор вселенной,
Тебя проклятие веков
Постигнет тенью раздраженной
В пределах смерти, в тьме гробов!
Звучат, о Рим, твои оковы —
Безгласен доблестный народ,
Но, Рим, отмстители готовы!
Тарквиний, час твой настает!
Ударит он, сей вестник казни,
Его зловещий, грозный бой
Отгрянет с ужасом боязни
В сердцах отваги роковой!..
Последний раз поля отчизны
Я потоплю в крови родной,
И клик безумной укоризны
Иль голос славы вековой
Предаст потомкам дальним повесть
О битве будущего дня
И пощадит, быть может, совесть
Убийцы друга и царя!»

Так вождь свободных ополчений
Мечтал в порыве бурных дум,
Так заглушал змию мучений
Тоску души высокий ум!..
Густеет ночь; между шатрами
Молчанье мертвое и сон,
Луна закрыта облаками;
Герой в забвенье погружен,
Он жаждет сна, смыкает очи...

Но вдруг глухой, протяжный гул
В священном царстве полуночи
Как вихорь ставку размахнул.
Колосс огромного призрака
Из тучи воздуха растет
И в ризе ужаса и мрака
Очам героя предстает...
Бесстрашный видит и трепещет:
Пред ним убийственный кинжал...
Извлек его, отмститель блещет —
Шатер раздался, дух пропал!..
«Так, я узнал — мой злобный гений!..
Он всё решил, он всё сказал!
Конец несчастных покушений!..»

День битвы пагубной настал.
Шумят знамена бранной чести —
Триумвират непобедим,
И сын отваги, воин мести
Свободный пал за падший Рим!..

< 1833 >





КОРИОЛАН

Глава первая РИМ

1

Была страна под небесами,
Была великая страна —
Страна чудес... но времена
Враждуют страшно с чудесами!
Был град, любимый град богов,
Но уж давно пределы мира
Освободились от кумира
Племен, народов и веков!
Он пал — сперва как лев свободный,
Потом как воин благородный,
Потом как раб!.. С лица земли
Он не исчез от укоризны,
Но душен воздух той отчизны,
Где славу предков погребли!
И, жертва общего презренья,
С тех пор на месте преступления
Он, как измученный злодей,
Обезображенный страданием,
Лежит, покрытый поруганьем,
В виду безжалостных людей!
Без утешенья и без силы.
Лишенный чувств и оборон,
Как лобызанием Далилы
Обезоруженный Самсон, —
Он недвижим во сне глубоком,
И филистимская вражда
Стоит в веселии жестоком
Над ложем смерти и стыда...
И залегла над ним сурово
Непроницаемая мгла —

И долго черного покрова
Не сгонит день с его чела!
И что ж? Не будет лист увядший
Цвести опять между ветвей,
И горный дух, однажды падший,
Не воскресит минувших дней!

2

Он спит... но кто не видел бури,
Когда, свирепа и грозна,
Она, как черная волна,
Мрачит и топит блеск лазури?
О, так на лоне тишины,
Над этой вечною могилой
Кумира славной старины
Летают, вьются с чудной силой
Живые тягостные сны!
Так благодатная десница
Всегда таинственной судьбы
Еще хранит твои столпы,
О Рим, всемирная столица!
И, как бездетная орлица,
Она витает над тобой,
И грустно ей расстаться с славой,
С твоей победною державой,
Теперь погибшей и рабой!
И между тем как сон печальный
Тебя сурово тяготит,
Она улыбкою прощальной
С тобой безмолвно говорит...
И рой видений — то прекрасных,
Подобно утренней звезде,
То величавых, то ужасных —
Страшней порока в наготы,—
Тебя лелеет беспрерывно,
Как мать любимое дитя,
Иль, свежей памятью шутя,
Наводит страх и ужас дивный
На труп холодный и немой
Твоей гордыни роковой...

И в влажном облаке тумана
Рисует он перед тобой
Перстом волшебным некромана:
И твой воинственный разбой,
И добровольное гражданство,
И дух отважный мятежей,
И кровь свободы, и тиранство
Среди народных площадей.
Фабриций, Регул, триумвиры,
Трибуны, консулы, порфиры
В громах и прежней красоте,
Борясь с свирепыми веками,
Встают и, пышными рядами
Мелькая ярко в темноте,
Приносят дань твоей мечте...
И видишь живо ты миллионы
Своих народов и рабов,
Свои когорты, легионы
Под тенью тысячей орлов,
И океан, обремененный
Громадой черных кораблей,
И мир, коленопреклоненный
Пред Капитолией твоей.
И всё — и всё, что обожали
С глухим проклятьем племена,
Что безусловно освящали
Своим проклятьем времена! —
Всё видишь ты, и, изнуренный
Ужасной мукой Прометей,
Ты будто вновь одушевленный
Картиной славы прежних дней, —
Ты, может быть, в тоске бессильной
Желаешь быстро перервать
Твой сон лукавый, сон могильный
И с новой яростью восстать?
Но... безотрадные надежды!..
Прошли года — пройдут года,
И смертью скованные вежды
Не разомкнутся никогда!..

Ты пал! Ты умер для потомства!
Ты — груда камней для земли!

Секиры зла и вероломства
Твои оплоты потрясли!
Нет Рима, нет — и невозвратно!
И с полунощной тишиной
Одна лишь тень его превратно
Дрожит над тибрскою волной!..
Исчезли цирки, пантеоны,
Дворцы Нерона и сенат,
И императорские троны,
И анархический булат,
И там, на площади народной,
Где, в буйном гневe трепеща,
Взывал Антоний благородный
К друзьям кровавого плаща,
Где защитил народ свободный
Своих тиранов от мечей
И, наконец, окровавленный,
Склонился выей, изнуренный,
Под иго хитрых палачей¹, —
Там тихо всё! Умолкли битвы!..
Лишь век иль два тому назад,
Бывало, теплые молитвы
То место громко огласят,
Когда в угодность Каиафе²
При звуке бубнов и рогов
В великольном автодафе
Сжигали злых еретиков...

5

Теперь же в Ромуловой сфере
Костры живые не трещат —
Зато прекрасно Miserege
Поет пленительный кастрат.
И, если страннику угодно
Иметь услужливых друзей,
Его супругу благородно
Проводит в спальню чичисбей.

¹ Триумвиров.

² Под именем Каиафы здесь разумеется верховный инквизитор.

Глава вторая

ИЗГНАННИК

1

Кто видел над берегом туманного моря
Векам современный, огромный утес,
Который, с волнами кипучими споря,
На брань вызывает их бурный хаос?
Стоит он недвижимый над черной могилой,
Но воют и плещут буграми валы;
Свирепое море с неведомой силой
Обмыло гранитные ребра скалы,
Обрушилось, пало холодной геенной,
Тяжелой громадой на вражье чело —
Сорвало, разбило — и лавой надменной
В пучину седую, как вихрь, унесло!
Те волны, то море народная сила;
Скала — побежденный народом герой.
На поле отваги судьба довершила
Насильства и славы торжественный бой...

2

Смотрите, бунтуют безумные страсти,
Неистово блещет крамольный перун,
Священный останок утраченной власти
Громит безответно могучий трибун.
Мятеж своевольный и ярые клики
Возникли в отчизне великих мужей:
Патриций, и воин, и раб полудикий
Враждуют на стогнах отцов и детей;
И шум и смятение в приливе народа.
«Сенат и законы!» — «Мечи и свобода!» —
Взывают и вторят в суровых толпах.
«Но слава, победы, заслуги и раны?»
— «Изгнанье злодею! Погибнут тираны!
Мы вместе сражались и гибли в боях!» —
И глухо мечи застучали в ножнах...
«Давно ли он принял от гордого Рима
Зеленый венки, украшение вождей?»
— «Изгнанье, изгнанье! Видна диадима
В зеленом венке из дубовых ветвей!»¹

¹ Народные трибуны, обвиняя Кориолана во многих преступлениях против отечества, уличали его также в домогательстве верховной власти.

И долго торжественный голос укора,
Мешаясь с проклятьем, в народе гремел,
И жребий изгнания — жребий позора —
Достался бесстрашному мужу в удел!..

3

Доволен и грозен неправедной силой,
Народ удалился от места суда,
И город веселый, и город унылый
Покрылся завесою тьмы и стыда...

Но кто, окруженный толпою ревнивой,
Под верной защитой булатных мечей,
Покоен и важен, как царь молчаливый,
Идет перед сонмом врагов и друзей?
Волнистые, длинные перья шелома
Клубятся и выются над бледным челом,
Где грозные тучи, предвестницы грома,
Как будто таятся во гробе немом,
И око, обвитое черною бровью,
Сверкает и пышет, как день на заре,
И стан величавый, и, жаркою кровью
Нередко увлажненный, меч при бедре,
Блестящий в изгибах суровой одежды.
Он гордо проходит пред бурной толпой,
И мнится — и злобу, и месть, и надежды
Великого Рима уносит с собой...

4

Уж поздно... Тарпея, как тень великана,
Сокрыла седую главу в облаках,
И тихо слетает на землю Диана,
В серебряной мантии, в ярких звездах.

Часы золотые! Отрадное время...
Вам жертву приносит поклонник сует —
Лишь с сумраком ночи забудет он бремя
Душевной печали и тягостных бед.
В глуби эмпирея на небе эмальном
Звезда молодая блестит для него,
И сон благотворный на ложе страдальном
Согреет облитое хладом чело...
И после на муку знакомого ада,

На радость и горе, на жизнь и тоску
Навеет волшебная ночи прохлада,
Быть может, навек гробовую доску!..

5

Оделась туманною мглою столица;
Мятежные площади спят в тишине.
Вдали промелькает порой колесница
Иль всадник суровый на быстром коне;
Ночные беседы, румяные девы
Заметны порою в роскошных садах,
И слышны лобзанья, и смех, и напевы,
И рядом — темницы и вопли в цепях!
И редки на улицах робкие встречи,
И голос укора, и ропот любви,
Плащи и кинжалы, смертельные сечи,
Мольба и проклятья, и трупы в крови...
И снова молчанье... Как будто из Рима
Возникло песчаное море степей...
Безоблачно небо, луна недвижима
В пространстве глубоком воздушных зыбей.

6

У храма, под тенью душистой оливы,
Внезапно нарушен священный покой:
То робкие жены — их взор боязливый
Наполнен слезами и дышит тоской.
Одна — молодая, в печали глубокой,
Как ландыш весенний, бела и нежна;
Другая — летами и грустью жестокой
Могиле холодной давно суждена.
Пред ними, закрытый волнистою тогой,
В пернатом шеломе, в броне боевой, —
Неведомый воин, унылый и строгой,
Стоит без ответа с поникшей главой.
И тяжкая мука, и плач, и рыданье
Под сводами храма в отсвеченной мгле —
И видны у воина гнев и страданье,
И тайная дума, и месть на челе.
И вдруг, изнуренный душевным волненьем,
Как будто воспрянув от тяжкого сна,
Как будто испуган ужасным виденьем:
«Прости же, — сказал он, — родная страна!
Простите, рабы знаменитой державы,

Которой победы, и силу, и честь
Мрачит и пятнает на поприще славы
Народа слепого безумная месть!
Я прав перед вами! Я гордой отчизне
Принес дорогую, священную дань —
Младые надежды заманчивой жизни,
И сердце героя, и крепкую длань.
Не я ли, могучий и телом и духом,
Решал многократно сомнительный бой?
Не я ли наполнил Италию слухом
О гении Рима, враждующий с судьбой?
И где же награда? Народ благодарный
В минутном восторге вождя увенчал —
И, вновь увлеченный толпою коварной,
Его же свирепо судил и изгнал!
Простите ж, рабы знаменитой державы,
Которой победы, и славу, и честь
Мрачит и пятнает на поприще славы
Народа слепого безумная месть!..»

7

Протяжно гремели суровые звуки
И глухо исчезли в ночной тишине,
Но голос прощанья <в> минуты разлуки
Опять пробудился, как пепел в огне:
«Свершилось! Свершилось! О мать и супруга!
Мне дорого время, мне дорог позор!
Примите ж в объятия сына и друга —
Его изгоняет навек приговор!
Где дети изгнанника? Дайте скорее
Расстаться с чертами родного лица,
О, пусть лобызают младенцы нежнее
Устами невинными очи отца!
Пусть юные души дыханье обиды
В груди благородной навек сохранят —
И некогда гордо кинжал Немезиды
Забвенному праху отца посвятят!»
И снова рыдания!.. Горячих объятий
Не слышит, не чувствует гордый герой —
Свободен... и скрылся от граждан и братьев,
Как лев, уязвленный пернатой стрелой...

Глава третья

ВРАГ

1

Пробудился гений славы:
Из объятий тишины
Потекли на пир кровавый
Брани гордые сыны.

Кто ж вы?.. Яростные клики
Раздались, как гул морей...
Не восстал ли Рим великий
На народов и царей?

Не во гневе ль он суровый
Изрекает приговор —
И дарует им оковы
И блистательный позор?..

Нет! Решитель дивных боев
Стран далеких не гремит —
Над отечеством героев
Туча грозная висит.
Пали, пали легионы,
Приносившие законы
На булатных лезвиях, —
И бесстрашно окружила
Разрушительная сила
Самый Рим в его стенах!..
Кто же смелый искуситель
Повелительной судьбы,
Ваш опасный притеснитель,
Ига римского рабы?

2

Раздавался гул громовый,
Полуночная гроза
Блеском молнии багровой
Озаряла небеса.
Над туманною рекою
Древний Анциум¹ дремал

¹ Анциум — город вольсков, в котором Кориолан после изгнания его из дома нашел сильное покровительство.

И угрюмой тишиною
Мирных жителей к покою
Благосклонно призывал.
Племя славного народа
Крепкий город охранял;
Там отважная свобода
На границах рубежей
Берегла от утеснений
Кровожадных поколений
Цвет воинственных мужей;
Там она, на поле чести,
В самой гибели жива,
Разливала ужас мести
За великие права.
Часто сильные дружины
Приходили на равнины
Плодоносной стороны,
Но тогда миролюбивый
Обожатель тишины
Покидал златые нивы
И заветный серп и плуг
И стремился горделиво
На призывный трубный звук.
Непреклонный, беспощадный,
Он пришельца поражал
И в тени лесов отрадной
Грозный подвиг воспевал...

3

Тщетно Рим неодолимый
Вызывал на лютый бой
Сына родины любимой,
Стража вольности святой.
Лишь один герой могучий
Прощумел, как вихрь летучий,
На убийственных полях:
Он покрыл костями доли,
И упали Кориолы
Перед воином во прах.
Но народ самодержавный
Осудил его бесславно
На изгнание и позор
И без тайной укоризны

Произнес красе отчизны
Ненавистный приговор...
Благородный победитель,
Удивленье чуждых стран,
Обвинен как притеснитель
Легкомысленных граждан;
И теперь, в суровой доле,
Грустной думой удручен,
Может быть, на бранном поле
Ищет смерти — жаждет он
Позабить несправедливый
И блуждающий ревниво
По следам его закон...

4

Город вольсков осенила,
Как холодная могила,
В шуме бури тишина;
И под кровлею надежной
Мирный житель безмятежно
Предавался неге сна.
В это время кто-то строен,
Безоружен, но покоен,
Гость неведомый, вступал
В град и пышные чертоги,
Где глава народа — строгий
Старец Аттий — обитал.
В мрачной думе вождь верховный
После тягостного дня
Одинок сидел безмолвно
У отрадного огня.
Всё вокруг него дышало
Незабвенной стариной
И невольно вспоминало
Славу жизни молодой:
Шлемы, панцири и латы,
И тяжелые булаты,
Иззубренные в боях,
Перед ним в отцовской сени
Отсвечались на стенах —
И порой как будто тени
Трепетали на гробах.

5

Охранитель беззащитных,
Раболепственных владык,
Он на битвах кроволитных
Был отважен и велик;
Сам орел капитолийской
Рог гордыни италийской,
Для тиранов роковой,
Не возмог стереть кичливо
Над его вольнолюбивой
Серебристой головой.¹

Только раз он в вихре боя
Пал разбитый и от ран;
Но тогда его, героя,
Победил Кориолан.
Это имя было казнью
В непокорных племенах
И с невольною боязнью
Повторялось на устах;
Это имя ужасало
И народы, и царей
И, как буря, навевало
Хлад на души матерей...

6

Старый вождь сидел угрюмо
Перед тлеющим огнем
И летал печальной думой
В невозвратном и былом.
Вдруг в мечтании глубоком,
Изумлен и недвижим,
Видит он: в плаще широком
Чуждый воин перед ним.
Скрыты взор его и лета;
Он безмолвен и суров,
И садится без привета
Под защитою богов.²

¹ Да простят мне из уважения к памяти Кориолана поэтическую вольность, с которой приписал я много редких достоинств едва известному по истории Аттию Туллу. Кориолан достоин был иметь знаменитого соперника на поприще славы.

² Историческое.

Понял Аттий горделивый
Гостя чудного без слов —
То язык красноречивый
Запоздалых пришлецов.

АТТИЙ

Не порою ли ненастной,
Незнакомец, ты гоним?
Здесь, под кровлей безопасной,
Будешь здоров и невредим.
От измены, от булата
Сохранит тебя судьба,
И на путь тебе я злата
Приготовлю и раба.
Но скажи мне: кто ты, странник?
Из каких далеких стран?

НЕЗНАКОМЕЦ

Я из Рима — я изгнанник!
Я твой враг — Кориолан!

7

Он встает... Какая встреча!
Если б яростная сеча
Их неистово свела,
Если б лаврами обвитых
Двух героев знаменитых
На погибель обрекла, —
О, тогда и гром и бури
Засверкали б на лазури
Их убийственных мечей
И сразились бы стихии,
А не воины лихие
Пред миллионами очей.
Но теперь — один, великий,
Без покрова и друзей,
У могущего владыки
Необузданных мужей
Ищет с гордостью свободной
Или жизни благородной,
Или смерти, как злодей.

КОРИОЛАН

Аттий! Рок меня коварный
Справедливо погубил —

Слишком Рим неблагодарный,
Слишком много я любил!
Он изгнал меня... я снова
У старинного врага;
Для услуг его готова
Беспощадная рука,
Для вражды непримиримой —
Голова моя и кровь!
Ах, без родины любимой
В сердце месть, а не любовь!

Глава четвертая

ГРАЖДАНКА

1

Светило дня роскошно и светло
По небесам безоблачным текло
И озаряло Рим унылый,
Когда в виду его граждан,
Военачальник чуждой силы,
Как бранный дух, предстал Кориолан.
Уже не славу, но оковы,
Не щит, а гибельный булат
Принес в деснице он суровой
Для казни Ромуловых чад.

Смотри, тиран народов вероломный,
Любимец счастья и богов,
На этот сонм, могучий и огромный,
Твоих завистливых врагов!
Дерзнешь ли ты, как прежде, горделивый,
Рассеять их несметные толпы?
Падут ли в прах с потупленною выей
Перед тобой мятежные рабы?
Увы!.. Одни высокие твердыни,
Одни бойницы — твой покров,
И превратил огонь в печальные пустыни
Богатство сел твоих, и нив, и городов!
К тебе как гений разрушенья
Притек неистовый герой —
Обмыть в крови на поле мщенья
Позор обиды роковой!..

Кто видел бурные потоки,
Когда с вершин утесов и холмов
Они бегут и роют путь широкий
Среди степей, среди лесов
И рушат всё стремительно лавой, —
Так и отважные сыны
Свободы дикой и войны
Текли на подвиг величавый.
И смерть и кровь по их следам —
И исполин, доселе знаменитый,
Везде рассеянный, разбитый,
Спешит в отчаянье к стенам.
И вопли жен осиротелых,
И укоризны матерей,
И ропот старцев, поседелых
На поле славы прежних дней,
Встречают с грустью безнадежной
Остатки робких беглецов;
И стыд неволи неизбежной,
И звук торжественных оков
Над ними носится незримо, но мятенно,
Как молния во мраке облаков...

Нередко, погружен в мучительные думы,
Когда во тьме ночей дремал покойный стан,
На город мрачный и угрюмый
С невольною тоской взирал Кориолан.
В каком печальном униженье
Стоял, как призрак, перед ним
Тот самый гордый, сильный Рим,
Краса могучих поколений,
Который, страшен и велик,
Был некогда грозой народов и владык;
Тот Рим, отечество героев,
Который он на поле боев
Прославил гибельным мечом
И наконец карал без сожаленья,
Как жертву праведного мщенья,
В безумстве жалком и слепом!

Как гражданин страны несчастной,
О ней он втайне тосковал;

Он часто к родине прекрасной
Мечтой высокой улетал,
Но приговор несправедливый,
Но голос чести и стыда
В его душе самолюбивой
Таились яростно всегда;
И он презрел, неумолимый,
Права, законы, самый рок —
И славный град вражде непримиримой
И разрушению обрек.
Увы, священная свобода!
Ни представители народа,¹
Ни жрец верховный, ни сенат
В зловещий день не охранят
Тебя надежною эгидой
От непреклонного врага!
Кто движим мстью и обидой,
Кого свирепая тоска
Казнит и мучит самовластно,
Кто утонул в пучине зла,
Тому раскаянье ужасно,
Тому отрада немила;
Тот увлечен ожесточеньем
Безумной воли и страстей
И дышит весь уничтоженьем,
Как недруг неба и людей...
Таков Кориолан!.. Народ самодержавный,
Тебе он произнес печальные слова:
«Я гражданин изгнанный и бесславный, —
Огонь и меч — мои единые права!
Я их внесу рукой окровавленной
В чертог тиранов и судей —
И не спасет гордыни униженной
Ни стон, ни вопль, ни святость алтарей!..»

4

Где раздались протяжно и сурово
Глухие звуки этих слов?
Под сводом неба, средь шатров,
Где всё шумит, где всё готово
Восстать и тучей громовой
Лететь за славою на бой...

¹ Здесь говорится о безуспешном посольстве к Кориолану римского сената и жрецов.

Совершилось!.. Благодатный
Луч надежды изменил!
Ополчись на подвиг ратный,
Гений Рима — воин сил!
Где вы, праотцы и деды
Погибающих сынов?
О, покиньте для победы
Сени мрачные гробов!
Пронеситесь над главами
Устрашенных беглецов,
И рассеются пред вами
Сонмы лютые врагов!

Но нет! Блещут копья, брони.
Стучат железные щиты;
Покрыли воины и кони
Луга, долины, высоты;
Тревога, грохот, гул и клики,
Земля и стонет и гудит —
И горе, горе, Рим великий,
Твой час, последний час пробит!..

5

Кто этот муж иноплеменный,
Всегда и всюду впереди?
За ним волною разъяренной
Текут народы и вожди;
Его десницы мановенье,
Единый взор его очей
Приводят в трепет и волненье
Толпы воинственных мужей...
Уже он близок; из колчана
Выходят стрелы, миг один —
И, может быть, к стопам Кориолана
Падет покорный гражданин!..

6

Но что за дивное явление,
Откуда страх между бойцов?
Кто мог остановить внезапно ополчение
Перед лицом бледнеющих врагов?
Вся рать безмолвна, недвижима.
Навстречу ей, торжественно, из Рима
Идет не грозный легион,

Предвестник битвы кроволитной,
Но сонм унылый, беззащитный
Младых гражданок, славных жен...
С другим оружием — с слезами
И распушёнными власами
На обнаженных раменах,
С словами мира на устах,
С мольбой, ничем не отразимой,—
Они идут тебя сразить
И пламень мести потушить
В твоей груди, герой непобедимый!..

7

Кого с растерзанной душой,
С челом суровым и холодным,
Кого ты зришь перед собой?
Кто гласом грустным, но свободным
К тебе воззвал: «Кориолан!
Кого я заключу в горячие объятия:
Тебя ли — своего отечества тиран,
Навлёкший на главу позорную проклятья,
Или тебя — несчастный сын?
Кто ты? Изгнанный гражданин
Или надменный повелитель?
Когда и меч, и смерть, и плен
Ты вносишь в недра этих стен,—
Зачем же медлишь, победитель,
Своих детей, жену и мать
Цепями рабства оковать?
Карай меня всей тяжести мщенья!
Я Рим повергла в море зла
И недостойна сожаленья —
Я жизнь преступнику дала!..»

8

И вопль гражданок знаменитых,
И милые слова: «Отец! Супруг!»,
Печальный вид простертых к небу рук,
Растерзанных одежд и уст полуоткрытых —
Всё душу мрачного вождя
В то время сильно волновало
И, чувство мести победы,
Невольно к жалости склоняло.

Казалось, слова одного
Искал он в памяти: пощада;
И в тишине взирали на него
И чуждые толпы, и римляне из града.
И долго был он в думу погружен,
И наконец как будто пробудила
Его от сна неведомая сила:
«О мать моя, ты победила!
Твой сын погиб, но Рим спасен!..»

На месте том, где самовластье
Любви гражданской и красы
Спасло отчизну от грозы,
Воздвигли храм богине Счастья.¹

Но там, где пал неистовый герой
И добродетельный изгнанник,—
Не видел памятника странник
И не вздыхал над урной гробовой...

1834



¹ Историческое.



МАРИЙ

< Начало неоконченной поэмы >

Был когда-то город славный,
Властелин земли и вод;
В нем кипел самодержавный
И воинственный народ.
В пышных мраморных чертогах
Под защитою богов
Или в битвах и тревогах
Был он страшен для врагов.
Степи, горы и долины
И широкие моря
Покрывали исполины
Двухстихийного царя.
И соседние владыки,
И далекие страны
Перед ним, как повилики,
Были все преклонены.
Багряницею и златом
Он роскошно их дарил
И убийственным булатом
В страх и ужас приводил;
Подавлял свирепой тучей
Он судьбы чужих племен...
Кто не знал тебя, могучий,
Знаменитый Карфаген?..

Июль 1837



ЦАРЬ ОХОТЫ

В < асилию > А < лексеевичу > Б < урцов > ¹

Honny soit qui mal y pense.

Montaigne¹

*Н*адолго вихорь света,
Как бурная река,
Уносит от поэта
Любезного стрелка!
Быть может, невозвратно?
Что делать!.. Так и быть!..
Меж тем я буду жить
Надеждою приятной,
Что некогда, шутя,
От скуки на досуге
Иль так, в веселом круге,
Он вспомнит про меня
И скажет: я когда-то
Проказника знавал
И помню, что проклятый
Мне что-то написал.
А я ему богатый,
Какой-то полосатый,
Огромнейший колпак
В знак памяти оставил
И живо помню, как
Меня он позабавил,
Любуясь, как дурак,
На шелковый колпак!

¹ Да будет стыдно тому, кто дурно подумает об этом. *Монтень* (фр.). — *Ред.*

I

ОН

Не черные тучи
Висят над скалой;
Не вихорь зыбучий
Взвился над землей;
Не сокол могучий
Летит с облаков
Стрелюю гремучей
В толпы воробьев.
Нет! Буря не рвет...
И вихорь не рвет
Горячей земли.
Всё тихо, покойно,
И дивно, и стройно
В небесной дали.
Но что ж изменилось
В природе вещей?
Не чудо ль явилось
Для робких очей?
То в поле выходит
Roi de la chasse,¹
И в ужас приходит
Весенний бекас!..
То муж сановитый,
Стрелок знаменитый,
Гусар отставной,
Привыкший к победам,
К бутылке, к обедам
И к воле лихой.
Скучая без славы,
Любя старину,
С жильцами дубравы
Ведет он войну.
Он долго не метит:
Лишь глазом заметит —
Спускает курок...
И птица у ног.
Не знает ни тьмы, ни денницы
Великий стрелок.

¹ Король охоты (фр.). — *Ред.*

Не видя поднявшейся птицы,
Он слышит лишь крыльев полет,
Прицелился, грянул — и жертва падет.
Едва появился
Лесной удалец,
Он — паф! — покатился!
Он — хлоп!.. и конец!
Как солнце в огромном
Хаосе миров,
Блится он в скромном
Хаосе стрелков,
Предводит их сонмом,
Как муромский витязь Илья.
А те лишь зевают
И грустно считают
Свои пуделя.

2

они

Куда ж, скажите мне, мятежною ватагой
Вы собрались, мои друзья?
Зачем, упитанные влагой
Живого Вакхова ручья,
Вы с поприща котлет, бифштекса и ростбифа,
С улыбки вандаля и наглости скифа,
Накинув ружья на плеча,
Вдруг поднялись сгоряча,
Схватили яростно патроны
И, застегнув на шпензерах крючки,
В сажень величиной надели сапоги
И кожаные панталоны?
О, что за грозный, страшный вид!
Он вестник будущего боя!
Провинциальный сибарит
Преображается в героя!
Везде тревога и содом:
Борзых и гончих завыванье,
Лакеев брань, и коней ржанье,
И шум, и крик, и всё вверх дном!..
Пустеют барские палаты,
Конюшни, кухни, дома, хаты.
«Сюда! — кричат конфедераты,
Накинув шапки набекрень. —
Настал, настал великий день!

Сегодня мы себя покажем...
Злодея Б <урцов> а накажем
И всеторжественно докажем,
Что он отнюдь не великан,
Что мы вобьем его в болото,
Что он над М <уромом> не пан
И, наконец, не царь охоты!..»
Так демон зависти и мщенья
Раздора пламень раздувал
И своенравно ополченья
На подвиг бранный вызывал!
Так некогда сычи и совы,
Поднявшись ночью из дупла,
Хотели массой бестолковой
Напасть на сонного орла.
Но он могучими крылами,
Приосанившись, размахнул —
И где с летучими мышами
Пернатых витязей аул?
Так точно Васеньку собирались
Другие мыши погребать!..
Сперва шутили и смеялись,
Потом хотели отпевать,
Но кот лукавый зорким глазом
Окинул их исподтишка,
Расправил лапищи и разом
Передушил их в два прыжка!..

3

заговорщики. охота

Уже по небу разливалась
Багряноцветная заря,
Природа тихо пробуждалась,
В серебре и золоте горя,
Когда холмы, леса, болота,
В хаосе шумных голосов,
Узрели вдруг царя охоты
Между завистливых врагов.
С челом открытым, величавым,
Любуясь зеркалом ружья,
Перед собранием лукавым
Он шел как вождь и судия.
Всегда на брань идти готовый,
Владыка долов и полей,

Он видел происки и ковы
Своих обманчивых друзей.
Но, улыбаясь равнодушно,
На них без страха он смотрел
И лишь в душе великодушной
Об их безумстве сожалел.
Но вот огромная ватага
Уже рассыпалась в лесах
И взволновалась, как брага
В полузамазанных чанах.
И господа и их лакеи
Преважно заняли посты;
Скрывают их, как батареи,
Колоды, кочки и кусты.
Собаки бешеные рыщут
Вокруг болот, пугая дичь;
Псарь бранятся, скачут, свищут.
Везде призывный гул и клич!

Вот раздаётся выстрел первый!
Сильнее тысячи громов
Он раздражительные нервы
Потряс невольно у стрелков.
«Ведь это он! — в оцепененье
Один другому говорит. —
Клянусь, бекас на положение
Не поднялся и уж убит!
Смотри, смотри... Опять наметил...
Ужель и этот упадет?..
Ах, варвар!.. Так его и встретил..
А черт легавый и несет!»
Скрывая горестное чувство,
«Тут важного нет ничего, —
Бормочет третий про него, —
Одно лишь счастье без искусства».
— «Да, разумеется», — весь хор,
Приосанившись, возглашает.
А он меж тем, от этих ссор
Вдали, смеется да стреляет
И всем толкам наперекор
Суму исправно набивает.
И между тем часы бегут,
Всё занимательней охота.
Давно с измученных текут
Ручьи убийственного пота,

А толку нет... Позор! Беда!
Громят, расстреливают небо...
Не знают, как, не знают, где бы
Им приютиться от стыда.
Иной несчастный в полоумье
Ягдташ свой щепками набил;
Другой в отчаянном раздумье
Пять рюмок водки проглотил.
А тот без совести лакея
Совсем невинного бранит;
Сам промах дал и, не краснея,
Слугу безмолвного винит,
Клянется небом и землею:
«Не я стрелял, а мой слуга!»
А раб с поникшей головою,
Убитый властью роковою,
Твердит: «Да, дрогнула рука».

4

СЛЕДСТВИЯ ОХОТЫ. БОЛЬНОЙ. ОБЩЕЕ УНЫНИЕ

В лесах дремучих, в чистом поле
Гуляет витязь удалой,
И, повинясь грозной доле,
Дергач, и тетерев глухой,
И дупельшнеп, и куропатка,
Кулик и рябчик молодой —
Всё исчезает без остатка
Перед десницей роковой.
Бессмертной славою покрытый
И с полновесным ягдташом,
Перед завистливою свитой
Мелькает он с своим ружьем.
Ему предшествует победа!
За ним — досада и раздор!
Где он, там робкая беседа,
Где нет его, там шум и вздор!
Хотите ль знать, как у соседа
Об нем заводят разговор:
«Сам черт в ружье его двуствольном
Нашел квартиру и сидит,
И нас в упрямстве своевольном
Без сожаления стыдит.
Все наши козни, вероломства
Ему нimalo не вредят.

Оценит строгое потомство
Его деяний пышный ряд,
Неимоверными хвалами
Его осыплет навсегда,
А мы с своими пуделями,
Как петербургская орда
Поэтов с белыми стихами,
Мы канем в Лету, господа!
Зачем же завистью напрасной
Себя мы будем очернять,
И почему б единогласно
Печальной правды не сказать?
Он — царь охоты?.. Согласимся!
Обуха плеть не перебьет...
И, право, лучше помиримся
С таким злодеем без хлопот!»

Так, наконец, в печали слезной
Один из тружеников рек,
Когда с охоты бесполезной
Пришел домой и занемог.
И тихо вокруг его постели,
Занявшись жирным пирогом,
Друзья усталые сидели
В молчанье мрачном и немом.
Они сидели. Пот кровавый
С их лиц нахмуренных бежал,
И каждый важно, величаво
Свою бутылку осушал.
«Ну что ж, друзья? Ведь справедливо? —
Нахмурясь в очередь свою,
Сказал больной красноречивый. —
Скрепите исповедь мою!
Она, поверьте, благородна
И не унижит никого!
К чему упорствовать бесплодно?
Примите лучше всенародно
Сознание сердца моего.
Простилось с вами, о заботы,
Мое горячее чело!
Склонись пред ним: он — царь охоты,
Мне сердце вещее рекло».

Умолк. Как воин в лютой сече
На щит расколотый упав,
Или торжественное вече
Новгородцы потеряв,

Или свирепые медведи,
Рыкая жалостно в цепях,
Вздохнули грустные соседи
При этих пагубных словах.
«Увы! Увы! — сказал протяжно
Один задумчивый герой. —
Я вижу сам, борьбе отважной
Конец приходит роковой.
Погибла древняя свобода
Дремучих муромских лесов,
И из великого народа
Республиканцев и стрелков —
О, верх плачевный униженья! —
Растут, исходят поколения
Немых бесчувственных рабов.
Как Бруты смелые, напрасно
За вольность родины прекрасной
Мы не щадили наших сил.
Но Б<урцов>, цезарь самовластный,
Пришел, увидел, победил!..
Где наши подвиги и слава,
Где милый равенства закон?
Одна осталась нам забава:
Стрелять кукушек и ворон!»
— «Увы! Увы! О горе, горе! —
Повсюду громко раздалось. —
Какое гибельное море
Над нами быстро разлилось!..»

5

УДИВИТЕЛЬНОЕ ПРОРОЧЕСТВО И ВИДЕНИЕ.
СМЕРТЬ ЕГО. УЖАС ЗРИТЕЛЕЙ

А между тем больной кончался
И отходил уже во мглу,
И пот холодный разливался
По бледному его челу;
Слабел заметно тихий голос...
И вдруг поднялся дыбом волос,
И он, как будто бы пророк,
В жару неистовом изрек:
«Где я? Где я?.. Какие тучи
Над головой моей висят?..
В моей груди — огонь кипучий...
В моей душе — свирепый ад!

Я вижу, вижу ряд ужасных,
Ряд изумительных картин!
Среди охотников несчастных,
На злаке муромских долин,
Среди болот непроходимых,
Между лесов необозримых,
Возник какой-то исполин...
О, верьте, я не очарован!
Мое виденье — не обман!
Броней железной не окован
Фантома гибельного стан...
Он не доспехами стальными,
Он не оружием велик...
С очами каре-огневыми,
Причесан он á la¹ мужик...
В венгерке с черными шнурами,
С ружьем блестящим за спиной,
С кавалерийскими усами,
С полугишпанской бородой,
С улыбкой гения и славы,
Отважный, ловкий, молодой,
Как царь охоты величавый,
Стоит он, светел и румян,
Рассеяв зависти туман!..
Но что?.. Упала предо мною
Завеса будущих времен!
Мой светлый взор не омрачен
Непроницаемою мглою...
Я вижу ясно... Это он!..
О бог великий, бог правдивый!..
То он!.. И что же?.. Перед ним
Толпою бледной, нечестивой
Мы, окаянные, стоим!..
И он величественно страшен,
А мы — в отчаянье смешном.
Венком лавровым он украшен,
А мы — зеленым лопухом!..
Друзья! Свершилось!.. Умираю!..
Внемлите гласу моему.
В последний раз вам завещаю
Повиновение к нему...
Смотрите!.. Вот!.. О други, братья!..
Он здесь!.. Смотрите!.. Вот он!.. Вот!

¹ Наподобие, как (фр.). — *Ред.*

С его охотничьего платья
Кровь бекасиная течет...
По раменам его играют
Струи каштановых кудрей...
Ружье и пояс украшают
Две пары жирных дупелей...
Прости! Помилуй... Царь охоты!»
И вдруг несчастного постиг
Припадок яростной зевоты,
И, искажая бледный лик,
Прильпе к устам его язык...
Прильпе... Но взор его блудящий
Какой-то ужас выражал,
И вдруг, поднявши перст дрожащий,
Он им на что-то указал,
Как будто вымолвить, страдалец,
Он что-то дивное хотел,
Всё дико, пристально смотрел...
Зевнул протяжно, захрапел...
И в воздухе недвижный палец,
Остановясь, окаменел.
Восстали витязи... У мощных
Мороз по коже пробежал,
И их испуганный кагал,
Как рой видений полунощных,
От трупа хладного бежал.

6

КОНЕЦ ВРАЖДЕ. ТОРЖЕСТВО ЦАРЯ ОХОТЫ.
ДОЛГИОС. СЛАВА

Откуда шум, откуда клики
В веселой Муромской земле?
Какие радостные лики,
Какие светлые enflé¹
Сидят без горя, без заботы
За преогромнейшим столом...
И между ними царь охоты
С своим торжественным челом...
Шато-марго и дрей-мандера,
Душистый гейцих, ве-се-пе²
И всё, что кончится на e,

¹ Enflé — техническое выражение в кругу одного веселого общества.

² V. C. P. — марка шампанского «Veuve Cliquot Ponchartrain»

Как благодатная Венера
Или безумная холера
Гуляет в дружеской толпе.
Messieurs!¹ Товарищи, синьоры,
Маркизы, фоны, господа! —
Гласит веселая орда. —
Отныне скука и раздоры,
Междоусобия и споры
От нас сокрылись навсегда!
Сейчас, сейчас на этом месте
Воздвигнем дружеству алтарь,
И все, не изменяя чести,
Речем торжественно, без лести,
Что Б<урцов> гений наш и царь!
Да, уж давно леса, болота,
Создания умные и тварь
Давно сказали: он наш царь,
Другого нет царя охоты!»
— «Он царь двуствольного ружья!
Он властелин коростеля,
Он самодержец куропатки,
Он богдыхан перепелов, —
Кричит полсотня голосов. —
Никто, никто ему перчатки
Не смеет бросить из стрелков.
Ура! Ура! Герой Василий!
Прости, что мы до этих пор
Тебя, как должно, не почтили!
Забудь наш бедный заговор!»
И вдруг с улыбкою приветной
К нему собрание потекло,
И пышно лавр зеленоцветный
Украсил гордое чело.
«Он твой! Он твой! Его делами
Ты, о Василий, заслужил
За то, что воздух пуделями,
Подобно многим, не кормил!
Другого Б<урцов> а в подлунной
Мы не увидим, не найдем...
И верь, на лире многострунной
Твои деянья воспоем!
Ура! Ура!» И хор избранный,
Немного спиртом обуйанный,

¹ Господа! (фр.). — *Ред.*

Лихую песню затянул,
И витязь, лавром увенчанный,
Едва в восторге не уснул!
Но кто, свирепый, долголикий,
Как тень, покинувшая мглу,
Бросая взор угрюмый, дикий,
Стоит задумчиво в углу?
Кто этот муж, который, грозно,
Повеся голову и нос,
Глядит так важно и серьезно
На светлый пир?.. То — Долгиос!
Не имя предков благородных
Себе в наследье он стяжал...
Он сам в число мужей свободных
Господской милостью попал.
Но, бич зверей и птиц ужасный,
Прославясь гибельным ружьем,
До этих пор единоголосно
Считался первым он стрелком.
Подобный крепостью Немвроду,
Но побежденный и без сил,
Свою охотничью свободу
Еще он дорого ценил.
Внушенью зависти послушный,
Безумной местию горя,
Не мог он видеть равнодушно
Венка болотного царя.
Итак, в слепом ожесточенье
И с ерофеичем в руке,
Стоял печально в отдаленье
В широком синем сюртуке.
И в этот миг, как фальконетом,
Импровизаторским куплетом
Был уничтожен, поражен...
О боже! Что услышал он?
«Погибла слава Долгиоса!
Он потерялся, обобел,
С кровавой пеною из носа
Стоит в углу и почернел».¹
Он это слышит!.. Страшно блещет
Зеленый огонь в его очах...
Как вальдшнеп, бьется и трепещет
Большой стакан в его руках...

¹ Экспромт, сказанный Долгиосу одним из членов стрелкового общества.

И наконец, от злобы воя,
Кляня вселенную, как бес,
Из ненавистного покоя
Он с ерофеичем исчез...
Ликуй теперь, победоносец!
Хвала тебе, дубровный царь!
Ты, как великий ружьеносец,
Соорудил себе алтарь!
Пройдут века... Исчезнет слава
Наполеоновых побед,
Но ты, к бессмертью величаво
Ты проложил огромный след.
Умрут и лесть и вероломство,
Как ядовитый василиск,
Тебе ж правдивое потомство
Воздвигнет вечный обелиск...
Твоих соперников накажет,
Сорвет покров туманный с глаз
И временам грядущим скажет:
«Il fut roi, mais de la chasse!»¹

1837

СОВЕТ ПЕРНАТЫМ

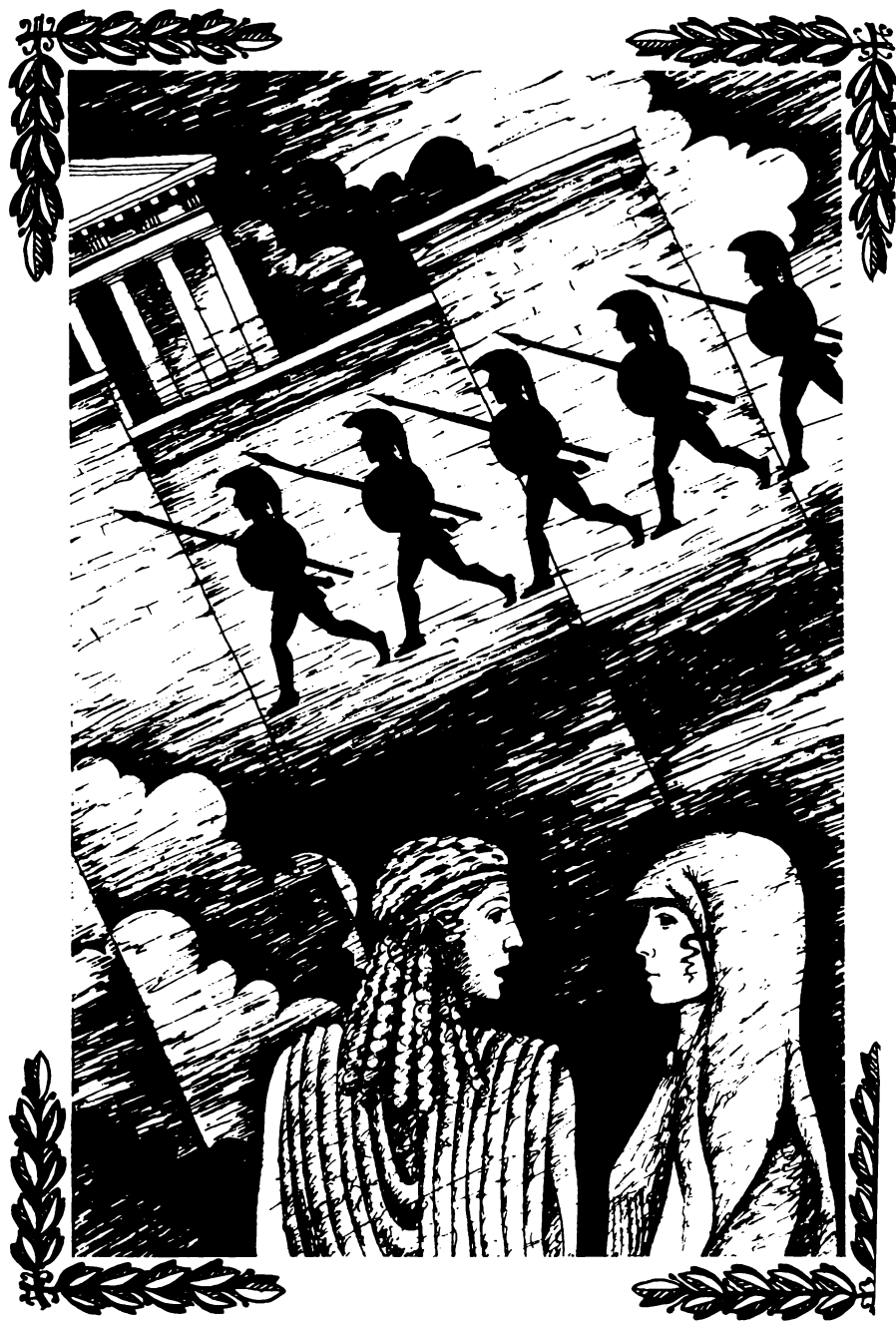
О птицы муромских лесов!
Он был, он есть, он будет вечно,
Не утучняйте же беспечно
Его роскошных пирогов!



¹ «Он был король, но... охоты!» (фр.).— Ред.

Перевоги







ИЗ ОССИАНА

МОРНИ И ТЕНЬ КОРМАЛА

В <МОРНИ>
ладыко щитов,
Мечей сокрушитель
И сильных громов
И бурь повелитель!
Война и пожар
В Арвене пылают,
Арвену Дунскар
И смерть угрожают.
Реки мне, о тень
Обитатели хладной!
Падет ли в сей день
Дунскар кровожадный?
Твой сын тебя ждет,
Надеждою полный.
И море ревет,
И пенятся волны;
Испуганный вран
Летит из стремнины;
Простерся туман
На лес и долины;
Эфир задрожал,
Спираются тучи...
Не ты ли, Кормал,
Несешься могучий?

ТЕНЬ

Чей глас роковой
Тревожить дерзает
Мой хладный покой?

МОРНИ

Твой сын вопрошает,
Царь молний, тебя!
Неистовый воин
Напал на меня —
Он казни достоин...

ТЕНЬ

Ты просишь...

МОРНИ

Меча!
Меча твоей длани,
От молний луча!
Как бурю во брани
Узришь меня с ним:
Он страшно заблещет
На пагубу злым;
Сын гор затрепещет,
Сраженный падет —
И Морни воздвигнет
Трофеи побед...

ТЕНЬ

Прими — да погибнет!..

< 1825 >





ИЗ БАЙРОНА

ОСКАР АЛЬВСКИЙ

Поэма лорда Байрона

1

Луна плывет на небесах,
Сребрится берег Лоры;
В туманных диких красотах
Вдали чернеют горы.
Умолкло всё... Окрестность спит,
Промчалось время боёв:
В чертогах Альвы не гремит
Оружие героев.

2

Как часто звездные лучи
Из туч в часы ночные
Сребрили копыя и мечи
И панцири стальные,
Когда, презревши тишину,
Пылая духом мести,
Летел сын Альвы на войну —
Искать трофеев чести!

3

Как часто в бездны этих скал,
Веками освященных,
Воитель мощный увлекал
Героев побежденных!
Быстрее сыпало тогда
Свой блеск светило ночи,
И муки смерти навсегда
Смежали храбрых очи.

4

В последний раз на милый свет
Из тьмы они взирали,
В последний раз луне привет
Изобразить желали.
Они любили — им луна
Бывала утешеньем;
Они погибли — им она
Отрадой и мученьем...

5

Исчезла слава прежних лет
И сильные владыки,
И замок Альвы, храм побед,—
Добыча повилики.
В забвенье сладостных певцов
И воинов чертоги,
И бродят лани вокруг зубцов
И серны быстроноги.

6

В тяжелых шлемах и щитах
Героев знаменитых,
В пыли висящих на стенах
И лаврами обвитых,
Гнездится дикая сова
И ветер пустынный свищет;
На поле битв растет трава
И вепрь свирепый рыщет...

7

О древний Альва,— мир тебе,
Ничтожности свидетель!
Со славой отдал долг судьбе
Последний твой владеть.
Погас его могучий род!
Нет ужаса народов!
И звук мечей не потрясет
Твоих железных сводов.

8

Когда зажгутся небеса,
Расстелятся туманы,
И гром, и вихри, и гроза
Взбунтуют океаны, —
Какой-то голос роковой,
Как бури завыванье
Иль голос тени гробовой,
Твое колеблет зданье.

9

Оскар, вот твой медяный щит,
Воюющий с грозами,
Носясь по воздуху, звучит
Над альвскими стенами!
Вот твой колеблется шелом
На тени раздраженной,
Как черной ночью, крылом
Орлиным осененный.

10

Ходили чаши по рукам
В рождение Оскара;
Взвивался пламень к облакам
Веселого пожара¹:
Владыка Альвы ликовал
В кругу своих героев,
И бард избранный воспевал
И гром и вихри боев.

11

Ловец пернатою стрелой
Разил в стремнинах ланей,
И рог отрадный боевой
Сзывал питомцев браней.
Призывный рог пленял их слух,
И арфы золотые
Восторгом зажигали дух,
Как девы молодые.

¹ Бритты имели обыкновение зажигать дубы в дни празднеств.

12

«О будь, невинное дитя,—
Пророчил старый воин,—
Могущ, бестрепетен, как я,
Будь Ангуса достоин!
Да будут девы прославлять
Копье и меч Оскара,
Да будет злобный трепетать
ОскарOVA удара!»

13

Проходит год — и снова пир:
У Ангуса два сына;
И весел он при звуке лир,
И радостна дружина.
Копье ли учит их метать —
Их дикий вопрь трепещет,
Стрелу ли меткую пускать —
Никто верней не мечет.

14

Еще младенцы по летам,—
Они в рядах героев:
По грозным, пагубным мечам
Их знают в вихре боев.
Кто первый грянул на врагов?
Чьих стран герои эти?
То цвет Морвеновых сынов,
То Ангусовы дети.

15

Чернее вранова крыла,
С небрежной красотой
Вокруг ОскарOVA чела
Власы вились волною;
Их ветер вздымал на раменах
Угрюмого Аллана.
Оскар был месяц в облаках,
Аллан — как тень тумана.

16

Оскар, с бестрепетной душой,
Чуждался зла и лести;
Всегда волнующий тоской,
Аллан был склонен к мести.
Оскар, как искренность, не знал
Притворствовать искусства;
Аллан в душе своей скрывал
Завистливые чувства.

17

С блестящей утренней звездой
В лазури небосклона
Равнялась гордой красотой
Царица Сутгантона.
И не один герой искал
Супругом быть прекрасной,
И к деве милой запылал
Оскар любовью страстной.

18

Кеннет и царственный венец
Приданым к сочетанью,
И в думе радостный отец
Внимал его желанью;
Ему приятен был союз
С коленом Гленнальвона:
Он мнил посредством брачных уз
Соединить два трона.

19

Я слышу рокоты рогов
И свадебные клики,
И сонмы старцев и певцов
Ликут вкруг владыки;
Летают персты по струнам,
Пылает дуб столетний,
И ходит быстро по рукам
Стакан отцов заветный.

20

В одеждах пышных и цветных
Герои собралися,
И в Альве песни дев молодых
И цитры раздалися.
Кипит в сердцах восторг живой:
Все пьют веселья сладость —
И Мора, в ткани золотой,
Таит невольно радость.

21

Но где Оскар? Уж меркнет день,
Клубятся в небе тучи;
Покрыла лес и горы тень...
Приди, ловец могучий!
Луна лиет дрожащий свет
Из облака тумана;
Невеста ждет — и нет их, нет,
Оскара и Аллана.

22

Пришел Аллан, с невестой сел
И в думу погрузился.
И вот отец его узрел:
«Куда Оскар сокрылся?
Где были вы во тьме ночной?»
«Гоняя лютых вепрей,
Давно расстался он со мной
В кустах дремучих дебрей.

23

Гроза ревет; быть может, он
Зашел далёко в горы:
Ему приятней зверя стон
Руки прелестной Моря».
«Мой сын, любезный мой Оскар! —
Вскричал отец унылый. —
Где ты? Где ты? Какой удар
И мне и Море милой!

24

Скорей, о воины-друзья,
Обречь его теките,
Спокойте Мору и меня:
Оскара приведите!
Ступай, Аллан, — ищи его,
Пройди леса, долины...
Отдайте сына моего
Мне, верные дружины!»

25

В смятенье все. «Оскар, Оскар!» —
Взывают звероловы,
И грозно вторит им удар
В поднёбесье громовый.
«Оскар!» — отвечают леса,
«Оскар!» — грохочут волны,
И воют буря и гроза —
И все опять безмолвны.

26

Денница гонит мрак ночной,
Свод неба прояснился:
Проходит день, прошел другой —
Оскар не возвратился.
Приди, Оскар! — невеста ждет,
Ждут девы молодые;
И нет его — и Ангус рвет
Власы свои седые.

27

«Оскар, предмет моей любви!
Оскар, мой светлый гений!
Ужели ты с лица земли
Нисшел в обитель теней?
О, где ты, сына моего
Убийца потаенный?
Открой его, открой его,
Властитель над вселенной!

28

Быть может, жертва злобы, он
Лежит без погребенья
И труп героя обречен
Зверям на расхищенье;
Быть может, змий в его костях
Белеющих таится
И на скале Оскаров прах
Луною серебрится.

29

Не с честью он, не в битве пал,
Но от руки поносной;
Сразил могучего кинжал —
Не меч победоносный.
Никто слезой не оросит
Оскаровой могилы
И славы холм не посетит
В час полночи унылой.

30

Оскар, Оскар! Закрыл ли ты
Пленительные взоры?
Правдивы ль Ангуса мечты
И вышнему укоры?
Погиб ли ты, сын милый мой,
Души моей отрада?
Сдружися, смерть, сдружися со мной,
Небес благих награда!»

31

Так старец, мучимый тоской,
Излил свое волнение,
И чужд душе его покой,
И чуждо утешенье;
Повсюду, горестный, влачит
Губительное бремя,
И редко дух его живит
Целительное время.

32

«Оскар мой жив», — он льстит себя
Надеждою приятной
И снова мнит: «Несчастен я,
Погиб он невозвратно». —
Как звезды яркие во мгле
То меркнут, то пылают,
Печаль с отрадой на челе
У Ангуса сияют.

33

Текут за днем другие дни
Чредою постоянной,
И кроют будущность они
Завесою туманной.
Плывет луна, проходит год.
«Оскар не возвратится», —
И реже старец слезы льет,
И менее крушится.

34

Оскара нет — Аллан при нем:
Он дней его опора;
И тайным пламенным огнем
К нему пылает Мора.
Подобный брату красотой
И дев очарованье,
Привлек он Моря молодой
Летучее вниманье.

35

«Оскара нет, Оскар убит,
И ждать его напрасно, —
Стыдливо дева говорит,
Сгорая негой страстной. —
Когда ж он жив, то, может быть,
Я — жертвою обмана;
Люблю его, клянусь любить
Прелестного Аллана».

36

«Аллан и Мора! Год один,—
Им старец отвечает,—
Продлите год: погибший сын
Мне сердце сокрушает!
Чрез год и ваши, и мои
Исполнятся желанья:
Я сам назначу день любви
И бракосочетанья...»

37

Проходит год. Ночная тень
Туманит лес и горы;
И вот настал желанный день
Для юноши и Моры.
Пышнее на небе блесит
Светило золотое;
Быстрее во взорах их горит
Веселие живое.

38

Я слышу рокоты рогов
И свадебные клики,
И сонмы старцев и певцов
Ликуют вокруг владыки;
Летают персты по струнам,
Пылает дуб столетний,
И ходит быстро по рукам
Стакан отцов заветный.

39

В одеждах пышных и цветных
Герои собралися,
И в Альве песни дев младых
И цитры раздалися.
Забыта горесть прежних дней;
Все пьют блаженства сладость,
И средь торжественных огней
Таит невеста радость.

40

Но кто сей муж? Невольный страх
Черты его вселяют;

Вражда и месть в его очах
Как молнии сверкают.
Незнаем он, не Альвы сын,
Свирепый и угрюмый,
И сел от всех вдали один,
Исполнен тяжелой думы.

41

Окрест рамен его обвит
Плащ черный и широкий;
Перо багровое сенил
Шелом его высокий.
Слова его — как гул вдали,
Как гром перед грозою;
Едва касается земли
Он легкою стопою.

42

Уж полночь. Гости за столом,
Живее арфы звуки,
И кубок с дедовским вином
Из рук летает в руки.
Желают счастья молодым,
Поют во славу Моря;
Стремятся радостные к ним
Приветствия и взоры.

43

И вдруг, как бурная волна,
Воспрянул неизвестный,
И воцарилась тишина
И трепет повсеместный.
Умолк веселый шум речей
И свадебные клики,
И страх проник в сердца гостей,
И Моря, и владыки.

44

«Старик, — сказал он, — вокруг тебя,
Как звезды вокруг тумана,
Пируют верные друзья
И славят брак Аллана.

Я пил за здравие сего
Счастливого супруга,
Пей ты за здравье моего
Товарища и друга!

45

Скажи мне, старец, для чего
Оскар не разделяет
Веселья брата своего?
Зачем не поминает
Никто при вас о сем ловце?
Где Альвы украшеньё?
Зачем не здесь он, при отце?
Реши мое сомненье!»

46

«Оскар где? — Ангус отвечал,
И сердце в нем забилося,
И в золотой его бокал
Слеза из глаз скатилась. —
Давно, мой друг, Оскара нет:
Где он — никто не знает;
Лишь он один на склоне лет
Меня не утешает».

47

«Лишь он один тебя забыл... —
С улыбкою ужасной
Свирепый воин возразил. —
А, может быть, напрасно
Ты плачешь каждый день об нем,
И нам бы о герое
Беседовать как о живом
В пиру, при шумном рое.

48

Наполни кубок свой вином,
И пусть он переходит
Из рук в другие за столом:
Оскара он приводит

На память любящим его.
Я всем провозглашаю:
За здравье друга моего
Оскара — выпиваю!..»

49

«Я пью, — отвечивал старик, —
За здравие Оскара!»
И загремел всеобщий крик:
«За здравие Оскара!»
«Оскар в душе моей живет, —
Сказал старик, — как прежде,
И если жив он, то придет:
Я верю сей надежде».

50

«Придет иль нет, но что ж Аллан
Не пьет вина со мною
И держит полный свой стакан
Дрожащею рукою?
Зачем, скажи, Оскаров брат,
Зачем сие смущенье?
Иль ты не можешь и не рад
Исполнить предложенье?»

51

Какой тебя волнует страх?
Мы пили — не робели!»
И быстро розы на щеках
Аллана помертвели,
Течет с лица холодный пот,
На всех взор дикий мечет,
К устам подносит — и не пьет,
И в ужасе трепещет.

52

«Не пьешь, Аллан! Прекрасно, так!
Любви весьма нелестной
Ты показал нам явный знак! —
Воскликнул неизвестный. —

Я вижу: хочешь честь воздать
Геройскому ты праху,
Но на челе твоём печать
Не радости, а страху».

53

Аллан неверною рукой
Пред воином грозящим
Подносит кубок круговой
К устам своим дрожащим...
«Я пью,— сказал,— за моего
Любезного Оскара...»
И кубок пал из рук его,
Как будто от удара!

54

«Я слышу голос: это он —
Братоубийца злобный!» —
Раздался вдруг протяжный стон
И вопль громоподобный.
«Убийца мой!» — отозвалось
По всем концам собрания,
И с страшным гулом потряслось
Стремительно всё зданье...

55

Померк румяный свет огней,
Загрохотали громы,
И стал незрим в кругу гостей
Чудесный незнакомый,
И отвратительный фантом
В молчании суровом
Предстал, одетый плащом,
Широким и багровым.

56

Из-под полы огромный меч,
Кинжал и рог блистают,
И перья черные до плеч
С шелома упадают;
Зияет рана на его
Груди окровавленной,
И страшны бледное чело
И взор окамененный.

57

С приветом холодным и немым
На старца он взирает
И, взор ослабив, перед ним
Колено преклоняет;
И грозно кажет на груди
Запекшуюся рану
Без чувств простертому среди
Друзей своих Аллану.

58

Вновь громы в мрачных облаках
Над Альвой загремели;
Щиты и латы на стенах
Протяжно зазвенели,
И тень в ужасной красоте,
Одеянная тучей,
Взвилась и скрылась в высоте,
Как метеор летучий.

59

Расстроен пир, собор гостей
Умолк, безмолвен, в страхе!
Но кто — не Ангус ли? Кто сей
Поверженный во прахе?
Нет, дни владыки спасены:
Он жить не перестанет,
Но дни Аллана сочтены:
Он более не встанет...

60

Без погребенья брошен был
Убийцей труп Оскара,
И ветер волосы его носил
В долине Глентонара.
Не в битве жизнь окончил он,
Не мощною рукою,
Венчанный славой, поражен,
Но братнею стрелою.

61

Как в летний зной увядший цвет,
Он пал, войны питомец!
Ему и памятника нет!..

Ужасный незнакомец,
Никем не признанный, исчез!
Другое привиденье,
Как было признано, — с небес
ОскарOVO явленье!

62

Прошли твои златые дни,
Невеста гроба, Мора!
Не узрят более они
Им пагубного взора!
Живи, снедаема тоской,
Печальна и уныла;
Взгляни сюда: сей холм крутой —
Алланова могила.

63

Какие барды воспоют
На арфе громогласной
И поздним летам предадут
Конец его ужасный?
Какой возвышенный певец
Возвышенных деяний
Возложит риторский венец
На урну злодеяний?

64

Пади, венок поэта, в прах!
Ты — не награда злобе:
Одно добро живет в веках,
Порок — истлеет в гробе!
Напрасно жалости злодей
У менестреля просит:
Проклятье брата и людей
Мольбы его разносит.

< 1826 >





ИЗ ЛАМАРТИНА

ЧЕЛОВЕК

К Байрону

О ты, таинственный властитель наших дум —
 Не дух, не человек — непостижимый ум!
 Кто б ни был ты, Байрон, иль злой, иль добрый гений,
 Люблю порыв твоих печальных песнопений,
 Как бури вой, как вихрь, как гром во мраке туч,
 Как моря грозный рев, как молний яркий луч.
 Тебя пленяет стон, отчаянье, страданье;
 Твоя стихия — ночь, смерть, ужас — достоянье.
 Так царь степей — орел, презрев цветы долин,
 Парит превыше звезд, утесов и стремнин.
 Как ты — сын мощный гор, свирепый,

кровожадный —

Он ищет ужасов зимы немой и холодной,
Низринутых волной отломков кораблей,
Костями и трупами усеянных полей...
И между тем, когда певица наслажденья
Поет своей любви и муки, и томленья
Под сенью пальм, у вод смеющейся реки,—
Он видит под собой Кавказские верхи,
Несется в облака, летит в пучине звездной,
Простерся и плывет стремительно над бездной,
И там один среди туманов и снегов,
Свершивши радостный и гибельный свой лов,
Терзая с алчностью трепещущие члены,
Смыкает очи он, грозою усыпленный...
И ты, Байрón, паришь, презревши жалкий мир:
Зло — зрелище твое, отчаянье — твой пир.
Твой взор, твой смертный взор измерил злоключенья;
В душе твоей не бог, но демон искушенья:

Как он, ты движешь всё, ты — мрака властелин,
Надежды кроткий луч отвергнул ты один.
Вопль смертных для тебя — приятная отрада;
Неистовый, как ад, поешь ты в славу ада...

Но что против судеб могучий гений твой?
Всевышнего устав не рушится тобой!
Всеведение его премудро и глубоко.
Имеют свой предел и разум наш, и око, —
За сим пределом мы не видим ничего...
Я жизнью одарен, но как и для чего —
Постигнуть не могу — в руках творца могучих
Образовался мир, как сонмы вод зыбучих,
Как ветер, как легкий прах поверх земли разлил,
Как синий свод небес звездами населил?
Вселенная — его, а мрак, недоуменье,
Безумство, слепота, ничтожность и надменье —
Вот наш единственный и горестный удел.
Байрон! Сей истине не верить ты посмел!
Бессмысленный атом! Исполнить назначенье,
К которому тебя воззвало провиденье,
Хранить в душе своей закон его святой
И петь хвалу ему — вот долг, вот жребий твой.
Природа в красотах изящна, совершенна;
Как бог, она мудра, как время — неизменна.
Смирись пред ней, роптать напрасно не дерзай,
Разящую тебя десницу лобызай.
Свята и милует она во гневе строгом:
Ты — бытие, ты прах, ты червь пред мощным богом.
И ты, и червь равны пред взорами его,
И ты произошел, как червь, из ничего.
Ты возражаешь мне: «Закон уму ужасный
И с промыслом души всемирной несогласный!
Не сущность вижу в нём, но лъстивую тщету.
Чтоб в смертных вкоренить о счастья мечту, —
Тогда как горестей не в силах мы исчислить...»
Байрон! Возможно ль так о Непостижном мыслить,
О связи всех вещей, превыспреннем уме?
Мы слабы. Как и ты, блуждаю я во тьме;
Творец — художник наш, а мы — его махины;
Проникнем ли его начальные причины?
Единый тот, кто мог всё словом сотворить,
Возможет мудрый план природы изъяснить!
Я вижу лабиринт, вступаю — и теряюсь;
Ищу конца его — и тщетно покушаюсь.

Текут дни, месяцы унылой чередой,
 Тоска сменяется лютейшею тоской...
 В границы тесные природой заключенный,
 Свободный, мыслящий, возвышенный, надменный,
 Неограниченный в желаньях властелин,—
 Кто смертный есть, <скажи?> — Эдема падший сын,
 Сраженный полубог!.. Лишась небес державы,
 Он не забыл еще своей минувшей славы;
 Он помнит прежний рай, клянет себя и рок;
 Он неба потерять из памяти не мог...
 Могущий — он парит душой в протекши годы,
 Бессильный — чувствует все прелести свободы,
 Несчастный — ловит луч надежды золотой
 И сердце веселит отрадною мечтой.
 Печальный, горестью, унынием убитый,
 Он схож с тобой, он ты, изгнанник знаменитый!
 Увы, обманутый коварством сатаны,
 Когда ты исходил из милой стороны,
 С отчаяньем в груди, с растерзанной душою,—
 В последний раз тогда горячею слезою
 Ты орошал, Адам, эдемские цветы.
 Бесчувствен, полумертв, у врат повергся ты.
 В последний раз взглянул на милое селенье,
 Где счастье ты вкусил, принял твое рожденье,
 Услышал ангелов поющих сладкий хор —
 И, отвертив главу, склонил печальный взор.
 Еще невольно раз к Эдему обратился,
 Заплакал, зарыдал и быстро удалился...

О жертва бедная раскаянья и мук!
 Какому пению внимал твой робкий слух?
 Могло ль что выразить порыв твоих волнений
 При виде мест едва минувших наслаждений?
 Увы, потерянный прелестный вертоград!
 Ты в душу падшего вливал невольно яд.
 Полна волшебного о счастье воспоминанья,
 Она, как тень, в жару забвенья и мечтанья
 Перелетала вновь в заветные сады
 И упивалась вновь всем блеском красоты.
 Но исчезали сны — и пламенные розы
 Адамовых ланит, как дождь, кропили слезы.
 Когда прошедшее нам сердце тяготит
 И настоящее отрадою не льстит,
 Мы жаждем более счастливого удела,—
 Тогда желанья бывают без предела.

Мы в мыслях воскресим блаженство прежних дней,
И снова вспыхнет огонь погаснувших страстей.

Таков был жребий твой в жестокий час паденья.
Увы! И я испил из чаши злоключенья,
И я, как ты, смотрел, не видя ничего,
И так же быть хотел толковником всего.
Напрасно я искал сокрытого начала,
Природу вопрошал — она не отвечала.
От праха до небес парил мой гордый ум
И — слабый — ниспадал, терялся в бездне дум.
Надеждою дыша, уверенностью полный,
Бесстрашно рассекал я гибельные волны
И истины искал в советах мудрецов;
С Невтоном я летал превыше облаков
И время оставлял, строптивый, за собою,
И в мраках дальних лет я бодрствовал душою.
Во прахе падших царств, в останках вековых
Катонов, Цезарей — свидетелей немых
Неумолимого, как время, разрушенья —
Хотел рассеять я унылые сомненья;
Священных теней их тревожил я покой,
Бессмертия искал я в урне гробовой —
И признаков его, никем не постижимых,
Искал во взорах жертв, недугами томимых,
В очах, исполненных и смерти, и тоски,
В последнем трепете хладеющей руки;
Пылал обрести его в желаниях надежных,
На мрачных высотах туманных гор и снежных,
В струях зеркальных вод, в клубящихся волнах,
В гармонии стихий, в раскатистых громах:
Я мнил, что, грозная, в порывах изменений,
В часы таинственных небесных вдохновений,
Природа изречет пророческий глагол:
Бог блага мог ли быть бог бедствия и зл?
Все промыслы его судеб непостижимы,
И в мире и добро, и зло необходимы.
Но тщетно льстил я... Он есть, сей дивный бог,
Но, зря его во всем, постичь я не возмог.
Я видел: зло с добром — и, мнилось, без цели, —
Смешавшись на земле, повсюду свирепели.
Я видел океан губительного зла,
Где капля блага быть излита не могла;
Я видел торжество блестящее порока —
И добродетель, ах, плачевной жертвой рока.
Во всем я видел зло, добра не понимал
И всё живущее в природе осуждал.

Однажды, тягостной тоскою удрученный,
 Я к небу простирал свой ропот дерзновенный, —
 И вдруг с эфира луч блеснул передо мной
 И овладел моей трепещущей душой.
 Подвигнутый его таинственным влеченьем,
 Расстался я навек с мучительным сомненьем,
 Забыв на вышнего презренную хулу,
 И так ему воспел невольную хвалу:
 «Хвала тебе, творец могучий, бесконечный,
 Верховный разум, дух незримый и предвечный!
 Кто не был, тот восстал из праха пред тобой.
 Не бывши бытием, я слышал голос твой.
 Я здесь! Хаос тебя рожденный славословит,
 И мыслящий атом — твой взор творящий ловит.
 Могу ль измерить я в сей благодатный час
 Неизмеримое пространство между нас?
 Я — дело рук твоих — я, дышащий тобою,
 Приявший жизнь мою невольною судьбою, —
 Могу ли за нее возмездия просить?
 Не ты обязан — я! Мой долг — тебя хвалить!
 Вели, располагай, о ты, неизреченный!
 Готов исполнить твой закон всесовершенный:
 Назначь, определи, мудрейший властелин,
 Пространству, времени — порядок, ход и чин.
 Без тайных ропотов, с слепым повиновеньем
 Доволен буду я твоим определеньем.
 Как сонмы светлые блистательных кругов
 В эфирных высотах, как тысячи миров
 Вращаются, текут в связи непостижимой, —
 Я буду шествовать, тобой руководимый.
 Избранный ли тобой, сын персти, воспарю
 В пределы неба я и, гордый, там узрю
 В лазурных облаках престол твой величавый
 И самого тебя, одянного славой,
 В сиянье радужных, божественных лучей;
 Или, трепещущий всевидящих очей,
 Во мраке хаоса атом, тобой забвенный,
 Несчастный, страждущий и смертными презренный.
 Я буду жалкий член живого бытия, —
 «Всегда хвала тебе, господь!» — воскликну я.
 Ты сотворил меня, твое я есмь создание,
 Пошли мне на главу и гнев, и наказание,
 Я — сын, ты — мой отец! Кипит в груди восторг!
 И снова я скажу: «Хвала тебе, мой бог!»
 Сын праха, воздержись! Святое провиденье
 Сокрыло от тебя твой рок и назначенье.

Как яркая звезда, как месяц молодой
Плывет и сыплет блеск по тучам золотой
И кроет юный рог за рощею ночью, —
Так шествуешь и ты неверною стопою
В юдоли жизни сей. Ты слабым создан был;
Две крайности в тебе творец соединил.
Быть может, с ними я невольно стал несчастен,
Но благи твои и слава я причастен.
Ты мудр — немудрого не можешь произвести:
Склоняюсь пред тобой... Хвала тебе и честь!

Но между тем тоска сменила в сердце радость;
Погасла навсегда смеющаяся младость.
Угрюмый, одинок, прошедшим удручен,
Я вижу: пролетит существенный мой сон!
Престанет гнать меня завистливая злоба!
Полуразрушенный, стою при дверях гроба:
Хвала тебе! Вражды и горести змия
Терзала грудь мою. В слезах родился я,
Слезами обливал мой хлеб приобретенный,
В слезах всю жизнь провел, тобою пораженный:
Хвала тебе! Терпел невинно я, страдал,
До дна испил я бед и горестей фиал,
У праведных небес просил себе защиты —
И пал, перунами всевышнего убитый.
Хвала тебе! Тобой невинность сражена!..
Был друг души моей — отрада мне одна!
Ты сам соединил нас узами любви,
И ты запечатлел союз священной крови —
Вся жизнь его была лишь жизнью моею,
И душу я его считал душой своей...
Как юный, нежный цвет, от стебля отделенный,
Увял он на груди моей окамененной!..
Я видел смерть в его хладеющих чертах,
Любовь боролась с ней, и в гаснущих очах
Изображалось всё души его томленье...
«О солнце, — я молил, — продли твое течение!»
Как жертва палача в час смерти роковой,
Преступник зрит топор, взнесенный над главою,
Бесчувствен, падает в отчаянье и страхе
И ловит бытия последний миг на плахе, —
Так, бледен, быстр как взор, внимателен как слух,
Я рвался удержать его последний дух...
Он излетел!.. — О бог правдивый, милосердый!
Простишь ли мне? — роптал в несчастьях нетвердый,

Роптал против тебя, судил твои пути...
Непостижимый бог! Прости меня, прости!..
Ты прав!.. Безумен я... Достоин наказания...
Ты смертным создал мир — и дал в удел страдания.
Так!.. Я не нарушал закона твоего!
Лишился милого душе моей всего,
Лишился радости, покоя невозвратно,
Но что ж? Твои дары я возвратил обратно.
Противиться нельзя таинственной судьбе,
Желаньем, волею я жертвую тебе!
Я полон на тебя незыблемой надежды,
И с верою она мои закроет вежды.
Люблю тебя, творец, во мраке грозных туч,
Когда ты в молниях, ужасен и могуч,
Устав преподаешь природе уstraшенной,
Иль, кроткия весны дыханьем облеченный,
На землю низведешь гармонию небес!
«Хвала тебе! — скажу, лия потоки слез,—
Хвала, верховный ум, порядок неразрывный!
Рази, карай меня! Хвала тебе, бог дивный!..»
Так мыслил я тогда, так небом пламенел
И так, восторженный, царя природы пел.
О ты, неопытных коварный искуcитель,
Неистовый сердец чувствительных мучитель!
Познай, Байрон, мечту твоих печальных дум,
Познай — и устрemi ко благу пылкий ум!
Наперник ужасов, певец ожесточенья!
Ужель твоя душа не знает умиления?
Простри на небеса задумчивый твой взор:
Не зришь ли в них творцу согласный, стройный хор?
Не чувствуешь ли ты невольного восторга?
Дерзнешь ли не признать и власть, и силу бога,
Таинственный устав, непостижимый перст
В премудром чертеже миров, планет и звезд?
Ах, если б, смерти сын, из мрака вечной ночи
Ты оросил слезой раскаяния очи,
Надеждой окрилен, оставил ада свод
И к свету горнему направил свой полет
И в сонме ангелов твоя взгремела лира,—
Нет, никогда б еще во области эфира
Никто возвышенной, приятней и сильней
Не выразил хвалы владыке всех царей!
Мужайся, падший дух! Божественные знаки
Ты носишь на челе. Как легкие призраки,
Как сон, как ветерок, исчезнет славы дым;

Ты адом, гордостью, ты злом боготворим.
Царь песней! Презри лесть: она — твоя отравя;
С одною истиной прочна бывает слава.
Склони пред ней главу, надменный великан!
Теки, спеши занять потерянный твой сан
Среди сынов, благим отцом благословенных,
Для радости, любви, для счастья сотворенных!..

<1825>

ОТРЫВОК ИЗ ПОЭМЫ
«СМЕРТЬ СОКРАТА»

Сократ утешает плачущих учеников своих.

«Вы плачете, друзья, и плачете в то время,
Когда моя душа, как чистый фимиам,
Навек освобождаясь от тягостного бремя,
Стремится к небесам.

Когда она в пылу священного восторга,
Как светлый, горный дух, стрясая прах земной,
Из царства горести парит на лоно бога
И истины святой.

Что время и что жизнь без смерти в сей юдоли?
Почто приятно мне за истину страдать?
Почто моя душа оковы сей неволи
Пылает разорвать?

Что значит, о друзья, без смерти добродетель?
Что память мудрого в потомстве оживит?
Смерть!.. Смертию одной верховный благодетель
Ее вознаградит.

Она не бич людей, но жребий вождеденный,
Победоносный лавр, торжественный венец,
Которым нас дарит рукой благословенной
Всеведущий творец.

И если б, вопреки могучему велению,
Я жизнью дорожил и мог ее продлить,
О други, и тогда, покорный провиденью,
Я не желал бы жить.

Не плачьте обо мне: не скорбью удрученных
Приятно мне узреть сподвижников моих,
Но с радостным челом, и амброй окуренных,
И в тканях дорогих.

Как юноша-жених, увенчанный цветами,
К невесте молодой идет при звуках лир,
Так я хочу идти, о други, между вами
На смертный вечный пир.

Что значит умереть? Прервать соединенье
Небесного луча с презренною землей
И снова исполнять свое предназначенье
За дверью гробовой.

Напрасно человек стремится за блаженством:
Подобный узнику, стрегомому в тюрьме,
Одеянный своим земным несовершенством,
Блуждает он во тьме.

Но тот, кого волна низвергла в пристань мира,
Кто жизни новый свет с спокойствием узрел,
Тот сам, как луч зари, во области эфира,
На небо полетел.

Он чужд уже своей презренной оболочки;
Союз с землей его не в силах тяготить,
И жизнь и смерть пред ним — невидимые точки:
Он снова начал жить!

«Но смерть есть чаша зол — край бедствий и
страданий!»
Друзья, не может быть... Сей тяжкий перелом
Есть странствия конец и горьких испытаний,
И зло везде с добром.

Не зрим ли мы, что день течет за мраком ночи,
Приятная весна — за холодной зимой;
С воззрением на свет блещут младенца очи
Невинною слезой.

Верховного творца могучая десница
Сравнила море зла и море вечных благ:
Предшественница тьмы, бессмертия денница —
И к богу первый шаг.

Не знаю, с торжеством или с грустью безнадежной
Ввергается душа в объятия ея,
Но с чистою душой сей жребий неизбежный
Не страшен для меня.

Я думаю, что бог за жизнь земную,
Как правый и благой, блаженство обречет
И, сердце поразив губительной стрелою,
Бальзам в него прольет...»

Мы слушали... Один с улыбкою сомненья
Сократовы слова Цебес сопровождал —
И, полный вдохновенья,
Учитель продолжал:

«Так, други! Первый луч блистательной зарницы,
Летучий аромат мастики и цветов,
Слитный голос дев с гармонией цевницы
И звуки милых слов —

Ничто не превзойдет чистейшего восторга
Страдалицы души, летящей к небесам...
Что жизнь, что смерть, что мир? Ничто пред славой бога.
Удел наш — счастье *там*.

Довольно ль умереть, чтоб снова возродиться?
Нет! К вышнему предстань с невинною душой,
От тлена и страстей умей освободиться
Пред жизнь другую.

Жизнь в смерть преобрати: земная жизнь — сраженье,
Смерть — лавр, земля — огонь, в котором человек
Свергает навсегда земное облаченье,
Окончив краткий век.

Тогда, друзья, тогда, от уз освобожденный,
Приемлет он уже награду от небес;
Простер крыле, парит, он там в сени блаженной —
И мир пред ним исчез!

Так, смертный счастливый, покорный вышней власти,
Который суету рассудку подчинил,
Который обуздал презрительные страсти,
Закон и правду чтит,

Который ниспроверг бессмертия преграду,
Был злобы враг, дышал и жил одним добром,—
Страдалец праведный украсится в награду
Божественным венцом.

Но тот, кто ложный блеск обманчивых мечтаний
Священной истине безумно предпочел,
Кто, чувственности раб, в юдоли испытаний
Стезей неверной шел,

Кто в вихре суеты, забав и наслаждений,
В порочном торжестве, как Леда, утопал,
Кто неба глас среди греховных упоений
И совесть заглушал,—

О други, никогда тот смертный злочестивый
Земных своих оков не может сокрушить:
Разрушится над ним гнев бога справедливый —
По смерти будет жить!

Как жалостная тень преступной Арахней,
В кругу своих детей страдать осуждена,
И неразлучны с ней сыны ее — злодеи,
И мучится она,—

Так точно и душа преступника земного
Подвергнется навек сей горестной судьбе —
Не к богу воспарит, но с телом будет снова
В мучительной борьбе...»

Умолк... Сомнительный Цebes прервал молчанье.
«Сократ,— вещает он,— приятно для меня
На вечность и на суд небесный упованье,
Бессмертью верю я;

Согласен я, что жизнь — ничтожное мгновенье:
Тому примером всё, тому примером ты,
Но дай на мой вопрос правдивое решенье —
Я в бездне темноты.

Ты рек: душа живет за дверью гробовою,
Но если в факеле светильник догорел,
То где огонь? Куда с последнею струею
Сей пламень отлетел?

Ты мнишь, душа для чувств есть арфы звук согласный,
А Арфа будет прах от времени и лет.
Цебес, не лыстись мечтой и ложной и опасной:
Душе предела нет.

Судьба земных вещей ничтожна, быстротечна,
Но тайною душой, но нами движет бог.
Перст божий — звук души; как бог, душа безвечна...
Бессмертен я!.. Восторг!..»

И между тем уже румяное светило
На западе текло во блеске красоты
И, кроясь в волнах, печально золотило
Гимета высоты.

Спешили к берегам, белея парусами,
Укромные ладьи веселых рыбаей,
И, с радостными их сливаясь голосами,
Пел в роще соловей.

И ближе пастухов свирели раздавались,
И счастливых людей отрада и покой —
В темнице мудреца с тоской согласовались,
Как отблеск света с тьмой.

< 1826 >

МЕЧТА

Простерла ночь свои крыле
На свод небес червлёный;
Туманы выются по земле...
В сон легкий погруженный,
На камне диком я сию
В мечтаниях унылых
И в горькой думе привожу
На память сердцу милых.
Вдруг из-за черно-сизых туч
Серебряной струею
С луны отторгнувшийся луч
Блеснул передо мною.
О милый луч, зачем рассек
Ты горние туманы?
Иль исцелить мои притек
Неисцелимы раны?

Или сокрытые судьбой
Поведать тайны мира?
О луч божественный, открой,
Открой, пришлец эфира:
Или к несчастьем влечет
Тебя волшебна сила,
И снова к счастью расцветет
Душа моя уныла?
Так! Я восторгом упоен
И мыслю священной!
Не ты ли в образ облечен
Души мне незабвенной?
Быть может, вьется надо мной
Дух милый в виде тени,
Быть может, ивы сей густой
Он потрясает сени.
Ах, если это не мечта
В час полночи священный,
Носися вокруг меня всегда,
О призрак драгоценный!
Хотя твоим полетом слух
Мой робкий насладится,
И изнемогший, скорбный дух
Внезапно оживится...
Но месяц посреди небес
Облекся пеленою.
Где милый луч мой? Он исчез —
И я один с мечтою!

1820-е годы





ИЗ ПАНАРА

ПЕСНЯ

К

Как смешон,
Неумен
Муж ревнивый,
Неучтивый!
Как хотеть
Завладеть
Лишь ему
Одному
(Без причины)
И рукой,
И душой
Половины!
Хоть сердись,
Хоть бранись,
Коль захочется Амуру,
То жена,
Сатана,
Изомнет твою прическу!
Будешь горестно рыдать,
Будешь лоб свой проклинать,—
Но напрасно!
Не найдешь себе утех
И услышишь только смех
Повсечасный.
Станут дыбом волоса,
Коль споют тебе в глаза
Песенку такую,
Хитрую и злую:
Как смешон,
Неумен
Муж ревнивый,
Неучтивый!

Как хотеть
Завладеть
Лишь ему
Одному
(Без причины)
И рукой,
И душой
Половины!

< 1829 >





ИЗ ПЮГО

ЛУННЫЙ СВЕТ

Per amica silentia lunae.

*Virgilius*¹

В водах полусонных играла луна.
Гарем освежило дыхание свободы;
На ясное небо, на светлые воды
Султанша в раздумье глядит из окна.
Внезапно гитара в руке замерла,
Как будто протяжный и жалобный ропот
Раздался над морем!.. Не конский ли топот,
Не шум ли глухой удалого весла?
Не птица ли ночи широким крылом
Рассέкла зыбучей волны половину?
Не дух ли лукавый морскую пучину
Тревожит, бессонный, в покое ночном?..
Кто нагло смеется над робостью жен?
Кто море волнует?.. Не демон лукавый,
Не тяжкие весла лады величавой,
Не птица ночная!.. Откуда же он,
Откуда протяжный и жалобный стон?
Вот грозный мешок!.. Голубая волна
В нем члены живые и топит, и носит,
И будто пощады у варваров просит...
В водах полусонных играла луна.

< 1833 >

¹ Луна дружелюбно сияла. *Вергилий* (лат.). — *Ред.*

ГИМН НЕРОНА

Nescio quid molle atque facetum.

Horac < ius > ¹

1

Друзья! Не мудрым угрожает
Тяжелой скуки длинный час!
Вам пир роскошный предлагает
Нерон и консул в третий раз,
Нерон, владыка полумира,
В руках которого гремит
Перун и греческая лира,
Животворящая гранит.

2

Услышите голос мой призывный!
Нет, никогда и слух и взор
Не услаждали вы так дивно,
Паллас и милый Агенор!
Ни эти шумные обеды,
Где наш Сенека заседал
И чаши дружеской беседы
Вином фалернским наполнял.

3

Ни вечера, когда Аглая,
В галере легкой и цветной,
Пленяла нас, полунагая,
Своей волшебною красой!
Ни цирк воинственно-мятежный,
Где сонмы гнусные рабов
Встречались с смертью неизбежной
Между когтями диких львов.

4

Ко мне! Мы с верху этой башни
В огне увидим целый Рим!
Что зубы тигра! Пламень страшный,
Как самый ад, неодолим!

¹ Не знаю, нечто изнеженное и насмешливое. *Гораций* (лат.).— *Ред.*

Я образую цирк широкой
Между семи священных гор,
Где озарится в тьме глубокой
Весь Рим, как светлый метеор!

5

Так — мира сильный обладатель
Досуг печальный усладит!
Так — землю он, как бог-каратель,
Перуном грозным поразит!
Но время! Гидра огневая
Шумит торжественным крылом, —
И вот, хребет свой извивая,
Зарделась в сумраке ночном.

6

Смотрите! Вот, она не дремлет!
И блеск и дым — се бойцы!
И будто с ласкою объемлет
Она и стены и дворцы.
О, для чего мои лобзанья,
Как пламень серный, не горят,
Не могут в душу лить страданья,
Не пожирают — не мертвят?

7

Внемлите голосу молений
И воплю старцев и детей!
Смотрите: бледные как тени
Они мелькают средь огней!
Колонны, двери золотые
Трещат, колеблются, падут
И в волны Тибра голубые
С рекою бронзовой текут.

8

И гибнут в лавах бесконечных
Порфир, и мрамор, и гранит —
И вас, о статуи предвечных,
Победный пламень не щадит!

Руководим моею волей,
Он всё до хижин обоймет,
И аквилон в широком поле
Останки Рима разнесет.

9

Прости, надменный Капитолий!
Нерон сказал — и совершит!
Вот арка Силлы! Грозной доли
Теперь она не избежит!
Пылают портики и храмы,
Весь Рим! Властительный Зевес,
Ужели эти фимиамы
Не достигают до небес?

10

И что пророчества Сивиллы,
И где судьба семи долин?
Она сказала: «Вражьи силы
Тебя возвысят, исполин!
О Рим, удел твой — бесконечность!
Ты сын бессмертья и веков!»
Друзья мои! Вся эта вечность
Продлится несколько часов!

11

Прекрасны пламенные воды!
Тебя я понял, Герострат!
Повсюду вас, мои народы,
Они, как змеи, окружают!
Освободите от короны
Мое горящее чело!
Венок мой свежий, благовонный
Золой и пеплом занесло!

12

Окровавлённые одежды
Вином душистым обольем!
Одни безумные невежды
Облиты кровью за столом!
В высоких, сильных наслаждениях
Забудем злобную игру
И станем жить не в сожаленьях,
Но в упоенье на пиру!

13

Я наказую Рим державный!
Я омрачу его звезду!
Он жертвы робкие бесславно
Приносит Зевсу и Христу!
Что ж алтарей не воздвигают
И мне, властителю рабов,
Когда вседневно умножает
Число героев и рабов!

14

Я уничтожу Рим — и, смелый,
Восстановлю его опять!
Но христиане!.. Копья, стрелы
Должны их всюду поражать!
На смерть их всех — на поруганья!
Они зажгли великий Рим!
Гей, раб мой! Где благоуханья?
Мне запах дыма нестерпим!

< 1837 >

ПИР ДУХОВ

Hic chorus ingens
... lolit orgia.
*Avienus*¹

Смотрите, как над черными стенами
Сокрытого во мгле монастыря
Дрожит луна неверными лучами,
Как будто страх невольный затая.
Дух полночи коснулся диких башен
И, овладев чугунным языком,
Двенадцать раз, торжественен и страшен,
Пронес свой гул в безмолвии ночном.
Грохочет он в пространстве необъятном,
Звучит, ревет протяжно этот гул,
Как ярый лев под острием булатным, —
И наконец, ослабленный, уснул.
Внимайте! Где? Откуда эти стоны
И вопль и вой? Какой ужасный вид:
Гранитный дом, верхи его, колонны
И весь он, весь блистанием облит;
И вспенилась, и бьет вода святая,
Как белый ключ в сосуде вековом,

¹ Здесь громадный сонм... устраивает оргию. *Авиен* (лат.). — *Ред.*

И между тем как лава огневая
Везде кипит в мерцанье голубом,—
Рыдания, свист, неистовые клики
Со всех сторон внезапно раздались...
И злых духов торжественные лики
Из вод и гор в обитель принеслись!
Волшебницы, вампиры, змеи, гномы,
Чудовища — исчажья Сатаны,
Гремящие скелеты и фантомы,
И мрачные безбожия сыны,
Лукавые, как адские обманы,
С таинственной тиарой на челе,
В магических покрывах некроманы,
И сонмы ведьм, проклятых на земле,
И демонов клубящиеся волны —
Сквозь трещины и окон и дверей
В священный дом, пустынный и безмолвный,
Внеслись как вихрь при зареве огней!
Вот Люцифер, их грозный повелитель;
В порфире он, в короне золотой,
И на алтарь святыни, осквернитель,
Он наступил преступною пятой.
О ужас! Вот их хоры загрели
На месте том, где бодрствует сам бог:
Рука с рукой, стремясь к нечистой цели,
Они сошлись, как бездна и порок...
Как смерть и грех... и демонские пляски
Вдруг начались!.. По очереди глаз
Встречает их кружащиеся маски,
Все дивные в полночный этот час.
Смотря на них, представить смело можно,
Что самый ад, рассея вечный мрак,
Вращает здесь с оргией тревожной
Свой пагубный и страшный зодиак.
Все в цепь одну свились неразрывно,
И Сатаны услышан глас призывный!..

И мерные звуки их тяжких шагов
Тревожат унылый покой мертвецов.

ХОР ДЕМОНОВ

Безобразною толпой,
Без порядка и разбора,
В кликах радостного хора
Мы забудем век позора,
О наш царь, перед тобой!

Это время — время мира,
И багровая порфира
На плече твоём средь пира
Блещет райской красотой.

И мерные звуки их тяжких шагов
Тревожат унылый покой мертвецов.

О, стекайтесь же на пир,
Наши сестры, наши братья,
Заклейменные печатью
Громогласного проклятья, —
Здесь другой, отрадный мир!
Вы, суровые мегеры,
Без надежды и без веры,
Бросьте темные пещеры
И почитите свой кумир!

И мерные звуки их тяжких шагов
Тревожат унылый покой мертвецов.

Приноситесь же сюда,
Торжествуйте вместе с нами:
Карлы с козьими ногами
И с кровавыми устами
Гробовыходцев толпа!
Вы, седые кровопийцы,
Заговорщицы, убийцы,
Что не мчат вас кобылицы
Без узды и без седла?

И мерные звуки их тяжких шагов
Тревожат унылый покой мертвецов.

И сатиры, и козлы,
И русалки молодые,
Соблазнительницы злые,
Бросьте волны голубые,
Бросьте темные углы.
И кагалом беспокойным,
Разноцветным и нестройным,
Воспоем хвалу достойным
Нашей демонской хвалы.

И мерные звуки их тяжких шагов
Тревожат унылый покой мертвецов.

Пусть же в грозный этот час
Проповедник волхвованья
Воскурит благоуханья
Не блюстителю создания,
Отвергающему нас,
Но владыке нашей жизни,
Аду — ярости отчизне,
Где в огне и в укоризне
Луч бессмертья не угас!

И мерные звуки их тяжких шагов
Тревожат унылый покой мертвецов.

И могущий Сатана,
Издеваясь над святыней,
Полон мести и гордыни,
Произносит как в пустыне
Здесь ужасные слова.
Взор отчаянья он мещет,
Но не бледен, не трепещет
Перед книгою, где блещет
Имя: вечный Егова!

И мерные звуки их тяжких шагов
Тревожат унылый покой мертвецов.

И, восставши из гробов,
С жизнью новой и тревожной,
Пусть хулит неосторожно
Дух лукавый и безбожный
Веру дедов и отцов.
И под ризою священной,
Блеском ада озаренной,
Пусть смеется дерзновенно
Над создателем миров.

И мерные звуки их тяжких шагов
Тревожат унылый покой мертвецов.

Вас заметит Сатана!
Вы тяжелыми руками
Непонятными чертами
Начертите между нами
Слово тьмы: Абракарда!
Птицы ночи и боязни,

Прилетайте же — не казни,
Но веселью, но приязни
Эта ночь посвящена!

И мерные звуки их тяжких шагов
Тревожат унылый покой мертвецов.
Вот знамение чудес,
Вот и клятва роковая:
Пусть невинная, святая,
С сей поры душа живая
Не достигнет до небес!
Но чтоб луч надежды ясной
Для отшельницы прекрасной
В мраке вечности ужасной
Потерялся и исчез!
Заря осветила туманное зданье,
Сокрылись виденья и сонмы духов!
Опять воцарились и сон и молчанье,
Ничто не тревожит покоя гробов.

< 1837 >

ЛЮДОВИК XVII

Проснись. Капет!

1

В то время небеса отверзлись голубые;
В святой святых огни, как лавы золотые,
Мгновенно разлились в блистаньях неземных.
И праведных мужей божественные сонмы
Узрели юный дух, к предвечному несомый
На крыльях ангелов младых!

То был младенца лик, прекрасный, лучезарный,
Бегущий навсегда земли неблагоприятной,
Под сению кудрей, с алмазною слезой.
И с гимном торжества фаланги дев избранных
Украсили венком из роз благоуханных
Чело, объятые тоской!

2

И голоса рекли из облака в то время:
«Блаженствуй, юный дух! От тягостного бремя
Бог крепости и сил
Тебя освободил!

А вы, архангелы, пророки, херувимы,
Склонитесь перед ним: он царь!
Вспойте — без вины злодеями гонимый,
Он заслужил страдальческий алтарь!»

«Но где я царствовал? — спросила тень младая. —
Я узник, я не царь! Давно ли тень ночная
С темницей, мрачной и сырой,
Меня внезапно разлучила?
Скажи же, бог, владыко мой,
Когда я царствовал? Темница мне могила;
Отец мой пал от злобы палачей,
Я — сирота; в кругу людей
Давно, давно меня забыли;
Меня всего священного лишили;
Я мать свою ищу всегда в приятных снах,
Я видел здесь ее, на светлых небесах!»

Архангелы в ответ: «Творец чадолюбивый
Извлек тебя из бездны нечестивой,
Воззвал к себе из страшных мест,
Где царствуют тираны, кровопийцы,
Где нарушают мир гробов цареубийцы
И попирают дивный крест!»

«Итак, — он говорил, — моей суровой жизни
Я кончил длинный путь! Итак, посол обид,
Покою моего на лоне сей отчизны
Тюремный страж не возмутит!
У бога я просил в печали утешенья,
Ужели он мольбе моей внимал?
Ужели умер я — и цепь порабошенья
С моею смертью разорвал?
О, верьте мне! Я был достоин сожаленья!
День каждый приносил мне лютые мученья!
Когда же, слез моих не в силах затаить,
Я плакал, — то один, без матери любимой,
Которая б могла мой жребий нестерпимый
Одной улыбкою смягчить!

Невинный и молодой — весь ужас угнетенья
Я, как злодей, переносил,
И никогда не знал, какие преступленья
Я в колыбели совершил!
И между тем пред казнью этой вечной,

Мне помнится, внимал я в сладкой тишине
 И гласам торжества и славы бесконечной,
 И доблестный народ эгидою был мне.
 И вдруг покрылось всё непостижимой тайной:
 Я стал добычею оков,
 И на земле, как лист, поблекший и случайный,
 Был подавлён пятой врагов!
 И бросили меня с глаголами проклятий
 В темницу — далеко от солнечных лучей,
 Но вы знакомы мне, о сонмы милых братий,
 Вы часто надо мной вились во тьме ночей!
 Под кровожадными руками
 Моя весна, о бог мой, отцвела,
 Но я за них молю тебя с слезами,
 Прости им злобные дела!»

И пели ангелы: «С небесного ковчега
 Завеса пала пред тобой;
 Дух юный, приими крыле белее снега,
 Лазурней тверди голубой.
 Ты наш! Младенческие слезы
 Мы будем вместе собирать,
 И солнцев золотых пылающие розы
 Дыханьем светлым обновлять!»

3

Умолк чудесный хор! Избранные внимали:
 Страдалец преклонил невинную главу,
 И вдруг среди небес миров миллионы стали,
 Услышан глас — и все познали Егову!

«О царь! Я даровал удел тебе суровый!
 Носил ты на земле не скипетр, а оковы.
 Но их, мой сын, благослови!
 Я врезал их в твои младенческие руки,
 Но юное чело избавлено от муки
 И от короны — не в крови!

Дитя, ты изнемог под бременем страданий
 Меж тем когда цветы прекрасных ожиданий
 Росли вокруг твоих пелен.
 Но помни: вечный бог, спаситель твой могучий,
 Мой сын и царь, как ты, носил венец колючий —
 И крест был праведнику трон!»



ИЗ ДЕЛАВИНЯ

ТРОЯНКИ

Кантата

Ἀλλ' ὦ τῶν χαλκευχῶν Τρώων
Ἀλοχοὶ μέλεια,
Καὶ χοῦραι δύνουμφοι,
Τύφεται Ἰλιον αἰάζωμεν.¹

Еврипид

Т

роянки пленные на бреге Симоиса
Страдальческой толпой
Вспоминали дни беспечности святой,
Которые для них так быстро пронеслися.
С слезами на очах,
С челом, увядшим от печали,
Они на Илион разрушенный взирали,
И грусть их излилась в унылых голосах.

ХОР

Отечество рабов, погибшая держава,
Исчез твой блеск, померкла слава!

ТРОЯНКА

Царей соседственных надежда и оплот,
Как часто Илион был верной их защитой!
Бесчисленный народ,
Как волны, наполнял сей город знаменитый;
Полет губительный веков
Коснулся не дерзал его огромных башен;
Возникший из земли велением богов,
Верхами храмов и дворцов
Касался он, как полубог бесстрашен,
Обители твоих божественных творцов.

¹ О несчастные меднокопейных троянцев девы, злополучные невесты, дымится Илион, возрыдаем (древнегреч.). — *Ред.*

ДРУГАЯ

И пятьдесят сынов — честь Трои —
Сидели на пиру у доброго отца,
И старец изливал веселие в сердца
И верил в счастье земное,
Не видя счастья конца!

ДРУГАЯ

Надежда царственного дома,
О Гектор, ты приемлешь щит;
Железом грудь твоя блестит;
Перо с тяжелого шелома
Чело высокое сенил.
Перед Гекубой уstraшенной
На играх меч твой засверкал,
И лавр победный увенчал
Твою главу, непобежденный.
Прими, Гекуба, сей венок,
Надежды радостной залог,
Из рук любимого героя...
Увы, преступный сын и брат
Вновь обнажат его булат...
Но игры грозные тогда увидит Троя!

ЮНАЯ ДЕВА

Так Поликсена молодым
Своим подругам говорила:
«Для нас весна под небом голубым
Благоухание разлила;
Для нас и игры и цветы...»
Увы, она не говорила:
«На этих берегах, где в блеске красоты
Цвету я жизнью безмятежной,
Оплачут жребий мой жестокий, неизбежный!»
Своим подругам никогда
Она не говорила:
«Я кровью орошу прекрасные места,
Где с вами игры я делила,
Среди несорванных цветов
Мне гроб безвременный готов!»

ХОР

Отечество рабов, погибшая держава,
Исчез твой блеск, померкла слава!

ТРОЯНКА

Что за корабль на белых парусах
Скользит по влаге моря сонной?
Его как будто на крылах
Амур лелеет благосклонный.

ДРУГАЯ

Он в наши стены мчит раздор.
Убийство, гибель и позор!
О бог морей, Нептун, отмсти прелюбодею!
Властительный Зевес,
Сошли твой ярый гром и молнию с небес
Навстречу хищнику злодею!

ТРОЯНКА

Но нет, труба звучит,
Железо засверкало,
Трещат скалы, упал разрушенный гранит;
Кровь льется, туча стрел и копий засвистала...
Там колесница, там боец
Встречают в тесноте свой жалостный конец,
И смерть запиновала!

Ужасный вид:
Гроза в боях,
Ахилл летит —
И все во прах!
Пред ним боязнь,
За ним вослед
Позор, и казнь,
И море бед...
Внезапный страх
У всех в очах:
На поле брани
С мечом во длани
Стоит один
Против Зевеса
И Ахиллеса
Приамов сын!

ДРУГАЯ

Несчастные троянки,
Омойте чистой водой
Его священные останки.
Пал Гектор, пал герой!..
Где амбра, аромат, мастики и куренья?

Пусть вокруг его костра гремит ваш жалкий стон,
Сливаясь с песнью живою сожаленья!..
Трояне, воины, уж нет его!.. Вот он!..
Кропите жаркими слезами
Прах сына славы и побед!..

ХОР

Венчайте девы, гроб великого цветами...
Приам идет за сыном вслед...

ТРОЯНКА

Ты спишь, о Илион, и с радостью жестокой
Ликует Пирр в твоих стенах;
Как тигры алчные в глуши далекой,
Повсюду нанося отчаянье и страх,
Свирепствуют сыны торжественной Эллады.

ДРУГАЯ

Разгонит ветер ночную тень,
Аргос осветит ясный день,
Но Трою — мрачный, без отрады!

ТРОЯНКА

О ночь ужасная, коварный сон!
Зачем вокруг меня мелькают привиденья?
Откуда тусклый блеск, и зверский вопль, и стон?
Как бедственна минута пробужденья!..

ЮНАЯ ТРОЯНКА

Мой брат Стенеллом умерщвлен.

ДРУГАЯ

Сестра моя в огне Аяксовых объятий.

ДРУГАЯ

К Улиссовым стопам отец мой низложен.

ТРОЯНКА

О, день позора, день проклятий!..
Дворцы разграблены, святыня сожжена;
Младенцы, сестры, девы, жены
Под меч иль в плен без обороны..
Одна могила всем граждáнам суждена!..

ДРУГАЯ

Простите вы, поля родные Трои,
Угасший род царей, погибшие герои,
Святой отчизны красота,
И Ида с пышными холмами,

И солнце светлое с родными небесами,
Простите навсегда!..

ТРОЯНКА

Лесов и мраков грозный житель,
Тигр алчный к той долине подойдет,
Где некогда травой святыня зарастет,
И осквернит его приход
Богов старинную обитель.

ДРУГАЯ

И пастырь Иды молчалив.
В развалинах священных,
Под тенью лавров и олив,
Троянской кровью обогренных,
Где стонет в сонме убиенных
Приама-мученика тень,—
Придет искать следов разрушенной державы,
Гробницы Гектора, а над могилой славы
Играет между тем блуждающий елень...

ДРУГАЯ

А мы, несчастные останки разрушенья,
В слезах пройдет наш грустный век,
Волной обиды и презренья
Нас море выбросит на чужеземный берег.

ДРУГАЯ

Узрим пиры врагов: с мучительным позором
Мы уготовим им столы;
Укажут жены их с улыбкой и укором
На наши робкие, покорные главы;
И в чашах золотых, в которых наши деды
Пивали некогда за вольность и любовь,
Мы будем подносить для наглой их беседы
Вино, разврат и нашу кровь....

ТРОЯНКА

Воспойте Илион, отверженный богами,
Воспойте, скажут нам, ничтожные рабы!
Пусть гимны Трои между нами!
Гремят велением судьбы!..
О реки Илиона,
Мы пели радостно на ваших берегах,
Когда вокруг отеческого трона
Кипел с веселием в сердцах
Народ, любимый небесами,

В войну и в тишине прославленный землями,
Но гимн троянский, гимн неволи роковой,
Не огласит земли чужой!..

ДРУГАЯ

Ты хочешь слышать песнь рабыни,
Бесчувственный народ? Отдай нам матерей,
Отдай отцов, детей, и братьев, и мужей,
Исторгни Илион из жалостной пустыни,
В которую его умел ты превратить!
Но если власть твоя не в силах возвратить
Величия сожженного Пергама,
Когда не можешь оживить
Сынов и воинов Приама,—
Послушай плач,— а гимн неволи роковой
Не огласит страны чужой!..

ХОР

Простите ж вы, поля родная Трои,
Угасший род царей, погибшие герои,
Святой отчизны красота,
И Ида с пышными холмами,
И солнце светлое с родными небесами,
Простите навсегда!..

< 1833 >





ИЗ ЛЕГУВЕ

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПОМПЕИ

Печальна и бледна, с высокого балкона
В полночной тишине внимала Дездемона
Напеву дальнему беспечного гребца,
И взор ее искал гондолы невидимой,
С которой тихий звук гармонии любимой
К ней долетал, как звук пернатого певца.

И, грустная, она блуждающее око
Вперяла на ладью, мелькавшую далёко
В пространстве голубом, над сонною волной,
Лишь изредка во мгле звездой озаренной,
Как будто мрак души, внезапно освещенный
Надежды и любви отрадною мечтой.

Всё скрылось, но она была еще вниманье...
Неистойвой любви безумное страданье
Приходит ей на мысль — на арфе золотой
Поет она судьбу Изоры несчастливой.
И ей ли не понять тоски красноречивой,
Когда она поет удел свой роковой?

Потом, напечатлев с улыбкою прощальной
Лобзанье на челе наперсницы печальной,
«Прости!» — сказала ей с слезою на очах
И после, предана неизъяснимой муке,
Воздела к небесам младенческие руки
И пала пред лицом всевышнего во прах...

И, полная надежд и тайных ожиданий,
Отрады и тоски, молитвы и страданий,
На ложе мрачных дум и девственной мечты
Идет она, склонив задумчивые взоры, —
И долго, долго тень унылая Изоры
Вилася над главой уснувшей красоты.

И как спала она в беспечности небрежной!
Как ласково у ней по груди белоснежной
Рассыпалась волна гебеновых кудрей,
Как пышно и легко покровы золотые
Лелеяли и стан и формы молодые —
Создания любви и пламенных страстей!..

Порой мятежный сон тревожил Дездемону;
Она была в огне, и вздох, подобный стону,
Невольно вылетал из трепетной груди,
И яркая слеза, как юная зарница
В туманных небесах, скатившись по реснице,
Скользила и вилась вокруг ее руки.

Прорезав облаков полночных покрывало,
Казалось, луна с участием взидала
На бледные черты прекрасного лица,
Как бы на памятник безвременной могилы
Или на горлицу, уснувшую уныло
Под сетью роковой жестокого ловца...

О, как она была божественно прекрасна!
Руками белыми обвивши сладострастно
Лилейное чело, как греческий амфор,
Как трогательно все в ней душу выражало,
Как все вокруг нее невинностью дышало —
Кто мог бы произнести ей грозный приговор?..

И вдруг глубокое молчанье
Прервал глухой, протяжный гул,
Как будто крылья размахнул
Орел на бранное призванье,
Иль раздалось издалика
Рыканье тигра роковое,
Который бил, от злобы воя,
Громады знойного песка.

То был Отелло, мрачный, дикой,
Вошедший медленно в покой, —
Бродящий с страшною улыбкой
Вокруг страдалицы молодой.
Внезапный шум во мраке ночи
Тогда извлек ее от сна:
Подняв чело, открывши очи,
Невинной роскоши полна,
Еще с печатью сновидений
На отуманенном челе,
Полна тоски и наслаждений,
Как юный ангел на земле,
Она глядит и видит... Боже!
Свирепый, бледный, как злодей,
Бросая мутный взор на ложе,
Стоит Отелло перед ней,
Отелло с сталью обнаженной,
Отелло с молнией в очах,
Отелло с громом на устах:
«Погибель женщине презренной!..»
Бледна как смерть, она встает —
Бежит, но он рукой железной
Предупреждает бесполезный
И поздновременный уход:
Бессильную, полуживую,
Ожесточенный не щадит,
И вспять он жертву молодую
На ложе брачное влачит...
Напрасны слезы и моления,
Напрасно в власти у врага
Стан, полный неги, наслажденья,
Вился и бился как волна...
Не слышит он ее стenanья:
Он душит мощною рукой
Красу подлунного создания,
И Дездемона — труп холодный и немой...

Так некогда, дыша прохладой ночи ясной
Под небом голубым Италии прекрасной,
Внимая шуму волн на берегу морском,
На ложе из цветов, под миртовою тенью
Раскинута и вся предавшись наслажденью,
Помпея юная была объята сном.

Под ризой вечера в груди ее высокой
Рождался иногда протяжный и глубокой
Стон девственной мечты и тихо замирал;
И влажный блеск садов ее ветвистых,
Как будто бы венком из волосов душистых,
Прелестное чело ей пышно осенял...

О, как была она в рассеянье приятном
Похожа на звезду под небом благодатным,
Простертым с роскошью над ней!

С какою негой прихотливой
Ей навевал эфир ревнивый
На очи тишину и мирный сон детей!

О, как была она беспечна и покойна
Над влагою морской, раскинутою стройно
Под золотом луны вокруг ее дворцов,
Над этой влагою прозрачно-голубою,
Одетою, как дух, огромной пеленою
Из мрака, туч и облаков.

О, пробудись несчастное создание!
Проснись — ужель не слышишь ты
Подземной бури завыванье
Под страшной ризой темноты?
Смотри, смотри — во мраке ночи
Зарделись огненные очи;
Повсюду гул, и гром, и звук...
Беги! То он, неодолимый
Волкан — твой пагубный супруг!..

Вот, озаряя свод надзвездный,
Встает огромный великан
Над истребительною бездной;
Взмахнул, как сильный ураган,
Своими жгучими крылами
И, смертоносными руками
Готовясь землю обхватить,
С кровавым и отверстым зевом,
Пылая яростью и гневом,
Тебя идет он поглотить!..
Увы, несчастная Помпея!

Напрасно с воплем и в слезах
Ты извиваешься в когтях
Убийцы — огненного змея!
Как лютый тигр расвирепев,
Играет он своею жертвой,
И над бездушной, полумертвой
Возлег, открыв широкий зев...
Его огни как море плещут,
Вокруг колонн, дворцов трепещут
И, разливаясь, грозно мещут
Везде отчаянье и страх;
И пожирает ярый пламень
Кристалл, и золото, и камень,
Сверкая в молнийных лучах...

.

Но я не на челе развалин драгоценных,
Но на челе существ, умом одушевленных,
В которых жили мысль, и чувства, и сердца,
Хочу узреть следы свирепого бойца!
На них он отразил с суровостью печальной
Чертами дивными свой ужас гениальный.
Что падший памятник?.. Разрушенный кумир!
Но мертвое чело — идея, целый мир!..
О, дайте ж мне среди грозы и разрушенья
Искать у мертвецов восторга вдохновенья
И кистью слабою, но резвой и живой
Представить страшный вид картины роковой,
Унылой, горестной, великой, безотрадной,
Которой рамой был Везувий кровожадный!..

Взгляните ж — в дымных облаках
Вот мать с младенцем на руках!
Едва, залог любви прекрасной,
Невинный сын увидел день,
Как разлилась над ним ужасно
И навсегда ночная тень.
Еще младенческие звуки
В его устах не раздались,
Ни разу трепетные руки
Вокруг родной не обвились;
Еще сама она впервые
Лобзала очи голубые
Кумира нежности своей
И, превратясь в очарованье,

Его невинное дыханье
Пила с блаженством матерей...
Как вдруг вулкан, суровый, дикой,
Завыл над светлою четой —
И мир ее души с любовью и улыбкой,
С слезою на очах и ласкою немой,
Угас, как метеор под ризою ночной!
А, он, ручей блестящий и прозрачный,
Едва волну свою разлил,
Едва хотел нестись долиной злачной,
Как первый вопль его уже последним был!
Итак, унылый вид печали безнадежной,
Вид женщины с убитою душой,
Лишенной счастья быть матерью нежной,
Невинное дитя, сраженное судьбой
При гибели несчастного народа,
Вулкан, обрушенный, как страшная невзгода
На робкую главу, весенний цвет земли,
Которого б крыле зефиры унесли, —
Всё это для меня ужаснее паденья
Высоких пирамид, богатых городов;
Их вызовет опять для будущих веков
Великий гений просвещенья!
Их оживит могучее воззвание,
Но кто ей, матери, кто первое лобзанье
Младенца сына возвратит?

КАРТИНА 1-я

Плиний и Везувий

ПЛИНИЙ

Блистай еще, греми, Везувий ненасытный,
Открой твоих богатств источник любопытный!

ВЕЗУВИЙ

Довольно для тебя разрушенных дворцов,
Бунтующих стихий и пламенных валов,
Разлитых, как моря, между развалин диких!

ПЛИНИЙ

О нет, во глубину пучин твоих великих
Проникнуть должен мой неустрашимый взор —
Увижу, оценю чудес твоих собор!..

ВЕЗУВИЙ

Несчастный, удались!

ПЛИНИЙ

Но кто ж тебя опишет?

ВЕЗУВИЙ

Смотри — мое жерло огнем и пеплом дышит!

ПЛИНИЙ

Я опишу их!

ВЕЗУВИЙ

Прочь, пока твое чело
Кипучей лавою еще не обожгло.

ПЛИНИЙ

Так в ней я омочу перо мое живое
И в книге разолью, как пламя огневое!

ВЕЗУВИЙ

Смотри: миллион огней я сыплю на тебя!..

ПЛИНИЙ

Еще!.. Везувий, вновь!.. Зевес, как счастлив я!..
Заметил дым густой из пропасти безмерной,
Поднявшись, разливал над нею запах серный;
Как ель высокая, он в воздухе стоял...
Блеск молний...

ВЕЗУВИЙ

Так умри на ребрах этих скал!..

ПЛИНИЙ

Еще!.. Везувий, вновь! Диктуй! Я продолжаю!..

ВЕЗУВИЙ

Надменную главу я снова поражаю.

ПЛИНИЙ

Я ранен! Кровь бежит из ран моих ручьем...
Но пусть! Иду к тебе!.. Я снова над жерлом!
Везувий!.. Я беру окровавленный камень.*(Пишет.)*

«Он черен и горяч... его извергнул пламень!»

ВЕЗУВИЙ

Ты дальше не пойдешь.

ПЛИНИЙ

Быть может.

ВЕЗУВИЙ

Я сказал:

Ты дальше не пойдешь!..

ПЛИНИЙ

< падаю >

Но всё ли я узнал?

.....
 Когда в последний раз бесчувственные вежды
 Сон вечный тихо осенит,
 То облачают труп в печальные одежды,
 И в гробе роковом ничто не говорит,
 Кого скрывает он под черной пеленою;
 Лишь руки, на груди лежащие крестом,
 Колено, голова, рисуемые стройно
 Прозрачно-тонким полотном,
 Вещают в тишине, что гость его покойный
 Был некогда с душой. Так точно и вулкан,
 Как будто удручен печалию немою,
 Помпею облачил в дымящийся туман
 И скрыл ее чело под лавой огневою...
 И где величие погибшей красоты?
 Всё пепел, уголь, прах — всё истребили боги!
 Кой-где, освободив главу от пыльной тоги,
 Разбитый храм унылые мечты
 Наводит и гласит, как голос эпопеи:
 «Здесь прах Помпеи!»

1830-е годы





ИЗ ВОЛЬТЕРА

ПРОЩАНИЕ С ЖИЗНЬЮ

Посвящено Л. А. Якубовичу

*C'est que la mort n'est pas
ce que la foule en pense.¹*

Н

У так, прощайте! Скоро, скоро
Переселюсь я, наконец,
В страну такую, из которой
Не возвратился мой отец!
Не жду от вас ни сожаленья,
Не жду ни слез, мои друзья!
Враги мои! Уверен я,
Вы тоже с чувством умиленья
Во гроб уложите меня!
Удел весьма обыкновенный!
Когда же в очередь свою
И вам придется непременно
Сойти в Харонову ладью,
Чтоб отыскать в реке забвенья
Свои несчастные творенья,—
То верьте, милые, и вас
Проводят с смехом в добрый час!
Когда сыграл на сцене мира
Пустую роль свою актер—
Тогда с народного кумира
Долой мишурная порфира,
И свист—безумцу приговор!
Болезнью тяжелой изнуренных
Я видел много разных лиц:
Седых ханжей, седых девиц,
Мужей и мудрых и почтенных.

¹ Смерть не то, за что ее принимает толпа (фр.).— *Ред.*

Увы! Греховного плода
Они вкушали неизбежно —
И отходили безмятежно,
Никто не ведает куда!
Холодный зритель улыбался,
Лукавый родственник смеялся;
Сатира колким языком
Об них минуты две судила,
Потом — холодная могила
Навек бесчувственным песком
Их трупы грешные прикрыла!
Скажите ж мне в последний раз,
Непостижимые создания!
Куда из круга мироздания,
Куда вы кроетесь от нас?..
Кто этот мир без сожаленья
Покинуть может навсегда?
Не тот ли, кто без заблужденья,
Как неподвижная звезда,
Среди воздушного волненья
Привык умом своим владеть...
И, сын бессмертия и праха,
Без суеверия и страха
Умеет жить и умереть.

25 ноября 1835

Москва





ИЗ ГЕТЕ

ТИШИНА НА МОРЕ

*Т*ихо, мрачно над водою,
Море бурное молчит,
Смотрит кормчий вдаль с тоскою,
Вод равнина всюду спит.
Ветры веять перестали,
Мертвый, страшный вокруг покой,
В беспредельной синей дали
Взор не встретится с волной.

1825

СЧАСТЛИВОЕ ПЛАВАНИЕ

Разносятся тучи,
Туман исчезает,
И ветры могучи
Шумят на водах.
«Пловцы, веселее! —
Торопится кормчий. —
Скорее, скорее!
Волной нас качает,
Земля к нам несется,
Уж берег в глазах».

1825



ПРИЛОЖЕНИЕ



ТАРКИ

Я был в горах —
Какая радость!
Я был в Тарках —
Какая гадость!
Скажу не в смех:
Аул Шамхала
Похож немало
На русский хлев.
Большой и длинный,
Обмазан глиной,
Нечист внутри,
Нечист снаружи;
Мечети с три,
Ручьи да лужи,
Кладбище, ров
Да рыбный лов,
Духан, пять лавок
И, наконец,
Всему вдобавок
Вверху дворец
Преавантажный
И двухэтажный,
Где князь Шамхал
И бьет, и блудит,
Сидит и судит
Всех наповал.
В большой папахе,
В цветной рубахе,
Румян и дюж,
Счастливый муж
По царству ходит

И юных дев
И в стыд и в гнев
Нередко вводит.
А как в Тарках
Прелестны девы —
Прекрасней Евы!
Всегда в штанах
Из красной ткани,
Ни разу в год
Не ходят в бани.
Рублей пятьсот —
И ни полслова!
Любая мать
Сейчас готова
Вам дочь отдать —
Ложитесь спать,
И как угодно...
Хоть навсегда!
Но, господа,
Не так свободно
Торгует тот,
Кто не сочтет
<И ста> в кармане:
Тому на хвост
Тавлинки пост,
Как в рамазане!
И щеголек
Из зал московских
От дев тарковских
Услышит «йок!».
О «йок!». С бельмесом
Вас выдумал
Сам дьявол с бесом
И передал
Потом черкесам
Назло повесам:
Сердись и плачь
От неудач!
Набрел я ночью
На сущий клад
Лет в пятьдесят.
Геройской мочью,
Зажав ей рот
И не стыдись,

По старой вере
Старушью честь
Уже принесть
Хотел Венере...
Вдруг «йок!» кричит
Моя злодейка,
В висок летит
Мне прямо лейка,
С которой — срам! —
Шла к воротам
Прелюбодейка.
«Тохта! Постой!» —
Я слышу ясно,
И, с бородой,
Как пламень, красной,
Передо мной
Мужик ужасный —
О день несчастный!
Сначала я,
Как воин смелый,
Хотел шутя
Окончить дело —
Словцом, другим
Отговориться,
Но помириться
Пришлось иным.
«Тохта!» — покойно
Он бормотал
И непристойно
Меня вязал.
К чему рассказы?
Мои проказы
Окончить мог
Лишь кошелек
Да бер-абазы!..
.....
.....
Она придет,
Как было прежде,
Ко мне одна
В ночной одежде.
Сперва, стыдясь,
Сапожки скинет,
Потом, смеясь,
Меня обнимет!

Я вне себя
Ее целую,
Милую!

.
.
.
.

О боже, боже,
Как счастлив я!
И час спустя
Опять за то же.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Потешить Сашку,
И лягут спать,
Спустя рубашку.

Май 1831

* * *

Когда душа перекалится в камень,
Когда глаза точить не станут слез,
Когда замрет сердечный пламень
И будут сны без грез;

Тогда возьму я пулю боевую,
Три раза шомполом в зев смерти вколочу
И песнь последнюю земную
На лире пробренчу.

И вылью мозг кровавый на прощанье,
Укором мертвого весть миру я пошлю
И предмогильное страданье
Терпеньем просверлю.

Когда же в ночь засмертную, тоскуя,
Среди могил, явлюсь к вам наяву,
Тогда вам истину скажу я,
Как, бедный, *там* живу.

1836

К СИВУХЕ

(Отрывок)

.
.
Когда уж в вечность переселюся —
Иль в рай, иль в ад — мне все равно,
Где б ни был я, — везде напьюся.
Коль в аде ж выпито вино, —
Зефиры, вы быстрее летите
К моей отчизне дорогой
И из питейных принесите
Мне штоф с сивухою простой!

< 1836 — 1837 >



Эти два письма — единственные дошедшие до нас письма поэта. Они относятся к 1836 году, времени пребывания Полежаева в Калужской губернии и в Москве, то есть к последнему, наименее изученному периоду жизни поэта. В этом их особое значение

I

Гражданин Луциан!

Накануне выступления Тарутинского полка из Жиздры, я получил твое повеление лично явиться к тебе в Сосновку. Надобно думать, что вся Калужская губерния принадлежит тебе, потому что на каждой версте встречаешь деревни и села под названием: Сосновка. Наконец, отыскиваю истинную, скажу к тебе и не застаю дома. Знаешь ли, что скажу тебе? Я ни мало о том не жалею: после 10-тилетнего калмыцкого кочевания по белому свету я в лице твоих почтеннейших родителей нашел все родное, все милое моему сердцу, провел 24 часа в такой новой, отрадной для меня сфере, что теперь пишу тебе эти строки, как будто с третьего неба, и с чувством душевного сожаления и тяжким вздохом снова приготавливаю упасть на несчастную землю. Не буду говорить много: никогда не истребятся из моей памяти приятные минуты, проведенные мною в кругу твоего милого, редкого — чуть, чуть не сказал: моего собственного семейства! — Да, любезный Луциан, теперь я тебе брат, потому что с сей поры не хочу почитать Андрей Федоровича иначе, как отцом моим. Благородный образ мыслей, живое истинное участие, оказанное мне всеми в вашем доме, налагают на меня священную обязанность так мыслить и сохранить эти мысли навсегда. В первом письме моем из Москвы разговариваю с тобою поболее. Через 12-ть дней будем там, адресуй ко мне письма в Т<арутинский> Е<герский> полк в Спасские казармы на мое собственное имя. Пиши все, что вздумаешь, — никто не прочтет их, кроме меня. Кстати, к Струйским я еще не писал и не знаю об каком касающемся до меня деле хотел ты со мной объясниться. Сделай одолжение, порадуя меня поскорее несколькими строками — марай, марай и марай как можно больше, мне приятно все, что твое. С моей стороны заплачу тебе тою же монетою! Прощай — верь, что ты мало найдешь людей, которые бы тебя любили как я!

А. Полежаев

В комнате твоего брата — *vis-a-vis*¹ — запертого кабинета человека с кошачьими когтями.

NB. Хотел тебя немного поцарапать, да бог с тобою! Молись за дни твоих родителей — вот одно, в чем тебе завидую.

II

< 8 октября 1836 г. Москва. >

Здравствуй милый, добрый мой Луциан!

Мы с тобой всегда нездоровы и по одной причине: *ради милого сокрушения!* Слава богу, что ты не отдал душу богу в дилжансе, но жаль, что и в Питере мучат тебя спазмы. Я не знал, что думать об твоём долгом молчании, как вдруг однажды приносят мне объявление на 100 р. денег. Я догадался, откуда они приплыли, и надеялся в письме увидеть и твоих две — три строки. Не тут-то было: Дмитрий написал мне *весьма разумное слово* в форме эпистолы, желает мне всяких благ и, наконец, заключает тем, что он с фамилией покойника А. Струйского связей не имеет и советует мне отнестись с моими претензиями на наследство к прабабушке Еве — к Александре Петровне. Я внял совету благоразумного мужа и отрядил по почте к почтенной старушке горькое и слезное возрыдание. Надеюсь, что оно произведет желаемое действие и на днях доставит мне хоть пару сотенок. Все тебе, мое сокровище, обязан я за эти щедроты провидения и не знаю, как и чем воздать тебе! Сделай милость, не упускай случая болтнуть обо мне что-нибудь Дм < итрию > и Наталье... Это не мешает!.. Хотелось бы еще знать как они теперь расположены ко мне, уведошь, ради бога, и скажи им, что ты получил от меня письмо, исполненное чувств истинной признательности к их особам и проч. и проч., что я болен опаснее прежнего и опасаясь последствий моей болезни. — Рад душевно, друг мой, что ты нашел в Питере старых знакомцев <...> Твое письмо получил я недавно и извини, что отвечаю поздно. Болел, окаянный, сильно болел спазмами и сердцебиением. Если б ты видел меня тогда, как я получил и читал твое письмо, то верно умер бы со смеху — оно застало меня в полном упоении чувств и тела!!! Как скоро старушка меня приголубит деньжонками, то по первой же почте поделюсь с тобою <...> Скоро ли пустишь в свет свои стихи?

¹ напротив (фр.).

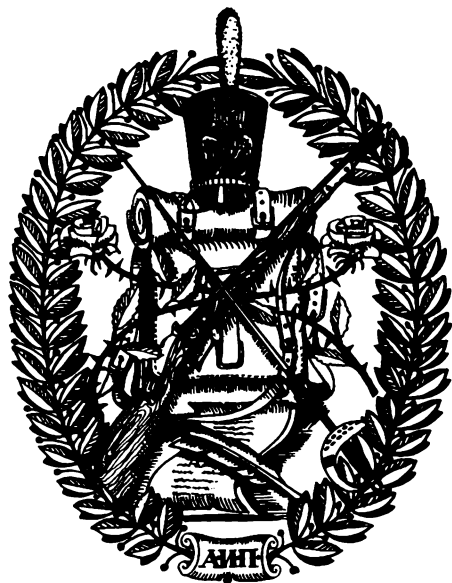
Не медли, не робей и стяжай венок бессмертия! Ко мне пиши так же: в военный госпиталь и проч. В другой раз намараю побольше, но любить тебя более не могу! Я предан тебе весь и целую тебя в лоб <...> Прости, ради Христа! Теперь я настоящая <...> — Письмо, приложенное здесь, передай Струйским и будь моим адвокатом... Прощай, будь здоров и весел. Это дороже всего. Пиши чаще и радуй душу мою.

Твой навсегда А. Полежаев.

*Москва 1836 г.
Октября 8-го дня.
Военный госпиталь.*



*Воспоминания
современников
и критика*





А.И. ГЕРЦЕН

А. ПОЛЕЖАЕВ

В дополнение к печальной летописи того времени следует передать несколько подробностей об А. Полежаеве.

Полежаев студентом в университете был уже известен своими превосходными стихотворениями. Между прочим написал он юмористическую поэму «Сашка», пародируя «Онегина». В ней, не стесняя себя приличиями, шутливым тоном и очень милыми стихами, задел он многое.

Осенью 1826 года Николай, повесив Пестеля, Муравьева и их друзей, праздновал в Москве свою коронацию. Для других эти торжества бывают поводом амнистий и прощений; Николай, отпраздновавши свою апотеозу, снова пошел «разить врагов отечества», как Робеспьер после своего Fête-Dieu¹.

Тайная полиция доставила ему поэму Полежаева...

И вот в одну ночь, часа в три, ректор будит Полежаева, велит одеться в мундир и сойти в правление. Там его ждет попечитель. Осмотрев, все ли пуговицы на его мундире и нет ли лишних, он без всякого объяснения пригласил Полежаева в свою карету и увез.

Привез он его к министру народного просвещения. Министр сажает Полежаева в свою карету и тоже везет — но, на этот раз, уже прямо к государю.

Князь Ливен оставил Полежаева в зале, где дожидались несколько придворных и других высших чиновников, несмотря на то, что был шестой час утра, и пошел во внутренние комнаты. Придворные вообразили себе, что молодой человек чем-нибудь отлучился, и тотчас вступили с ним в разговор. Какой-то сенатор предложил ему давать уроки сыну.

Полежаева позвали в кабинет. Государь стоял, опершись на бюро, и говорил с Ливеном. Он бросил на взошедшего испытующий и злой взгляд, в руке у него была тетрадь.

¹ Праздника божества (фр.). — Ред.

— Ты ли, — спросил он, — сочинил эти стихи?

— Я, — отвечал Полежаев.

— Вот, князь, — продолжал государь, — вот я вам дам образчик университетского воспитания, я вам покажу, чему учатся там молодые люди. Читай эту тетрадь вслух, — прибавил он, обращаясь снова к Полежаеву.

Волнение Полежаева было так сильно, что он не мог читать. Взгляд Николая неподвижно остановился на нем. Я знаю этот взгляд и ни одного не знаю страшнее, безнадежнее этого серо-бесцветного, холодного, оловянного взгляда.

— Я не могу, — сказал Полежаев.

— Читай! — закричал высочайший фельдфебель.

Этот крик воротил силу Полежаеву, он развернул тетрадь. Никогда, говорил он, я не видывал «Сашку» так переписанного и на такой славной бумаге.

Сначала ему было трудно читать, потом, одушевляясь более и более, он громко и живо дочитал поэму до конца. В местах особенно резких государь делал знак рукой министру. Министр закрывал глаза от ужаса.

— Что скажете? — спросил Николай по окончании чтения. — Я положу предел этому разврату, это все еще *следы, последние остатки*; я их искореню. Какого он поведения?

Министр, разумеется, не знал его поведения, но в нем проснулось что-то человеческое, и он сказал:

— Превосходнейшего поведения, в. в.

— Этот отзыв тебя спас, но наказать тебя надобно, для примера другим. Хочешь в военную службу?

Полежаев молчал.

— Я тебе даю военной службой средство очиститься. Что же, хочешь?

— Я должен повиноваться, — отвечал Полежаев.

Государь подошел к нему, положил руку на плечо и, сказав:

— От тебя зависит твоя судьба: если я забуду, ты можешь мне *писать*, — *поцеловал его в лоб*.

Я десять раз заставлял Полежаева повторять рассказ о поцелуе — так он мне казался невероятным. Полежаев клялся, что это правда.

От государя Полежаева свели к Дибичу, который жил тут же, во дворце. Дибич спал, его разбудили, он вышел, зевая, и, прочитав бумагу, спросил флигель-адъютанта:

— Это он?

— Он, в. с.

— Что же! Доброе дело, послужите в военной; я все в военной службе был — видите, дослужился, и вы, может, будете фельдмаршалом.

Эта неуместная, тупая, немецкая шутка была поцелуем Дибича. Полежаева свезли в лагерь и отдали в солдаты.

Прошли года три, Полежаев вспомнил слова государя и написал ему письмо. Ответа не было. Через несколько месяцев он написал другое — тоже нет ответа. Уверенный, что его письма не доходят, он бежал, и бежал для того, чтоб лично подать просьбу. Он вел себя неосторожно, виделся в Москве с товарищами, был ими угощаем; разумеется, это не могло остаться в тайне. В Твери его схватили и отправили в полк, как беглого солдата, в цепях, пешком. Военный суд приговорил его прогнать сквозь строй; приговор послали к государю на утверждение.

Полежаев хотел лишиться себя жизни перед наказанием. Долго отыскивая в тюрьме какое-нибудь острое орудие, он доверился старому солдату, который его любил. Солдат понял его и оценил его желание. Когда старик узнал, что ответ пришел, он принес ему штык и, отдавая, сказал сквозь слезы:

— Я сам отточил его.

Государь не велел наказывать Полежаева.

Тогда-то написал он свое превосходное стихотворение:

Без утешений
Я погибал,
Мой злобный гений
Торжествовал...

Полежаева отправили на Кавказ; там он был произведен за отличие в унтер-офицеры. Годы шли и шли; безвыходное, скучное положение сломило его; сделаться полицейским по-этом и петь доблести Николаю он не мог, а это был единственный путь отделаться от ранца.

Был, впрочем, еще другой, и он предпочел его: он пил для того, чтоб забыться. Есть страшное стихотворение его «К сивухе».

Он перепросился в карабинерный полк, стоявший в Москве. Это значительно улучшило его судьбу, но уже злая чухотка разьедала его грудь. В это время я познакомился с ним, около 1833 года. Помаялся он еще года четыре и умер в солдатской больнице.

Когда один из друзей его явился просить тело для погребения, никто не знал, где оно; солдатская больница торгует трупами; она их продает в университет, в медицинскую академию, вываривает скелеты и пр. Наконец он нашел в подвале труп бедного Полежаева, — он валялся под другими, крысы объели ему одну ногу.

После его смерти издали его сочинения и при них хотели приложить его портрет в солдатской шинели. Цензура нашла это неприличным, и бедный страдалец представлен в офицерских эполетах, — он был произведен в больнице.



ЕВГЕНИЙ БЕЛОЗЕРСКИЙ

К БИОГРАФИИ ПОЭТА А. И. ПОЛЕЖАЕВА



Биография поэта Полежаева представляет еще много пробелов, много недоговоренного, неясного или даже совсем гадательного. Поэтому, думается, всякие разъяснения или новые черты из жизни несчастного поэта будут приняты с благодарностью всеми истинными любителями русской литературы вообще и поэзии в частности.

Замечательно, что в месте рождения поэта, Саранском уезде Пензенской губернии, где мне пришлось прожить несколько лет, не сохранилось о нем никаких преданий или даже воспоминаний. Из биографии Полежаева известно, что он происходил от незаконной связи помещика Леонтия Николаевича Струйского с его дворовой девушкой Степанидой Ивановной, которую он в силу семейных неприятностей выдал замуж за саранского мещанина Полежаева. И теперь еще в Саранске есть семья Полежаева, по ремеслу мясника, ничем не замечательного или, пожалуй, замечательного тем, что он упорно отрешивается от всякого родства с «писакой». Семья Струйских сошла со сцены сравнительно недавно, и об ней в тех местах ходит много рассказов, во всяком случае свидетельствующих о том, что в фамилии Струйских всегда было что-то ненормальное. Поместье Струйских при селе Рузаевке Инсарского уезда, с великолепным каменным домом, лет пять тому назад было куплено на слом монахинями соседнего Пайгарменского монастыря. От этого исторически замечательного дома не осталось теперь камня на камне, а весь кирпич свезен в монастырь для постройки колокольни. Местное Саранское общество, вообще мало интеллигентное, ничем не выразило своего протеста против этого вандализма, совершавшегося у него под боком.

Зато в Москве мне случайно пришлось услышать кое-что о поэте. В начале восьмидесятых годов я познакомился с одной почтенной старушкой, Евгенией Андреевной Дроздовой, урожденной Комаровой, коренной жительницей Москвы. Прежде я слышал, что она знавала Полежаева, но особенного значения

этому обстоятельству не придавал. В последний же мой проезд через Москву я услышал от этой старушки много такого, что, по-моему, заслуживает внимания.

Госпоже Дроздовой теперь семьдесят пять лет. Родители ее имели в Москве свои дома и жили очень хорошо. Многие из тогдашних студентов были приняты в их доме, как свои, из которых она помнит Полежаева, Коврайского, Лозовского, Уткина и других. Эта компания студентов составляла свой кружок. Душою товарищества был поэт Полежаев, который безусловно выдавался среди других студентов своим умом и находчивостью. Он был очень статен собой и имел замечательно выразительные глаза. Как все студенты того времени, и это товарищество проводило свое время очень весело, занималось кутежами и разными похождениями, в основе которых чаще всего было простое школьничество. Так однажды Полежаев шел с кем-то из товарищей по улице; в это время на извозчике ехала какая-то хорошенькая барышня. Он вскочил сзади на дрожки, поцеловал ее и снова соскочил долой. В другой раз, например, это товарищество студентов раскачало забор перед домом какой-то барышни и т. п. в этом же роде. Товарищи Полежаева говорили г-же Дроздовой, что в университете он шел хорошо и начальство отличало его среди других студентов. На свою беду, поэт перед окончанием университетского курса написал известную шуточную поэму «Сашка», которая в игривой форме описывала разные похождения и кутежи студентов. Название «Сашка» относилось собственно не к одному только Александру Полежаеву, но и ко всем другим товарищам — Коврайскому, Лозовскому, Уткину и проч., которые все назывались Александрями. Эта поэма была написана на нескольких листах писчей бумаги, а на первой странице карандашом был нарисован Уткиным портрет государя с подписью: «Рисовал студ. Уткин».

Первые годы после заговора декабристов было очень строго. Когда государь Николай Павлович приехал в Москву на коронацию, то неизвестно кем-то рукописная поэма «Сашка» была передана ему. В другое время эта шалость и прошла бы, может быть, безнаказанно для поэта, но вскоре после движения декабристов, которое приписывалось вредному образованию юношества, трудно было рассчитывать на снисходительность. Действительно, государь взглянул на дело серьезно и потребовал к себе студента Полежаева. В биографическом очерке Полежаева, предпосланном к изданию его стихотворений журналом «Нива», сказано, что ректор университета разбудил Полежаева часа в три ночи и велел сойти в правление, откуда

попечитель округа повез его к министру народного просвещения и т. д. Г-жа Дроздова отрицает это и рассказывает следующее. Полежаев жил в номерах, на Тверской. Его взяли утром, в чем он был, и отвезли к государю в грязном сюртуке, с двумя пуговицами, и в пуху. Когда государь, сурово взглянув на него, спросил:

— Ты ли сочинял эти стихи?

— Я,— ответил Полежаев.

— Читай,— сказал ему государь, протягивая тетрадь.

— Кто писал, тот читал, ваше императорское величество,— ответил поэт, опять сложив тетрадь и подав ее обратно.

— Бравый солдат,— произнес государь, смотря с любопытством на поэта.

— Готов служить вашему императорскому величеству,— ответил, кланяясь, Полежаев.

Когда поэт вышел из царского кабинета, то генералитет с участием говорил ему:

— Надо было бы упасть к ногам государя и сказать: «Игра ума, ваше императорское величество».

На что поэт ответил: «Что сказано, то сказано». Всякую другую передачу этого события в жизни поэта г-жа Дроздова положительно отрицает и называет выдумкой.

Полежаев после этого был зачислен в Бутырский полк унтер-офицером. С полгода он вел себя хорошо, и первое время об нем каждый месяц доносили государю. Поэт, при его развитии, очевидно, не мог примириться с своим новым положением и, не видя улучшения своей участи, начал пить запоем, и в этом все дальнейшее его несчастье. Пользуясь данным ему правом писать государю, он послал ему просьбу о помиловании. Не получая ответа, он самовольно оставил полк и пошел пешком в Петербург, но одумался и вернулся опять в свой полк. За это, по конфирмации государя, он был лишен личного дворянства и разжалован в рядовые без выслуги. В жизни поэта не осталось никакого просвета и никакого выхода. Он запил горькую. В это-то время с него и был снят <...> портрет, писанный студентом Уткиным, который и сам был потом сослан в Сибирь. При этом необходимо оговориться, что собственно подлинный портрет работы Уткина бесследно исчез, но с него в Москве литографским способом было снято пятьдесят экземпляров; вот один-то из этих редких экземпляров и сохранился у г-жи Дроздовой. Он мною передан в Императорскую Публичную Библиотеку. Портрет, по словам г-жи Дроздовой, очень похож, «совсем, как живой», а если лицо кажется одутловатым, то это от запоя.

Когда он был студентом, в него была влюблена одна генеральская дочь, фамилию которой г-жа Дроздова забыла. Она жила на Тверской. Когда он, будучи унтер-офицером, в первое время шел с своей командой куда-то на часы, то, проходя перед домом этой девушки, стоявшей на балконе, он вышел из строя и ружьем сделал ей честь.

Из Москвы, продолжает г-жа Дроздова, поэт был переведен на Кавказ и отсутствовал года три или четыре, а затем в начале тридцатых годов был переведен в Тарутинский егерский полк, командиром которого состоял Святогор-Штепин, вообще относившийся очень снисходительно к поэту. У него Полежаев даже некоторое время был учителем. В это время он очень нуждался в деньгах, пил очень много и все грозился отправиться и собственноручно убить какого-то своего дядю, который обобрал его, присвоив завещанные отцом поэта тысяч двадцать рублей. Это обстоятельство особенно удручающим образом влияло на поэта. Нуждаясь в деньгах на вино, он часто обращался к товарищам, которые давали ему водки, но с тем, чтобы он писал. И вот, сидя за бутылкой водки, он диктовал стихи, а товарищи записывали их... «И замечательно,— прибавляет г-жа Дроздова,— что, чем бывало он больше пьет, тем пишет лучше».

Он бежал из Москвы всего три раза; последний раз это было в 1837 году, когда он самовольно оставил полк, куда-то пропал и даже пропил свою амуницию. Его нашли, вернули в полк и наказали розгами¹. Это было осенью, уже в заморозки, но месяца г-жа Дроздова точно не помнит. Его положили в военный лазарет, где он болел больше трех месяцев. «К нам часто приезжал,— рассказывает Е. А. Дроздова,— батальонный адъютант, Михаил Павлович Перфильев, который говорил, что долгое время после наказания поэта из его спины вытаскивали прутья. Мы, девушки, им очень интересовались, но навестить его совестились, однако же через его товарищей и наших знакомых по полку знали о нем самые мельчайшие подробности». К Рождеству 1837 года поэт стал чувствовать себя очень дурно, страшно изменился физически и нравственно, сделался религиозен, причастился, соборовался и умер истинным христианином. Перед смертью он созвал всех своих товарищей и в великолепной речи убеждал их верить, говорил им, что сам он не приобщался св. Тайн семнадцать лет, но теперь раскаялся и сделался другим человеком.

¹ Это сообщение мы оставляем на ответственности г-жи Дроздовой и думаем, что оно должно быть проверено биографом поэта по архивам Тарутинского полка (примеч. автора).

Е.И.БИБИКОВА-РАЕВСКАЯ

ВСТРЕЧА С ПОЛЕЖАЕВЫМ

...Белинский говорит в статье своей о Полежаеве: «И Полежаев пережил этот период *идеального чувства*, но уже слишком не во время, как мы увидим. И потому неудивительно, если не во время и не в пору явившееся *мгновение* было для поэта не вестником радости и блаженства, а вестником гибели всех надежд на радость и блаженство, и исторгнуло у его вдохновения не гимн торжества, а вот эту страшную похоронную песнь самому себе (смотри стихотворение: «Черные глаза»). Эти «Черные глаза», очевидно, были *важным*, хотя уже и безвременным, *фактом* в жизни Полежаева; скорбному воспоминанию о них посвящена еще целая, и притом прекрасная пьеса — «Грусть».

Повесть об этом *мгновении*, об этом, по словам Белинского, *идеальном чувстве, важном факте* в жизни Полежаева, известна одной мне. Позволяю себе непривычным пером рассказать ее вам. Если сочтете этот первый опыт моих седиں достойным помещения в вашем издании, представляю вам на него полное право.

«Es ist eine alte Geschichte
Doch bleibt sie ewig neu».¹

Heinē

*

В 1834 г. мы провели весну и лето в селе Ильинском. Родители мои, проживая зиму в Москве для нашего детского образования, весной уезжали всегда в степное свое имение. Но в 1834-м году старший брат мой готовился поступить в юнкерскую школу: нельзя было прерывать уроков, а между тем не хотели лишить нас деревенского, живительного воздуха. Родственник наш, граф Александр Иванович Остерман, предложил матери моей свой загородный дворец в селе Ильинском, отсто-

¹ Это старая история, но вечно остается новою. Гейне.

ящем от Москвы в семнадцать верстах. Учителя моего брата и мои согласились, за известную плату, приезжать по нескольку раз в неделю в село Ильинское. Дело сладилось.

Не стану описывать прелестного Ильинского, впоследствии купленного императрицею Мариею Александровной. Москвичам хорошо известны эти дивные сады с тенистыми аллеями, эти ковры пестрых душистых цветов, этот великолепный парк, раскинутый по живописному берегу Москвы-реки. В то время по этим садам разбросаны были красивые дачи, где жило отборное общество. Из числа его назову графа Буксгевдена с молодой его женой. Граф был отличный музыкант; мелодичные звуки его скрипки раздавались по вечерам; гуляющие с восторгом часто к ним прислушивались. Тут же проводили лето А. П. Елагина с милой дочерью и детьми. Старший ее сын, от первого брака, Киреевский, издавал журнал, который незадолго пред тем был запрещен. Кто знал это почтенное семейство, тот никогда не забывал всей прелести их сообщения. Елагина к высокому уму и образованию умела присоединять редкую доброту, простоту в обращении и благосклонность к нам, детям. Всегда скромно одетая, с добродушной улыбкой встречала она нас, возрастающее поколение, а между тем самые строгие и глубокомыслящие люди искали ее беседы и гордились ее вниманием. У нее собирались все знаменитости тогдашней литературы. Я в то время была очень молода, мне только минуло шестнадцать лет; но меня влекло к этой умной, почтенной и доброй женщине, окруженной всеобщим уважением и вместе с тем смотревшей так снисходительно на наши детские игры.

Отец мой, оставя нас в Ильинском, уехал в свое степное имение по делам хозяйства. Но в июне он написал матери моей, что, чувствуя себя не совсем здоровым, едет в город***, чтобы посоветоваться там с доктором. Из*** отец писал матери, что доктор удержал его при себе, чтобы лучше следить за действием лечения, но что он не только не скучает в уездном городке, а проводит время самым приятным образом. «В городе***,— писал он,— стоит пехотный армейский полк, где служит унтер-офицером разжалованный поэт Полежаев. Я познакомился с полковником и выпросил у него дозволения взять к себе на квартиру несчастного молодого человека, в обществе которого время для меня летит незаметно. Ведет он себя безукоризненно».

Далее в письмах своих отец сообщал нам о злополучной судьбе Полежаева; как за поэму его «Сашка», он, бывши студентом, схвачен был и приведен в кабинет государя Николая Павловича; как тот заставил его вслух читать свою поэму, а он

неудобные для чтения места экспромтом заменял другими стихами; как царь, заподозрив подлог, вырвал у него из рук тетрадь и убедился в справедливости своей догадки. Николай никогда не прощал тому, кто дерзал его обманывать. Полежаев этому обстоятельству приписывал всю тщетность просьб о его помиловании. У отца моего Полежаев отдыхал душевно, писал стихи, но большая часть времени проходила в живых беседах. Отец мой был образован и умен, сам на досуге писал стихи и умел ценить дарование и ум в молодом поколении. Все письма его полны были похвалами поэту, которого полюбил он от души.

Наконец, получаем письмо, где отец извещает, что чувствует себя хорошо и что на днях приедет к нам в Ильинское и привезет с собой унтер-офицера, чтоб обучать старшего моего брата ружейным приемам, ввиду подготовки к юнкерской школе.

Приезжает отец в конце июня поздно вечером, когда мы уже все спали. Утром рано, на другой день, прибегает к нам наверх мой меньшой брат, мальчик десяти лет, и говорит нам в большом волнении:

— Какого странного унтер-офицера папа привез с собой!

— Что ж в нем странного?

— Да он не похож вовсе на солдата!

— Чем же?

— Il a un regard d'aigle! (У него орлиный взгляд.)

Мы с меньшей сестрой рассмеялись над мальчиком и над воображаемым орлиным взглядом унтер-офицера.

— Что ты вздор мелешь! Какой такой орлиный взгляд?

Мальчик обиделся, рассердился и убежал назад к своему новому знакомому, приговаривая:

— Ну, вот сами увидите, сами увидите!

Мы с сестрой не обратили никакого внимания на слова маленького брата; она взяла свой учебник, грамматику, а я отправилась твердить свои Бетховенские сонаты в огромную залу дворца (в углу которой моя рояль казалась незаметной точкой).

Собрались пить чай; отец, матушка, сестра меньшая, наша гувернантка поместились вокруг чайного стола, накрытого посреди залы. Пришли братья с учителем, с ними и унтер-офицер. Я не сочла нужным обратить на него внимание и продолжала свои музыкальные занятия. Но вдруг замечаю что-то не совсем обычное. Отец встал и принял какой-то торжественный вид. Я смолкла, слушаю.

— Душа моя, — говорит отец, обращаясь к матери, — дети! Я вас всех обманул! Представляю вам Александра Ивановича Полежаева.

Матушка поднялась с кресел и протянула обе руки Александру Ивановичу. Не помню, как я вмиг из дальнего угла вдруг очутилась рядом с матерью. Все вскочили со своих мест. У отца, у матери, у нас всех выступили слезы. Мои глаза встретились с глазами Полежаева. Мне показалось, что и он был тронут нашим приемом.

С этой минуты Александр Иванович стал у нас своим человеком. Отец захотел, чтоб я срисовала портрет с его любимца. Я тогда недавно начала учиться живописи. Портрет этот писан акварелью, ученической рукой; но он разительно похож, тогда как оба портрета, изданные при стихотворениях Полежаева, нимало его не напоминают.

А. И. Полежаев был нехорош собой. Роста он был невысокого, черты лица его были неправильны; но вся наружность его, с виду некрасивая, могла в одно мгновение осветиться, преобразиться от одного взгляда его чудных, искрометных, больших черных глаз. Это *regard d'aigle*, поразивший десятилетнего мальчика, выражал все могущество его творческого духа. Этого взгляда и нет в вышеупомянутых его портретах.

Братья мои чуть не молились на поэта. Они были счастливы, когда он позволял им молча сидеть в его комнате, пока он писал. У нас он перевел из Виктора Гюго несколько «*Orientales*», между прочим: «В водах полусонных играла луна...». Писал своего «Кориолана», лучшие места которого не дозволены цензурой. Написал «Божий суд», и вот по какому случаю. У отца были связи в Петербурге; он надеялся испросить другу своему облегчение участи; с этой целью он сказал Александру Ивановичу:

— Напишите мне что-нибудь такое, что бы я мог при письме послать графу Бенкендорфу.

Полежаев написал «Божий суд», который тогда почему-то озаглавил «Тайный голос». Отцу понравились стихи.

— Но вы, Александр Иванович, не можете ли прибавить, под конец, что-нибудь вроде просьбы о прощении?

На это Полежаев решительно отказался.

— Я против царя ни в чем не виноват, просить прощения не в чем.

Как ни умолял, ни уговаривал его отец, ничего с поэтом сделать не мог: он остался непреклонен. Тогда отец сам приписал три строфы в заключение и принес мне оба стихотворения.

— Неловко, — говорит, — послать стихи в этом виде: по черк разный в начале и в конце.

Я тотчас вызвалась переписать все стихотворение лучшим своим почерком и радостно припрятала оба автографа, которые до сих пор у меня хранятся. Вот эти стихи.

«ТАЙНЫЙ ГОЛОС»

Есть духи зла — неистовые чада
Благословенного отца;
Удел их — грусть, отчаянье — отрада;
А жизнь — мученье без конца.

В великий час рождения вселенной,
Когда извлек всевышний перст
Из тьмы веков эфир одушевленный
Для хора солнцев, лун и звезд;

Когда творец торжественное слово
В премудрой благодати изрек:
«Да будет прах — величия основой!»
И встал из праха человек, —

Тогда ему — светлы, необозримы,
Хвалу воспели небеса,
И юный мир, как сын любимый,
Был весь — волшебная краса...

И ярче звезд и солнца золотого,
Как иорданские струи,
Вокруг его, властителя святого,
Вились архангелов рои.

И пышный сонм небесных легионов
Был ясен, свят перед творцом
И на скрижаль божественных законов
Взирал с трепещущим челом.

Но чистый огонь невинности покорной
В сынах бессмертия потух,
И грозно пал, с гордынею упорной,
Высокий ум, высокий дух.

Свершился суд!.. Могущая десница
Подняла молнию и гром —
И пожрала подземная темница
Богоотверженный Содом!

И плач, и стон, и вопль ожесточенья
Убили прелесть бытия;
И отказал в надежде примиренья
Ему правдивый судия.

С тех пор враги прекрасного созданья
Таятся горестно во мгле,
И мучит их, и жжет без состраданья
Печать проклятья на челе.

Напрасно ждут преступные свободы:
Они противны небесам;
Не долетит в объятия природы
Их недостойный фимиам».

«Но нет! Кто снял завесу providенья?
Кто цель всевышнего постиг?
Ужели он не может без прощенья
Быть столь же благ и столь велик?»

О боже! И во мне среди страданий
Надежды пламень не погас.
Твердит душе глагол предвозвещаний:
«Твоей отрады придет час!..»

Быть может, и меня, во мгле атомов,
Вспомнит царь во дни щедрот,
И над главой моей — мечу законов
«Пощада, милость!» — изречет!»

С. Ильинское, 1834 г. Июля 8-го.

Письмо с переписанными стихами тут же отправлено было к графу Бенкендорфу.

Но и эта последняя попытка спасти поэта-страдальца не увенчалась успехом. «Видно, так на роду ему было написано».

Стояли тогда у нас дни ясные, чудные. Подобного лета не припомню. Утром всякий из нас занимался делом, но с обеда до полуночи мы всей семьей, а с нами и Александр Иванович, гуляли по садам и по прелестным окрестностям Ильинского. Во время прогулок братья ни на шаг не отходили от Полежаева. Мы все жадно прислушивались к его рассказам. Он говорил о Кавказе, о набегах чеченцев, о своих походах, о том, как он с товарищами-солдатами на плечах перетаскивал через горы тяжелые орудия, пушки, а между тем направленные на них из-за скал меткие пули черкесов наверняка выбирали свои жертвы. Он рассказывал просто, без хвастовства, без напыщенности, не бил на эффект, и каждое слово дышало правдой и умом. А между строк сколько слышалось невысказанных страданий, лишений, горя... Это было в 1834-м году. Для нас, юношей и детей, все это было тогда ново, исходя из уст очевидца; мудроно ли, что мы увлеклись этими рассказами?

Иногда, в светлые лунные ночи, мы все катались на лодке по Москва-реке. Братья и Александр Иванович попеременно гребли, я сидела на руле, сестра меньшая и гувернантка помещались на скамейках. Раз посреди реки, на глубоком месте, я увидела прелестную белую кувшинку и вскрикнула от восторга. Полежаев перегнулся весь через борт, лодка сильно покачнулась в его сторону. У меня замерло сердце. Но он вскоре поднялся и подал мне сорванную кувшинку с плавучим ее зеленым листом. Этот засушенный лист и теперь покоится в заветной старой тетради.

Родные от меня не скрывали из бурной жизни Полежаева то, что при строгом нашем воспитании, можно было сказать девушке моих лет, т. е. знала я лишь одну половину несчастных наклонностей, испортивших его жизнь и преждевременно

сведших его в могилу. Но и одной половины было достаточно, чтоб убедить меня, что общая будущность для нас немыслима. Семья, общество, сам рассудок непреодолимой преградой разделяли нас. На что мне было будущее? Я полной жизнью жила настоящим.

«Думы девичьи, заветные,
Кто вас может разгадать?
Легче камни самоцветные
На дне моря сосчитать».

Эта идиллия продолжалась две недели. Пятнадцать только чистых, ясных дней во всей жизни многострадальца-поэта!

Полежаев был отпущен на срок, за порукою моего отца. Срок настал. Отец, привыкший с малых лет к военной дисциплине, был неумолим. Ехать надо. При прощании, когда мы всей семьей провожали Полежаева, он подал мне на память ту книжку Гюго, из которой всегда делал переводы. В ней был сложенный листок бумаги; и та и другое хранится у меня до сих пор. Вот эти стихи, они нигде не напечатаны.

«Зачем хотите вы лишить
Меня единственной отрады
Душой и сердцем вашим быть
Без незаслуженной награды?
Вы наградили всем меня,
Улыбкой, лаской и приветом,
И если я ничто пред целым светом,
То с этих пор — я дорог для себя.
Я не забуду вас в глуши далекой,
Я не забуду вас в мятежной суете,
Где б ни был я, везде с тоской глубокой
Я буду помнить вас, везде!»

Первое четверостишие относится к тому, что мы, дети, зная стесненные обстоятельства уезжающего, сделали складчину из наших маленьких сбережений и дали их отцу, чтоб он присоединил их к своей лепте, но с тем, чтоб Полежаев не знал, от кого именно идет эта помощь. Но, видно, отец проговорился. Полежаев хотя положительно терпел нищету, но был до крайности горд и деликатен в денежных делах. Отец долго не мог его уломать и уговорить принять от него пособие. Честность его доходила до щепетильности. Он тогда только согласился что-либо принять от отца моего, когда сам полюбил его как друга. Но, несмотря на их близость, никогда Полежаев не говорил ему о своих родных. Часто отец заговаривал с ним на эту тему, но он всегда отвечал уклончиво и переменял разговор. Мы не знали, ни кто он, ни какого он происхождения. Прочитав «Очерк» Д. Д. Рябинина, я поняла причину молчания Полежаева. Замечательно то, что человек, так явно всю жизнь шедший вразрез с законами общества, так упорно ими

пренебрегавший, стыдился своего происхождения. В этом, по-видимому, противоречии чувствуется врожденное, свыше внушенное желание видеть безукоризненными тех, уважение к кому повелевается и природою и божественною заповедью. Почему же он родителей укорял в том, что сам не только считал позволительным, но даже воспевал в продолжение почти всей своей жизни? Нет, видно, истина одна и неизменна, и как бы ни пал высокий дух, но он бессознательно стыдится порока и в глубине своей сознает величие того, что мы называем добродетелью.

Под портретом, мною рисованном, Александр Иванович написал следующее шестистишие:

«Судьба меня в младенчестве убила,
Не знал я жизни *тридцать лет*,
Но ваша кисть мне вдруг проговорила:
«Восстань из тьмы, живи, поэт!»
И расцвела холодная могила,
И я опять увидел свет».

Ни Полежаева, ни Ильинского я больше не видала. Несколькими днями после его отъезда, наступила непогода; мы возвратились в душную Москву, к прозе обыденной жизни; хуже того: мы узнали, что неисправимый грешник не возвратился в полк свой, а пропал, поглощенный, вероятно, тучами столицы. Впрочем, — это одно предположение: как и куда он исчез, никогда я не узнала. Но на нашу квартиру явился присланный полковником фельдфебель, чтоб отыскать беглеца. Этому солдату мой старший брат показал рисованный мною портрет Александра Ивановича — он его тотчас узнал.

Отец мой очень рассердился, узнав, что Полежаев поставил его в такое щекотливое положение: он взял его с собой без отпуска, за своей порукой, на честное слово.. Что скажет он полковнику? Не знаю, как это дело уладилось.

Недолго после этого грустного заключения наших ясных дней, старший брат сообщил мне по секрету, что слышал от своего учителя студента, что Полежаев написал новое стихотворение «Черные глаза» и что оно написано для меня. Я, конечно, об этом молчала. Не знаю, каким образом это сообщение дошло до отца, который страшно рассердился на брата и при мне жестоко стал его распекал:

— Как смел ты подобный вздор выдумать? «Черные глаза» *не* написаны и *не* могли быть написаны на твою сестру! Ces vers sont une horreur!»¹ — прибавил он с негодованием.

Брат смолчал, но когда мы остались с глазу на глаз, он мне вновь подтвердил, что знает *наверное*, что «Черные глаза» написаны для меня и что учитель говорит, что стихи *очень* хороши.

¹ Эти стихи ужасны.

«Учитель говорит: стихи хороши, — подумала я, а отец о них отзывается que c'est une horreur! Что бы это значило?» Но так и осталась я при своем недоумении.

Вероятно, и учителю досталась головомойка, и позаботились о том, чтоб *horreur* не попалась мне на глаза. Это несчастное стихотворение, которое я прочла несколько лет спустя, уже в печати, по всей вероятности, причина тому, что с тех пор дом наш навеки был закрыт для бедного грешника. Отец мой, вероятно, не прерывал с ним сношений; но в моем присутствии никогда о нем не упоминали. Старшего брата увезли в Петербург в юнкерскую школу; не у кого было мне и узнать, что стало с несчастным поэтом. У родных я боялась спросить, чтоб не услышать неприятного о нем отзыва, что было бы для меня хуже самой неизвестности.

Что же дальше? спросите вы, может быть. Гениальное перо Пушкина метко и верно очертило участь девушек тридцатых годов:

«Меня с слезами заклиняний
Молила мать: для бедной Тани
Все были жребии равны...»

С тех пор прошло полвека, участь эта во многом изменилась к лучшему. Полно, к лучшему ли?

В ответ на этот вопрос можно написать несколько томов. Здесь оно не у места.

Что же вышло из этой идиллии, из этого краткого, но полного созвучия двух душ, одной отжившей, другой детской, пробуждающейся к жизни! По словам Белинского, у поэта оно выразилось в двух-трех стихотворениях, исполненных силы и таланта. Это — для читающей публики. Но то, что страдало и томилось внутри человека, то осталось навеки с ним погребено.

В пробуждавшейся душе это созвучие породило стремление ко всему истинно прекрасному и непреодолимое отвращение от всего пошлого, в каком бы виде оно ни появилось. Бессмертный Мицкевич сказал, что не даром прожил тот,

«Kto poznał Boga, wielkiego na niebie
I kochał męża wielkiego na ziemi»¹



¹ Кто познал Бога великого на небе
И любил человека великого на земле.

К.Н.МАКАРОВ

ВОСПОМИНАНИЯ О ПОЭТЕ А. И. ПОЛЕЖАЕВЕ

М

ой отец, известный лексикограф Н. П. Макаров был очень дружен с Владимиром Ивановичем Л-м, артиллерийским офицером, умершим в 1852 году.

Находясь в 1836 году по делам в Москве, Л. познакомился там с талантливым поэтом-страдальцем А. И. Полежаевым, который в это время уже представлял из себя живой труп, ежеминутно ожидавший окончательного разрушения. Встретив любящую девушку, блеснувшую ярким метеором в его безотрадной жизни, поэт естественно должен был или обновиться и почувствовать себя бодрым и переродившимся под влиянием любви, или не вынести этого чувства и упасть еще ниже, дойдя до исходной точки человеческих страданий. Но натура его была уже так сломана и убита жизнью, что он не вынес светлого и сильного проблеска, потрясшего его до глубины души, — и погиб.

В эту именно эпоху его жизни с ним познакомился Л.

Последним в то же время были написаны «Воспоминания» о поэте, подаренные в сороковых годах моему отцу и случайно уничтоженные в 1886 году моими малолетними племянниками.

Под свежим еще впечатлением, я тогда уже набросал отдельные эпизоды, наиболее запечатлевшиеся в моей памяти, затем соединил их в одно целое, и таким образом возникла настоящая статья.

Мне неизвестно, где встретился Л. с Полежаевым, но знаю, что поэт искренне привязался к своему новому знакомому и не раз ночевал у него, отпрашиваясь у начальства. По словам Л., Полежаев был брюнет, невысокого роста, довольно широкоплечий, с некрасивым, но выразительным и оригинальным лицом; у него был правильный и довольно длинный нос; при-

ческа более или менее верно переданная на его литографированных портретах, нависшие усы, закрывавшие почти весь рот и круглый мясистый подбородок. Самой выразительной чертой его физиономии были, конечно, большие черные глаза, светившиеся умом, энергией, благородством и какой-то высшей духовной силой.

Помню рассказ, что когда на Кавказе ближайший начальник Полежаева стал делать ему за какую-то провинность выговор, — Полежаев взглянул начальнику прямо в глаза своим искрометным взглядом, и тот остановился на полуслове, смешался и поспешил уйти.

Руки Полежаева слегка дрожали, что вместе с несколько припухшим лицом и преждевременной сединой в волосах показывало пристрастие поэта к спиртным напиткам.

С людьми малознакомыми Полежаев был неразговорчив, словно дичился, но сойдясь с кем-нибудь ближе, он, особенно когда находился в духе, много говорил, прекрасно читал свои и чужие стихи и увлекательно передавал эпизоды из своей кавказской боевой жизни. Рассказывая иногда анекдоты веселого и даже пикантного характера, Полежаев был на самом деле далеко не весел.

Несмотря на все старания, ему было трудно скрыть затаенную, постоянно угнетающую его тоску; нередко в середине самого оживленного разговора на лицо его вдруг набегала туча, он хмурился, задумывался и потом, как бы спохватившись, напускал на себя неестественную развязную веселость. Эта напускная веселость действовала очень тяжело на Л., потому что он чувствовал под ней горькие слезы.

— К чему киснуть и ходить с постной физиономией, — этим горю не поможешь, — говорил не раз поэт Л-у.

В силу такого рассуждения он не выставлял на показ своих ощущений. При том же был слишком горд, чтобы кому-нибудь, даже другу, поверить свои душевные скорби. О своем происхождении он никогда никому не говорил, и расспросы об этом его раздражали; это, вообще, было его больным местом и, вероятно, причиной многих страданий. Ко всему окружающему поэт относился крайне апатично; был очень рассеян, неряшлив и постоянно ходил в разорванной одежде. Несмотря на свою не только бедность, но в полном смысле слова нищету, Полежаев не дорожил деньгами, и если кто-нибудь помогал ему (а это случалось не часто), он или отдавал деньги таким же беднякам, каким был сам, или же просто пропивал их. Напиваясь пьян, он делался молчалив, обидчив, раздражителен и про-

клинал весь свет; все это обыкновенно кончалось двенадцатичасовым сном, извинениями и расспросами: «Не сказал ли я что-нибудь непристойного? — не наговорил ли вздора?..»

Однажды Полежаев пришел к Л. в самом возбужденном состоянии; последний подумал, что поэт пьян, но оказалось совсем другое.

— Что с вами, Александр Иванович? — спрашивал Л.

— Генерал распек, — дрожащим голосом отвечает Полежаев.

— Какой генерал?

— NN (фамилию не помню, это был постоянно пьяный бурбон Аракчеевской школы).

— За что?

— За то, что пуговица у мундира оторвалась, — задыхаясь, ответил Полежаев, хотел еще что-то сказать, но не выдержал, остановился на полуслове и, схватившись за голову, зарыдал. Л. был поражен. Такой порыв совершенно не согласовался с сдержанным и всегда замкнутым характером поэта; но объяснить его не трудно. Испытав с двадцатилетнего возраста всю горечь презрительных отношений к нему, как преступнику, отверженцу общества, поэт, конечно, в глубине души таил обиду и чувство мести к своим гонителям. Это чувство слишком долго сдерживалось и должно было когда-нибудь прорваться наружу. Сосуд наполнялся более и более и ожидал только легкого толчка, чтобы расплескаться. Толчок явился в брани пьяного генерала, который, кроме того, коснулся самого больного Полежаеву места: зная об его происхождении, он, между прочим, укорил его: «Как, мол, сын дворянина мог дойти до такого низкого состояния...»

С 1836 года поэт начал часто хворать. Он не мог громко говорить, и каждый оживленный разговор вызывал сильный мокротный кашель. Чихотка уже делала свое дело.

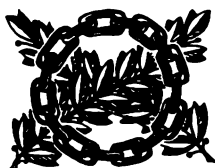
— Скоро помирать буду, чувствую я это, — говорил он Л-цу.

— А зачем вы так много вина пьете; ведь это яд для вас.

— Что об этом рассуждать, — грустно отвечал Полежаев, махнув рукой, — от смерти не уйдешь, да я и не боюсь ее, пусть приходит, а не пить — не жить! Выпьешь стакан — забудешься, ведь я живу-то — не на лаврах почитаю; да и не думаю, чтобы водка мне вредила: в прежнее время я ею от всех болезней лечился. После полбутылки пропотеешь хорошенько и всю боль как рукой снимет — хоть танцуй.

Что было ему отвечать на эти слова?

Перед отъездом своим из Москвы Л. нарисовал с Полежаева два портрета в профиль, один карандашом, а другой акварелью; последний был подарен моему отцу вместе с рукописью и теперь хранится у меня. Он сделан очень грубо и неумело, но, по словам Л. и поэта Л. Якубовича, схож с оригиналом... Прощаясь с Полежаевым, Л. во второй раз оказал ему денежную помощь и потом некоторое время переписывался с ним. Во всех письмах поэта говорилось только об одном — об ожидании скорой смерти.



В.Г.БЕЛИНСКИЙ

<СТИХОТВОРЕНИЯ ПОЛЕЖАЕВА>

Часы выздоровления.
СТИХОТВОРЕНИЯ А. ПОЛЕЖАЕВА.
Москва. 1842.

Стихотворения А. Полежаева
Москва. 1832.

Кальян.
СТИХОТВОРЕНИЯ АЛЕКСАНДРА ПОЛЕЖАЕВА
Москва. 1838. (Издание третье.)

Арфа.
СТИХОТВОРЕНИЯ АЛЕКСАНДРА ПОЛЕЖАЕВА.
Москва. 1838.

«И я жил, но я жил
На погибель свою...
Буйной жизнью убил
Я надежду мою...
Не расцвел и отцвел
В утре пасмурных дней;
Что любил, в том нашел
Гибель жизни моей.
Дух уныл, в сердце кровь
От тоски замерла,
Мир души погребла
В шумной воле любовь...
Не воскреснет она...»

А. Полежаев

П

ервая из книг, заглавие которых выставлено в начале этой статьи, заключает в себе обрывки стихотворений талантливого Полежаева и не заслуживает никакого внимания. Это явно или спекуляция на имя, или следствие необдуманного дружеского усердия к покойному автору. Тем не менее мы рады появлению этой книжки, потому что она дает нам удобный случай поговорить о Полежаеве, как

о поэте вообще, и сделать критическую оценку всей его поэтической деятельности.

Слава дается людям гением и не зависит ни от каких случайных отношений. Против нее бессильны предубеждения, зависть и злоба. Они даже служат ей, стараясь уничтожить ее, — и если им удастся иногда помрачить ее лучезарный блеск, то не более, как на минуту, и для того только, чтоб она явилась еще лучезарнее: так солнце является в большем блеске, когда пройдут мимо застилавшие его облака, а они не могут же не проходить мимо его! Время всегда на стороне «славы», и, опираясь на него, она торжествует даже над самим временем. Но слава дается одним гениям, — и как между гением и обыкновенным человеком есть множество посредствующих ступеней и звеньев, называемых «talантами» и «дарованиями», так и между «славою» и «неизвестностью» есть посредствующие величины славы, называемые большею или меньшею «известностью». Вот эти-то таланты и дарования, эти-то известности более или менее и испытывают на себе влияние случайных отношений и временных обстоятельств, ничтожных и бессильных для гения и славы. Нельзя провести резкой черты, отделяющей гения от таланта, ибо есть таланты, близкие к гению, и вообще подобное разграничение окончательно совершается временем и веками. В этом вопросе для нас важно только то, что чем выше, сильнее, многостороннее, глубже, словом, огромное талант, — тем больше его известность приближается к славе, тем менее могут вредить ему случайные отношения; и наоборот: чем меньше и одностороннее талант или низшая его степень — дарование, тем больше зависит оно не от самого себя, а от внешних обстоятельств, влияние которых особенно сильно обнаруживается на него в самое его возникновение и развитие. Часто случается, что совершенно пустое и ничтожное дарование пользуется в свое время громкою известностью, похожею на славу; а истинный и замечательный талант проходит, не замеченный толпою при жизни, забытый ею по смерти. И когда поток времени поглотит все случайные известности и эфемерные славы, тщетно стал кто-нибудь воскрешать непризнанную славу вотще промелькнувшего таланта: его вновь заслоняют вновь возникшие известности, его слава, его творения принадлежат исключительно его времени, которое прошло для него и бесплодно, и безвозвратно. Потомство согласится, что он был выше тех, которые заслоняли его, но и на нем не захочет остановить своего внимания так же, как и на них. Впрочем, нельзя сделать общего правила из такого случая, потому именно, что он случай. Часто бывает и наоборот: часто пальма первенства достойно дается современниками первому по досто-

инству; но в том-то и состоит зависимость таланта от случайности, что он так же может быть признан современниками, как и не признан ими. Только мировые гении поставлены вне закона этой случайности, ибо не могут не быть ни непризнанными, ни забытыми.

Конечно, не стоит и хлопотать о таланте, который умер, не живя, и которого имени нельзя воззвать к жизни. Но этому могут противоречить два обстоятельства. Во-первых, истина и справедливость сами себе цель, для них иногда может быть важен предмет более по отношению к ним самим, чем к себе самому. Во-вторых, если дело идет о таком таланте, который, будучи не признан при жизни, не может возратить должного себе после своей смерти, не столько по недостатку в силе, сколько по неразвитости, ложному направлению, или по причинам, скрывавшимся в самой эпохе, в которую он явился: тогда критике стоит и очень стоит заняться им как предметом замечательным и поучительным. К таким-то талантам принадлежит Полежаев, и потому-то мы давно желали найти случай поговорить о нем. Теперь много имен в нашей литературе, пользующихся только прошедшею своею известностию и на этом зыбком основании тщетно требующих себе внимания равнодушной к ним современности: и однако ж все они некогда заслоняли собой Полежаева, которого и теперь не видно из-за их поблекшей известности. И как им было не заслонить его?

Их стихотворения печатались в Петербурге, издавались так красиво, сами они писали друг к другу послания, участвовали в приятельских журналах, и некоторых из них сам Пушкин печатно величал своими сподвижниками. Стихи Полежаева ходили по рукам в тетрадках, журналисты печатали их без спросу у автора, который был далеко; наконец, они и издавались, или за его отсутствием, или без его ведома, на плохой бумаге, неопрятно и грубо, без разбора и без выбора — хорошее вместе с посредственным, прекрасное с дурным... Еще в Москве Полежаев пользовался громкою известностию; там и доселе не забыт он; но Петербург вскользь слышит о существовании его как поэта: теперь же, когда Петербург, давно уже центр администрации, день ото дня более и более делается центром умственной и всякой другой деятельности России, — теперь и литературная известность в России, даже в самой Москве, возможна только через Петербург.

Часто случается встретить в критиках и рецензиях мнение, что такой-то поэт мог бы приобрести себе прочную славу, но погубил свое дарование, увлекшись звоном рифмы, вычурностию в выражениях и т. п. Справедливо ли такое мнение? — Может быть, и справедливо, только крайне одностороннее, по нашему мнению. Почему Шиллер — великий по-

эт? — Потому что получил от природы великий гений. А почему Шиллер не погубил своего великого гения, почему он не увлекся звоном рифмы, вычурностью выражения? — Потому что он получил от природы великую душу, которая презирала мелочами и стремилась к одному истинному, великому и вечному. Видите ли: здесь причина прежде всего в натуре поэта, которая уже по самой сущности своей не допустила бы его сбиться с пути. Но, скажут нам, поэзия Шиллера велика не одною силою художнического гения, не одним пламенем любви к человечеству и к истине, но и мирообъемлющим, вечно юным и вечно развивающимся содержанием, которого только возможность лежала в его натуре, но которое усвоено, развито и обогащено было им посредством учения и неослабного стремления за современными интересами. Так; но опять-таки начало всего в натуре поэта, душа которого вечно сгорала жаждою знания и сердце которого вечно билось только для идеи. Потом, здесь причина еще и в духе, жизни и развитии, словом — истории народа, среди которого родился поэт, и, наконец, в историческом моменте, в котором застал поэт современное ему человечество. Это уж не его заслуга — это дело судьбы, велевшей ему родиться германцем, а не китайцем. Природа везде природа, человек везде человек: и в Китае может родиться поэт с организацией и духом Шиллера, но Шиллером никогда не будет, останется китайцем: он выразит своими творениями бедное содержание китайской жизни и в уродливых китайских формах: китайцы будут им восхищаться, но европеец не поймет его ни в подлиннике, ни в лучшем переводе. Таково влияние национальности на дух и достоинство творений поэта: она, эта национальность, делает его и великим, и ничтожным. Но если бы этот предположенный нами китайский Шиллер и выдвинулся из своего народа, усвоив себе европейскую образованность и европейское знание, и тогда бы в своих творениях был он только любопытным фактом феноменологии духа человеческого, а не великим явлением в сфере творчества, ибо великий поэт может возникнуть только на национальной почве. Содержание для поэзии дает поэту жизнь, а не наука: наука только обогащает и развивает это содержание. Не из книг почерпнул Шиллер свою ненависть к униженному человеческому достоинству в современном ему обществе: он сам, еще дитятей и юношею, перестрадал болезнями общества и перенес на себе тяжкое влияние его устарелых форм; наука только познакомила его с причинами настоящего, скрывавшимися в веках, уяснила вопрос и дала сознательное направление энергической деятельности его могучего духа. Равным образом не наукою постиг он всё великое и истинное в средних веках: наука только уяснила ему этот вопрос, а самый вопрос возбудила в нем

жизнь: ибо современная ему цивилизация была результатом средних веков, с их добром и злом. Более ощутительное влияние науки на Шиллера в его сочувствии с древним миром; но и тут корень этого сочувствия скрывался в истории его отечества, связанной с историей Рима, а через нее и с историей Греции. Предполагаемый нами китайский гений мог бы усвоить себе только извне европейскую образованность и просвещение: вырастая без почвы, она не принесла бы и плодов; непонятый соотечественниками, он не был бы оценен и европейцами. Другое дело, если б, родившись в Европе или перевезенный туда младенцем, он вырос и развился в духе и жизни той страны; но тогда бы он мог быть только поэтом этой страны, а отнюдь не китайским поэтом.

Итак, два обстоятельства творят великих поэтов — натура и история. Вследствие этого и величайший по своей натуре и поэтическим силам поэт не может достигнуть в искусстве назначенной ему высоты, если он родился среди народа, которого национальность или лишена мирового значения, или еще не развилась до него; в таком случае он может быть ниже не только равных ему, но и низшей натуры и меньшими творческими силами одаренных поэтов, которых гений воспитался на почве национальности, имеющей мировое значение. При оценке степени достоинства того или другого поэта нельзя не брать в соображение этого обстоятельства, если хотите быть справедливыми и многосторонними в своем приговоре.

Все сказанное нами относится только к тем великим поэтам, которые столько же принадлежат человечеству, сколько и своему отечеству, и к которым поэтому так идет эпитет «мировых». Нельзя не быть великим поэтом, будучи мировым поэтом; но можно быть великим поэтом, не будучи мировым поэтом: эта разница не в натуре поэта, а в историческом значении его отечества. Но где жизнь, там и поэзия, а следовательно, и содержание для поэзии. Только содержание может быть истинным мерилom всякого поэта — и гениального, и просто даровитого. Следовательно, прежде чем говорить: «такой-то поэт мог бы быть великим, но погубил свое дарование», — должно, на основании содержания его поэзии, показать сперва: действительно ли его талант был велик; а потом: столько ли он был велик, чтобы, опираясь на своей силе, не мог сбиться с настоящего пути и утратить свою силу. А то говорят: «г-н N.N. обещал много, но увлекся звоном рифмы — и из него не вышло ничего!» Но, милостивые государи! на чем же вы основываете, что он много обещал, если такие пустяки, как звон рифмы или вычурность в выражении, могли сбить его с толку? Не все ли это равно, что сказать: «такой-то господин подавал блестящие надежды быть великим полководцем; но, к сожалению, увлек-

шись врожденною трусостию, оставил военное поприще и решился определиться в станковые приставы? Если бы в вас было побольше эстетического такта, то — уверяем вас — вы в первых же произведениях вашей мнимо великой будущей надежды увидели бы только звон рифм и поняли бы, что больше звона-ря из него ничего никогда не выйдет! Странно было бы назвать Лермонтова великим поэтом за две написанные им книжки; но о нем все говорят, как о великом поэте, ибо в этих двух книжках он дал залог своего будущего великого развития, — и никому, кроме людей, которые в искусстве ничего не смыслят, — никому не придет в голову сказать, что Лермонтов мог бы со временем погубить свой талант, увлекшись звоном рифмы или вычурностью фразы. Такие таланты обессиливают себя не подобными пустяками, а разве тем, что, отрываясь от современных интересов, предаются созерцательному отчуждению от живой действительности и засыпают в поэтическом аскетизме или живут жизнью прошедшего, холодные к современному, которое в свою очередь равнодушно к их запоздалым интересам.

Как бы то ни было, но если и для великих талантов возможно *свое* падение, тем более возможно оно для дарований второстепенных. Но и в отношении к ним мы все-таки разуме-ем не «рифменный звон» и не «вычурную фразу», которыми способны увлекаться только дарования внешние, лишенные внутренней самостоятельной силы, чуждые всякого содержания. Гладкий и звучный стих, вне содержания, обнаруживает только способность к форме поэтической: в отношении к истинной поэзии он то же самое, что риторика в отношении к истинному красноречию. Чтоб стих был поэтический, не только мало гладкости и звучности, но недостаточно и одного чувства: нужна мысль, которая и составляет истинное содержание всякой поэзии. Эта мысль дает себя чувствовать в поэзии, как известный взгляд на известную сторону жизни, как начало (*principe*), которым вдохновляются и живут творения поэта. Каждый век и каждое время питает свою думу о жизни, стремится к своим целям и источником всех своих побуждений имеет единое начало, — и чем поэт выше, тем более выражается в нем эта дума его времени. Всякое истинное содержание отличается жизненностию, вследствие которой оно движется вперед, развивается, а не стоит, оцепенелое, на одном месте или, подобно попугаю, не повторяет вечно одного и того же, и притом одними и теми же словами. Вот почему истинные поэты постепенно, с течением времени, становятся глубже и совершеннее в своих творениях; и вот почему творения истинных поэтов располагаются умными издателями не по родам, а в хронологическом порядке, сообразно с временем по-

явления на свет каждого из них. А откуда же возьмется это движение, эта постепенность совершенствования, если поэт барабанит своими гладкими и звучными стихами вечно одно и то же, — например: студентские попойки, звон рюмок, хлопанье пробок, деву-красоту, у которой перси всегда полны, а сердце пусто? Тут может быть услуга только языку и версификации, а отнюдь не поэзии. И не диво, если такой стихотворец, ошибочно провозглашенный поэтом, скоро выпишется, всем надоест старыми погудками на новый лад или новыми погудками на старый лад, утратит даже свой бойкий, звонкий и гладкий стих и, мертвый для всяких современных, живых интересов, по привычке будет от времени до времени, плохими стихами, воспевать в приятельских журналах то рейнвейн, который *нежит, так сказать, глубокомысленно, то малагу*, которую пьют, когда уже ничего другого желудок не выносит?.. Важное дело — знать нам, какое вино пьет господин стихотворец... После такой фамильярности с доброю публикою ему остается только уведомлять ее, разумеется, в стихах, в каком погребке берет он свое вино. Оно бы и лучше: тогда стихи его имели цену и достоинство хоть преysкурантов и потому хоть на что-нибудь сгодились бы... И после этого еще говорят, что он много обещал, но жаль-де, что, увлекшись звоном рифмы, погубил свой талант!.. Да в рифменном-то звоне и заключался весь его талант, почтенные господа Аристархи!..

Но не лучше его и те рифмотворцы, у которых, кажется, что ни слово, то мысль, а как взглядишься, так что ни слово — то риторическая завитушка или дикое сближение несближаемых предметов. Один из таких господ, пожалуй, так опишет вам дружбу: «У меня, — скажет он, — есть в сердце рана: она вечно истекает кровью: ее нанес мне друг нежною рукою, и сквозь ту рану он смотрит в мое сердце», и тому подобное. Другой, пожалуй, пропищит: «Что в море купаться, то-де читать Данта: его стихи упруги и полны, как моря упругие волны». Третий чудака, пожалуй, соблазнясь этим образцовым примером, затынет: «Что макароны есть с пармезаном — то Петрарку читать: стихи его сладко скользят в душу, как эти обмасленные, круглые и длинные белые нити скользят в горло». Четвертый посоветует юношам не «призывать вдохновения на *высь чела*, венчанного *звездой*», или станет воспевать *грудь*, которая *высоко взметалась беспредметною любовью*; *любовь*, которая *гнездится в ущельях сердец*, *деву*, которой *стан поэт вносил в вихрь кружения на огненной ладони*; *струи времени*, *возрастившие мох забвения на развалинах любви*; *гибкий стан*, в котором поэт *утопляет горящую ладонь*; *искру души*, которая *прихотливо подлетела к паре черненьких глаз* и *умильно посмотрела в окна своей храмины*; *деву*, которая, *сидя на жеребце*, *гордится усестом*, — и тому подобную дикуую галима-

тью, которую иногда и на самом деле выдают нам за полную мыслей поэзию и которую основательная критика должна преследовать огнем и мечом, как преступление против здравого смысла, языка, литературы и искусства... Нет, не такова поэзия, полная мысли: она проста, естественна, неизысканна, как творения природы, выразившие собою мысль творца... О таких рифмачах, если только бывают на свете такие рифмачи, нельзя говорить: «они многое обещали, а мало сделали»; но должно говорить «они ничего не обещали хорошего и много написали вздорного».

Есть поэты, в которых нельзя не признать ни чувства, ни вдохновения, ни поэтической формы, но о которых, по первым же их произведениям, можно безошибочно сказать, что они недалеко пойдут и скоро выпишутся. Это те односторонние дарования, которые пробуждаются от какой-нибудь случайности — несчастья, утраты, и, открыв в душе своей затаенный родник грустной поэзии, скоро исчерпывают его весь, настроив свою лиру на один тон: а потом, когда неглубокий родник истощится и пересохнет, уже по привычке к рифмам, продолжают вяло и бездушно выговаривать то, что некогда пелось у них, по крайней мере, искренно и тепло... Потом это те эфемерные души, которые бывают юны только во время юности; пережив юность, они тотчас же отцветают и скоро мирятся с прозой жизни. И слава им, если они, из поэтов сделавшись агрономами, чиновниками, спекулянтами, совсем забывают свою лиру для счетов, аршина или деловых бумаг; и позор им, если они вздумают обманывать и себя и других рифмованною стукотнею бесчувственных чувств и бессмысленных мыслей!.. Юность дается человеку только раз в жизни, и в юности каждый из них доступнее, чем в другом возрасте, всему высокому и прекрасному. Благо тому, кто сохранит юность до старости, не дав душе своей остыть, ожесточиться, окаменеть —

«В мертвящем упоеньи света,
Среди бездушных гордецов,
Среди блистательных глупцов,
Среди лукавых, малодушных,
Шальных, балованных детей,
Злодеев и смешных и скучных,
Тупых, привязчивых судей,
Среди кокеток богомольных,
Среди холопьев добровольных,
Среди вседневных, модных сцен,
Учтивых, маленьких измен,
Среди холодных приговоров
Жестокосердной суеты,
Среди досадной пустоты
Расчетов, дум и разговоров,
В сем омуте, где с вами я
Купаюсь, милые друзья».

Да, возможное совершенство каждого человека, то, к чему должен и может стремиться каждый человек, состоит именно в том, чтоб, и доживши до седых волос, даже у края могилы, не пережить своей юности... Но увы! сколь немногие достигают этого и сколь многие стареются, когда еще не миновалась и юность их! Эта разница происходит при многих причинах, прежде всего от разницы в натурах, с которыми рождаются люди. Это же и главная причина, отчего один поэт всю жизнь сохраняет свое вдохновение, а другой теряет его после десятка хороших, впрочем, стихотворений. И напрасно о таких поэтах говорят: «как много обещал он и как мало выполнил!» О таких, напротив, чаще можно говорить: «Он обещал еще меньше, нежели сколько выполнил»...

«Но, — говорят, — если бы он писал так, а не этак, воспевал то, а не это, — сохранил бы свой талант». Нет, милостивые государи, тому нет спасения, кто в самом себе, в слабости своей натуры, носит своего врага... — «Но если бы он слушался критики?» — Поэтов творит природа и жизнь, а не критика, — и для них поучительнее критика на чужие сочинения, чем на их собственные... — «Однако ж отчего же нибудь он сбился же?» — Для таких талантов на каждом шагу жизни стоят силки, и от чего бы то ни было, но им надо сбиться... В отношении к ним даже интересно и исследовать причины падения.

Гораздо поучительнее падение таких поэтов, которые не так сильны, чтоб не бояться падения, и не так слабы, чтоб выдохнуться незаметно и испариться в болотной атмосфере житейской повседневности; но которые или достигают, при благоприятных обстоятельствах, той степени развития, что их творения делаются капитальным, хотя и второстепенным сокровищем отечественной литературы; или, при неблагоприятстве судьбы, пролетают по пути жизни блудящею кометою, являя своею жизнью и своими произведениями зрелище печальное и поучительное. Таков был талант Полежаева...

Стихотворения Полежаева начали являться в печати с 1826 года; но они были знакомы Москве еще прежде, равно как и имя их автора. Известность Полежаева была двоякая и в обоих случаях печальная: поэзия его тесно связана с его жизнью, а жизнь его представляла грустное зрелище сильной натуры, побежденной дикою необузданностью страстей, которые, совратив его талант с истинного направления, не дали ему ни развиться, ни созреть. И потому к своей поэтической известности, не для всех основательной, он присовокупил другую известность, которая была проклятием всей его жизни, причиною ранней утраты таланта и преждевременной смерти... Это была жизнь буйного безумия, способного возбуждать к себе и ужас и сострадание: Полежаев не был жертвою судьбы и,

кроме самого себя, никого не имел права обвинять в своей гибели. Полежаева уже нет, и потому о нем можно говорить прямо и открыто: подобная откровенность никого не оскорбит, но многим будет поучительна. Он был явлением общественным, историческим, — и, говоря о нем, мы говорим не о частном человеке. К тому же в нашем суждении о Полежаеве мы будем основываться не на каких-нибудь посторонних и сомнительных свидетельствах, а на его собственных поэтических признаниях: ибо все лучшие его произведения суть не иное что, как поэтическая исповедь его безумной, страдальческой жизни. Мы пишем не для того, чтоб осуждать, а для того, чтоб поучать и поучаться из такого разительного примера: могла мирит все, и над нею должны раздаваться не проклятия и осуждения, а слова примирения и благословения...

Слишком рано поняв безотчетным чувством, что толпа жила и держалась правилами, которых смысла сама не понимала, но к которым равнодушно привыкла, Полежаев, подобно многим людям того времени, не подумал, что он мог и должен был уволить себя только от понятий и нравственности толпы, а не от всяких понятий и всякой нравственности. Освобождение от предрассудков он счел освобождением от всякой разумности и начал обожать эту буйную свободу. Свобода была его любимым словом, его любимую рифмою, — и только в минуты душевной муки понимал он, что то была не свобода, а своеволие, и что наиболее свободный человек есть в то же время и наиболее подчиненный человек. Избыток сил пламенной натуры заставил его обожать другого, еще более страшного идола — чувственность. Для человека необходим период идеальных, восторженных стремлений и порываний: перешед через него, он может отрешиться от всего мечтательного и фантастического, но уже не может остаться животным даже в своих чувственных увлечениях, которые у него будут смягчены и облагорожены чувством красоты и примут характер эстетический. И Полежаев пережил этот период идеального чувства, но уже слишком не вовремя, как мы увидим. Сначала он, который не имел права сказать о себе, что не знал мятежного волнения страстей, — он имел право сказать:

«Как минутный
Прах в эфире,
Бесприютный
Странник в мире.
Одинок,
Как челнок,
Уз любви
Я не знал,
Жаждой крови
Не горал!»

Он имел право, не клевета на самого себя для красного словца, сказать красавице, не сводившей с него задумчивых очей и припадавшей к нему на грудь в порывах забвенья:

«Ты ничего в меня вдохнуть
Не можешь, кроме сожаленья!
Меня не в силах воскресить
Твои горячие лобзанья,
Я не могу тебя любить,
Не для меня очарованья!

Я рано сорвал жизни цвет;

И прежних чувств и прежних лет
Не возвратит ничто земное!
Еще мне милы — красота
И девы пламенные взоры;
Но сердце мучит простота,
А совесть — мрачные укоры!
Люби другого: быть твоим
Я не могу, о друг мой милый!..
Ах, как ужасно быть живым,
Полуразрушась над могилой!»

И потому не удивительно, если не вовремя и не в пору явившееся мгновение было для поэта не вестником радости и блаженства, а вестником гибели всех надежд на радость и блаженство, и исторгнуло у его вдохновения не гимн торжества, а вот эту страшную, похоронную песнь самому себе:

«О, грустно мне! Вся жизнь моя — гроза!
Наскучил я обителью земною!
Зачем же вы горите предо мною,
Как райские лучи пред сатаной,
Вы — черные, волшебные глаза?

Увы! давно, печален, равнодушен,
Я привыкал к лихой моей судьбе:
Неистовый, безжалостный к себе,
Презрел ее в отчаянной борьбе
И гордо был несчастью послушен!

Старинный раб мучительных страстей,
Я испытал их бремя роковое —
И буйный дух, и сердце огневое —
Давно смирил в обманчивом покое,
Как лютый враг покоя и людей!

В моей тоске, в неволе безотрадной,
Я не страдал, как робкая жена;
Меня несла противная волна,
Несла на смерть — и гибель не страшна
Казалась мне в пучине беспощадной.

И мрак небес, и гром, и черный вал
Любил встречать я думою суровой
И свисту бурь, под молнией багровой,
Внимать, как муж, отважный и готовый
Испить до дна губительный фиал...

И погружаясь в преступные сомненья
О цели бытия,
Я трепетал, чтоб истина меня,
Как яркий луч, внезапно осеня,
Не извлекла из тьмы ожесточенья.

Мне страшен был великий переход
От дерзких дум до света провиденья;
*Я избегал невинного творенья,
Которое б могло без сожаленья
Моей душе дать выпернный полет; —*

И вдруг оно, как ангел благодатный...
О, нет! — как дух карающий и злой, —
Светлее дня явилось предо мной,
С улыбкой роз, пылающих весной,
На мураве долины ароматной!..

Явилось... всё исчезло для меня:
Я позабыл, в мучительной невзгоде,
Мою любовь и ненависть к природе,
Безумный пыл к утраченной свободе,
И всё, чем жил, дышал доселе я...

В ее очах, алмазных и приветных,
Увидел я, с невольным торжеством,
Земной эдем!.. Как будто существом
Других миров — как будто божеством
Исполнен был в мечтаниях заветных.

И дева-рай, и дева-красота
Лила мне в грудь невыразимым взором
Невинную любовь, с таинственным укором,
И пела в ней душа небесным хором:
«Люби меня! — И в очи и в уста

Лобзай меня, певец осиротелый,
Как мотылек лилею поутру!
Люби меня, как милую сестру, —
И снова я и к небу, и к добру
Направлю твой рассудок омертвелый!..»

И что ж? Свершилось ли/ возрождение — этот великий акт любви? и святая власть женственного существа победила ли ожесточенную мужскую твердость? — Нет! Поэт не воскрес, а только пошевелился в гробе своего отчаяния; солнечный луч поздно упал на поблекший цвет его души... Остальная половина этого стихотворения, или, лучше сказать, этой поэтической исповеди, отличается тою хаотическою неопределенностью,

в какую погрузило душу поэта его полувозрождение: и как ничего положительного не могло выйти из нового состояния души поэта, так ничего не вышло и из стихотворения, в котором он силился его выразить. Эта неопределенность отразилась и на стихах: стих, доселе поэтический, даже крепкий и сжатый, становится прозаическим, вялым и растянутым и только местами сверкает прежним огнем, как угавающий вулкан; целые куплеты ничего не заключают в себе, кроме слов, в которых видно одно тщетное усилие что-то сказать. И потому мы представим конец пьесы в сокращении:

«Напрасно я мой гений горделивый,
Мой злобный рок на помощь призывал;
Со мною он, *как друг* (?), изнемогал,
Как слабый враг, пред мощным трепетал,—
И я в цепях *пред* девою стыдливой!
В цепях!.. Творец! бессильное дитя
Играет мной по воле безотчетной,
Казнит меня с улыбкой беззаботной —
И я, как раб, влачусь за ним охотно,
Всю жизнь мою страданью посвящая!..»

Затем, бог знает почему, поэт спрашивает дурными стихами о ней: кто она и где тот, «кто девы молодой *вопьет* в себя невинное дыханье?».

«Гроза и гром! ужель мои уста
Произнесут убийственное слово?
Ужели все в подсолнечной готово
Лишить меня прекрасного земного?..
Так, я лишен, лишен — и навсегда!..
Кто видел терн колючий и бесплодный
И рядом с ним роскошный виноград?
Когда ж и где равно их оценят
И на одной гряде соединят?..
Цветет ли мирт в Лапландии холодной?
Вот жребий мой! Благие небеса!
Быть может, я достоин наказания;
Но — я с душой — могу ли без роптанья
Сносить мои жестокие страданья?
Забуду ль вас, о черные глаза?»

Далее поэт вспоминает те бесценные мгновения, когда, и при луне и при солнце, беседовал он тихо с милою девою или бродил с нею между гробами —

«...с унылыми мечтами,
И вечный сон, над мирными крестами,
И смерть, и жизнь летали перед нами,
И я искал покоя мертвецов!»

Вспоминает, как он заставлял прекрасную в слезах над
«Элоизою»,

«Иль, затая дыханье на устах,
Во тьме ночей стерег ее в волнах,—
Где, иногда, под сумрачною ризой,
Бела, как снег,—волшебные красы,
Она струям зеркальным предавала
И между тем стыдливо обнажала
И грудь и стан — и ветром развевало
И флер ее, и черные власы...
Смертельный яд любви неотразимой
Меня терзал и медленно губил;
Мне снова мир, как прежде, опостыл...
Быть может... нет! мой час уже пробил,
Ужасный час, ничем не отразимый!»

Можно догадываться из этих стихов, что душа поэта пережила его тело и, живой труп, он умирал медленною смертью, томимый уже бесплодными желаниями... Страшное состояние! Как понятны после этого стихи Полежаева:

«Ах, как ужасно быть живым,
Полуразрушась над могилой!..»

Эти *черные глаза*, очевидно, были важным, хотя уже и безвременным фактом в жизни Полежаева: скорбному воспоминанию о них посвящена еще целая и притом прекрасная пьеса — «Грусть». <...>

Но это только мгновение в жизни поэта; другая любовь неотступно жила с ним и погубила его — это та, о которой он сам сказал:

«В сердце кровь
От тоски замерла,
Мир души погребла
К шумной воле любовь!
Не воскреснет она!»

Эта-то любовь, извлекая столько грязных песен, извлекала иногда и поэтические звуки из души поэта, как в этой прекрасной песне его — «Цыганка». ... В pendant¹ к этой пьесе приводим здесь и «Ахалук». <...>

Но апофеозу идола, спалившего цвет жизни поэта, представляет его пьеса «Гарем». <...>

В этом дифирамбе выражено объяснение ранней гибели его таланта... Он известен был под названием «Ренегата» и по множеству мест цинически бесстыдных и безумно-вдохновенных не мог быть напечатан вполне. Азия — колыбель младенческого человечества и как элемент не могла не войти и в жизнь возмужавшего и одухотворившегося европейца, но как элемент — не больше: исключительное же ее обожание — смерть

¹ дополнение, соответствие (фр.) — Ред.

души и тела, позор и гибель при жизни и за могилою... Полежаев жил в Азии, а Европа только на мгновение шевелила его душою: удивительно ли, что он —

«Не расцвел и отцвел
В утро пасмурных дней;
Что любил, в том нашел
Гибель жизни своей?»

Отличительный характер поэзии Полежаева — необыкновенная сила чувства. Явившись в другое время, при более благоприятных обстоятельствах, при науке и нравственном развитии, талант Полежаева принес бы богатые плоды, оставил бы после себя замечательные произведения и занял бы видное место в истории русской литературы. Мысль для поэзии то же, что масло для лампы: с ним она горит пламенем ровным и чистым, без него вспыхивает по временам, издает искры, дымится чадом и постепенно гаснет. Мысль всегда движется, идет вперед, развивается. И потому творения замечательных поэтов (не говоря уже о великих) постепенно становятся глубже содержанием, совершеннее формою. Полежаев остановился на одном чувстве, которое всегда безотчетно и всегда заперто в самом себе, всегда вертится около самого себя, не двигаясь вперед, всегда монотонно, всегда выражается в однообразных формах.

В пьесе «Ночь на Кубани» вопль отчаяния смягчен какою-то грустью и совпадает с единственно возможною надеждою несчастливца — надеждою на прощение от подобного себе несчастливца, собственным опытом познавшего, что такое несчастье:

«Ах, кто мечте высокой верил,
Кто почитал коварный свет
И на заре весенних лет
Его ничтожество измерил;
Кто погубил, подобно мне,
Свои надежды и желанья;
Пред кем разрушились вполне
Грядущей жизни упования;
Кто сир и чужд перед людьми;
Кому дадут из сожаленья
Иль ненавистного презренья
Когда-нибудь клочок земли...
Один лишь тот меня оценит,
Моей тоски не обвинив,
Душевным чувствам не изменит
И скажет: «Так, ты несчастлив!»
Как брат к потерянному брату,
С улыбкой нежной подойдет,

Слезу страдальную прольет
И разделит мою утрату!..

Лишь он один постигнуть может,
Лишь он один поймет того,
Чье сердце червь могильный гложет!
Как пальма в зеркале ручья,
Как тень налетная в лазури,
В нем отразится после бури
Душа унылая моя!
Я буду — он; он будет — я!
В одном из нас сольются оба!
И пусть тогда вражда и злоба
И меч, и заступ гробовой!
Гремит над нашей головой!..»

.

Естественно, что Полежаев, в светлую минуту душевного умиления, обрел столько еще тихого и глубокого вдохновения, чтобы так прекрасно выразить в стихах одно из величайших преданий Евангелия:

«И говорят ему: «Она
Была в грехе уличена
На самом месте преступленья;
А по закону, мы ее
Должны казнить без сожаленья:
Скажи нам мнение свое».

И на лукавое воззванье,
Храня глубокое молчанье,
Он нечто — грустен и уныл —
Перстом божественным чертил.

И наконец сказал народу:
«Даю вам полную свободу
Исполнить праотцев закон:
Но где тот праведный, где он,
Который первый на блудницу
Поднимет тяжкую десницу?..»

И вновь писал он на земле...
Тогда с печатью поношенья
На обесславленном челе
Сокрылись дети ухищренья —
И пред лицом его одна
Стояла грешная жена...

И он, с улыбкой благотворной,
Сказал: «Покинь твою боязнь.
Где твой синедрион упорный?
Кто осудил тебя на казнь?»
Она в ответ: «Никто, учитель!» —

«И так и я твоей души
Не осужу, — сказал Спаситель, —
Иди в свой дом — и не греши».

Может быть, после этого нам будет легче и поучительнее внимать страшным признаниям поэта... Тяжесть падения его была бы не вполне обнята нами без двух пьес его — «Живой мертвец» и «Цепи». <...>

Но сила чувства, особенно в падшем человеке, не всегда соединяется с силою воли, — и вопреки себе, он должен хранить жизнь, как собственную кару... <...>

«Вечерняя заря», одна из лучших пьес Полежаева, есть та же погребальная песня всей жизни поэта; но в ней отчаяние растворено тихою грустью, которая особенно поразительна при сжатости и могучей энергии выражения — обыкновенных качествах его поэзии. <...>

Но Полежаев знал не одну муку падения: он знал также и торжество восстания, хотя и мгновенного; с энергической и мощной лиры его слетали не одни диссонансы проклятия и воплей, но и гармония благословений...

«Я погибал;
Мой злобный гений
Торжествовал!
Злодей созрелый,
В виду смертей,
В когтях чертей
Всегда злодей.
Порабощенье,
Как зло за зло,
Всегда влекло
Ожесточенье;
Окаменев,
Как холодный камень;
Ожесточен,
Как серный пламень, —
Я погибал
Без сожалений,
Без утешений!
Мой злобный гений
Торжествовал!
Печать проклятий —
Удел моих
Подземных братьев,
Тиранов злых
Себя самих,
Уже клеймилась
В моем челе,
Душа ко мгле
Уже стремилась...
Я был готов
Без тайной власти
Сорвать покров
С моих несчастий.

Последний день
Сверкал мне в очи,
Последней ночи
Я видел тень,—
И в думе лютой
Всё решено:
Еще минута
И... свершено!..

Но вдруг неожиданный
Надежды луч,
Как свет багряный
Блеснул из туч:
Какой-то скрытый,
Но мной забытый
Издавна бог
Из тьмы открытой
Меня извлек!..
Рукою сильной
Остов могильный
Вдруг оживил,—
И Каин новый
В душе суровой
Творца почтил.
Он снова дни
Тоски печальной
Озолотил
И озарил
Зарей прощальной!
Гори ж, сияй,
Заря святая!
И догорай
Не померкая!»

В другое время сорвались с его лиры звуки торжества и восстания, но уже слишком позднего, и уже не столь сильные и громкие: посмотрите, какая нескладница в большой половине этой пьесы («Раскаяние»), как хорошие стихи мешаются в ней с плохими до бессмыслины. <...>

И посмотрите — как торжественно окончание этой пьесы; оно может служить образцом того, что называется в эстетике «высоким»:

«Но пред лицом кавказских гор
Я рву нечистые одежды!
Подобный гордостью горам,
Заметным в безднах и лазури,
Я воспарю, как фимиам,
И передам моим струнам
И рев, и вой минувшей бури!..»

Полежаев никогда бы не был одним из тех поэтов, которых главное достоинство — пластическая художественность и виртуозность форм; которых значение бывает так велико в сфере собственно искусства, и так не велико в сфере общей,

объемлющей собою не одно искусство, но и всю область духа; в котором такая бездна поэзии и так мало современных вопросов, так мало общих интересов... Талант Полежаева мог бы сделаться бессмертным, если бы воспитался на плодородной почве исторического мирозерцания. В его поэзии мало содержания, но из нее же видно, что она, по своему духу, должна была бы развиться преимущественно в поэзию содержания. Отселе эта крепость и мощь стиха, сжатость и резкость выражения. Но к этому недостает отделки, точности в словах и выражениях; причину этого было сколько то, что он небрежно занимался поэзией и никогда не отделявал окончательно своих стихотворений, заменяя неточные выражения определенными, слабые стихи — сильными, растянутые места — сжатыми; столько и то, что, оставшись при одном непосредственном чувстве, он не развил и не возвысил его, наукою и размышлением, до *жуса*. Другой важный недостаток его поэзии, тесно связанный с первым, состоит в неумении овладеть собственной мыслью и выразить ее полно и целостно, не примешивая к ней ничего постороннего и лишнего. Причина этого опять в неразвитости и происходящей из нее неясности и неопределенности созерцания. Представляем здесь, в поучительный для молодых поэтов пример подобной невыдержанности, две прекрасные, но испорченные пьесы Полежаева, в совершенно различных родах. Первая называется «Море»:

«Я видел море — я измерил
Очами жадными его:
Я силы духа моего
Перед лицом его поверил.
О море, море! — я мечтал
В раздумьи грустном и глубоком, —
Кто первый мыслил и стоял
На берегу твоём высоком?
Кто, неразгаданный в веках,
Заметил первый блеск лазури,
Войну громов и ярость бури
В твоих младенческих волнах?
Куда исчезли друг за другом
Твоих владельцев племена,
О коих весть нам предана
Одним злопамятным досугом?»

.

Превосходно! Стихи, достойные величия моря! Но то ли далее? —

«Всегда ли, море, ты почило
В скалах, висящих над тобой?
Или неведомая сила,
Враждуя с мирной тишиной,
Не раз твой образ изменила?

Что ты? откуда? из чего?
Игра случайная природы
Или орудие свободы,
Воззвавшей всё из ничего?
Надолго ль влажная порфира
Твоей бесстрастной красоты
Осуждена блистать для мира
Из недр бездонной пустоты!»

Сбивчиво, темно, неопределенно, хотя и заметно, что у поэта шевелилась на душе мысль! Далее опять лучше:

«Вот тайный плод воображенья
Души, волнуемой тоской,
За миг невольный восхищенья
Перед пучиною морской!..
Я вопрошал ее... Но море,
Под знойным солнечным лучом,
Сребрясь в узорчатом уборе,
Меж тем лелеялось кругом
В своем покое роковом.
Через рассыпанные волны
Катились груды новых волн,
И между них, отваги полный,
Нырлял пред бурей утлый челн.
Счастливцев, знаешь ли ты цену
Смешного счастья твоего?
Смотри на челн — уж нет его,
В отваге он нашел измену!..»

Превосходные стихи, кроме двух последних, которые всё портят; но целого не видно, и после начала пьесы как-то не того ожидалось... Но, сообразно с серединою, окончание прекрасно:

«В другое время, на берегах
Балтийских вод, в моей отчизне,
Красуясь цветом юной жизни,
Стоял я некогда в мечтах;
Но те мечты мне сладки были:
Они приветно сквозь туман,
Как за волной волну, манили
Меня в житейский океан.
И я поплыл... О море, море!
Когда увижу берег твой?
Или, как челн залетный, вскоре
Сокроюсь в бездне гробовой?»

Вторая пьеса называется «Баю-баюшки-баю». <...>

Какая грубая смесь прекрасного с низким и безобразным, грациозного с безвкусным! Окончание пьесы, в котором заключена вся мысль ее, стоило, чтоб для него выписать всю пьесу. Истинное эстетическое чувство и истинный критический такт состоят не в том, чтоб, заметив несовершенство или дурные

места в произведении, отбросить его от себя с презрением, но чтоб не пропустить немного хорошего и во многом дурном оценить его и насладиться им.

Впрочем, с лиры Полежаева сорвалось несколько произведений безукоризненно прекрасных. Такова его дивная «Песнь пленного ирокезца» — этот высокий образец благородной силы в чувстве и выражении. <...>

Такова его прекрасная по мысли, хотя и не безусловно непогрешительная по выражению, пьеса «Божий суд». <...>

Таков его перевод пьесы Байрона «Валтасар», который некогда был неправо присвоен себе одним стихотворцем и напечатан в «Московском телеграфе», что и произвело большие споры между этим журналом и «Галатеею», где спорная пьеса была получена из настоящего источника. <...>

Есть у Полежаева несколько пьес в народном тоне; тон их не везде выдержан; но они вообще показывают в нашем поэте большую способность к произведениям этого рода. Таковы: «У меня ль молодца», «Окно», «Долго ль будет вам без умолку идти», «Там на небе высоко» и «Узник». Последняя особенно не выдержана и, несмотря на то, особенно прекрасна; вот лучшие стихи из нее:

«Ох, ты жизнь моя, жизнь молодецкая!
От меня ли, жизнь, убегаешь ты,
Как бежит волна москворецкая
От широких стен каменной Москвы!

Кто видал, когда на лихом коне
Проносился я степью знойною,
Как сдружился я, при седой луне,
С смертью раннею, беспокойною?

Как таинственно заговаривал
Пулю верную и метелицу
И приласкивал и умаливал
Ненаглядную красну девицу.
Штофы, бархат, ткани цветные
Саблей острой сй отмеривал
И заморские вина светлые
В чаше недругов после пенивал.
Знали все меня — знал и стар и млад,
И широкий дол, и дремучий лес;
А теперь на мне кандалы гремят,
Вместо песен я слышу звук желез».

Как доказательство, что в натуре Полежаева лежало много человеческих элементов, выпишем его стихотворение на погребение девушки. <...>

Полежаев свободно владел и языком и стихом: изысканность и неточность в выражениях происходили у него от небрежности в труде и недостатка развития. Он часто как будто

играл стихом, выбирая трудные по короткости стихов размеры, где одна рифма могла бы стать непреодолимым препятствием. Можно ли выказать больше одушевления, чувства и в таких прекрасных стихах, как в пьесе «Песнь погибающего пловца», писанной двухстопными хореем с рифмами. <...>

«Валтасар» может служить доказательством необыкновенной способности Полежаева переводить стихами. Только ему надо было переводить что-нибудь гармонизировавшее с его духом, и преимущественно лирические произведения, по причине субъективной настроенности его натуры. Но неразвитость его была причиной неудачного выбора пьес для перевода. Полежаев с жадностью переводил водяные «медитации» Ламартина, которые всего вернее можно назвать «риторическими разглагольствованиями». Он перевел их с полдюжину, и притом самых длинных. Переводы его прекрасны и если чрезвычайно скучны, то это уж вина Ламартина, а не Полежаева.

Мы выше сказали, что натура Полежаева была чисто субъективная. Поэтому настоящим его призванием была лирическая поэзия, и все попытки его на поэмы были весьма неудачны. Поэма его «Кориолан» отличается риторическим характером; звучных стихов в ней много, но поэтических весьма мало. Этому причиной и неразвитость его: он не понимал ни духа римского народа, ни исторического значения избранного им героя. И потому содержание его «Кориолана» — общие риторические места. То же можно сказать, не боясь ошибиться, и о другой его поэме — «Видение Брута». Даже и лирические его произведения, отличающиеся длиннотою, относятся к таким же неудачным попыткам, как, например, пьеса «Герменчугское кладбище». Впрочем, длинные лирические произведения и у какого угодно поэта редко бывают хорошими произведениями.

Полежаев много писал в сатирическом роде, — и это самые неудачные, самые жалкие его попытки. Таковы: «Иман-Козел», «День в Москве», «Кредиторы», «Чудак», «Автор и читатель» и разные мелочи. Все они отзываются дурным тоном харчевен и простонародных рестораций и могут восхищать своим остроумием разве ту почтенную публику, которая с господскими шубами на руках присутствует в коридорах театров и прихожих домов. Это происходило не от недостатка у поэта в природном остроумии, а от того круга общества, в котором он погубил свой талант, свое счастье и свою жизнь. Следующая пьеска показывает, что он не чужд был юмористической веселости, но что ему доставало лишь тонкого эстетического такта приличия:

«Я был в горах —
 Какая радость!
 Я был в Тарках —
 Какая гадость!
 Скажу не в смех:
 Аул Шамхала
 Похож не мало
 На русский хлев.
 Большой и длинный,
 Обмазан глиной,
 Нечист внутри,
 Нечист снаружи;
 Мечети с три,
 Ручьи да лужи,
 Кладбище, ров
 Да рыбный лов,
 Духан, пять лавок
 И наконец
 Всему вдобавок
 Вверху дворец
 Превантажный
 И двухэтажный,
 Где князь Шамхал
 Сидит и судит
 Всех наповал.
 В большой папахе,
 В цветной рубаше,
 Румян и дюж,
 Счастливый муж
 По царству ходит
 И юных дев
 И в стыд и гнев
 Нередко вводит».

Нельзя не пожелать, чтоб люди, имеющие право на собственность сочинений Полежаева и так дурно издающие их, — издали бы их опрятно, на хорошей бумаге, без искажения стихов, без грамматических ошибок, без опечаток, а главное — с разбором и с толком, исключив нелепые сатирические пьесы, о которых мы говорили, и плоские эпиграммы («Картина», «Напрасное подозрение»), надутые и пустозвонные торжественные оды («В память благотворений», «Гений») и все слабые из мелких лирических пьес. Без этого хлама книжка выйдет небольшая, зато прекрасная по содержанию и необходимая для каждого любителя отечественной литературы. Можно, если угодно, включить в нее и «Оскара Альфского» и все переводы Ламартина и Делавиня, для почитателей этих поэтов и для образца способности Полежаева к переводам; но в таком случае всех их должно соединить в одном отделе, в конце книги, не мешая с мелкими пьесами. Можно включить в нее и эпические опыты — «Кориолана» и «Видение Брута», как факт ложного развития сильного дарования, но опять с условием — чтоб они были помещены в особом отделе. Вот перечень мелких

пес, которые могут войти в дельное издание сочинений Полежаева: «Посвящение другу его А. П. Л-му»; «Морни и тень Кормала» (из «Оссиана»); «Валтасар»; «Море»; «Водопад»; «Живой мертвец»; «Ожесточенный»; «Провидение»; «Цепи», «Погребение»; «Вечерняя заря»; «Песнь пленного ирокезца»; «Песнь погибающего пловца»; «Любовь»; «Звезда»; «Песня» («Зачем задумчивых очей...»); «У меня ль молодца»; «Там, на небе высоко»; «Романс» («Пышно льется светлый Терек...»); «Черкесский романс»; «Ночь на Кубани»; «Черная коса»; «Мертвая голова»; «Гарем»; «Табак»; «Тарки»; «Цыганка»; «Раскаianie»; «Лунный свет» (из В. Гюго); «Ахалук»; «Призвание»; «Окно»; «Отрывок из послания к А. П. Л-му»; «Черные глаза»; «Божий суд»; «Негодование»; «Грешница»; «Грусть»; «Песня» («Долго ль будет вам без умолку идти...»); «Прощание»; «Узник»; «Баю-баюшки-баю». Сверх того, в одном московском журнале, чуть ли не в «Галатее» 1830 года, был напечатан замечательный по своему поэтическому достоинству отрывок из какого-то большого стихотворения Полежаева; мы не помним его названия, но помним стихи, которыми он начинается:

....«И я в тюрьме...
Передо мной едва горит
Фитиль в разбитом черепке,
С ружьем в ослабленной руке,
У двери дремлет часовой...

Вот все, что может и должно войти в порядочное издание стихотворений Полежаева.

Отличительную черту характера и особенности поэзии Полежаева составляет необыкновенная сила чувства, свидетельствующая о необыкновенной силе его натуры и духа, и необыкновенная сила сжатого выражения, свидетельствующая о необыкновенной силе его таланта. Правда, одна сила еще не все составляет: важны подвиги, в которых бы она проявилась; Раппо одарен чрезвычайною силою, но играть чугунными шарами, как мячиками, — еще не значит быть героем. Так, но ведь все же не Раппо ходит смотреть на людей и дивиться им, а толпы людей ходят смотреть на него и дивиться ему. И в сфере своих подвигов не выше ли он тех людей, которые почитают себя силачами и, кряхтя под тяжестью не по силам, надрываясь от натуги, думают удивлять людей силою!.. Мы не видим в Полежаеве великого поэта, которого творения должны перейти в потомство; мы беспристрастно высказали, что он погубил себя и свой талант избытком силы, не управляемой браздами разума; но в то же время мы хотели показать, что Полежаев и в падении замечательнее тысячи людей, которые никогда не спотыкались и не падали, выше многих поэтов, ко-

торые превознесены ослеплением толпы, и что его падение и поэзия глубоко поучительны: мы хотели показать, что источник всякой поэзии есть жизнь, что судьба всякого могучего таланта — быть представителем известного момента общественного развития и что, наконец, могут падать только сильные, замечательные таланты... При других условиях поэзия Полежаева могла бы развиться, расцвести пышным цветом и дать плод сторицею: возможность этого видна и в том, что им написано при ложном его направлении, при неестественном развитии. Мы не обинуясь скажем, что из всех поэтов, явившихся в первое время Пушкина, исключая гениального Грибоедова, который один образует в нашей литературе особую школу, — несравненно выше всех других и достойнее внимания и памяти — Полежаев и Веневитинов... К буйной и страдающей музе Полежаева можно применить эти стихи Пушкина:

«И мимо всех условий света
Стремится до утраты сил,
Как беззаконная комета
В кругу расчисленных светил...»

Комета — явление безобразное, если хотите, но ее страшная красота для каждого интереснее мгновенного блеска падающей звезды, случайно возникающей и без следа исчезающей на горизонте ночного неба...

Из молодого, разгульного кружка своих товарищей внезапно попал Полежаев в другой круг — гораздо более грубый, порочный и невежественный, в котором смотрели на поэта как на преступника и негодяя. Он не хотел и не мог подчиниться тому, чему легко подчинялись другие, а его заставляли подчиняться.

«Порабощенье,
Как зло за зло,
Всегда влекло
Ожесточенье»,

и Полежаев ожесточился против людей и судьбы. Сначала у него еще оставался какой-то гений, которого он не называет ни добрым, ни злым, но который обещал ему свое покровительство, а потом забыл его... Полежаев с доверчивостью ждал его помощи, и надежда на этого гения поддерживала его в постоянной борьбе с обстоятельствами. Утомляясь борьбою, он восклицал:

«Давно могучий ветер носит
Меня вдали от берегов;
Давно душа покоя просит
У благодетельных богов.

Казалось, теплые молитвы
Уже достигли к небесам,
И я, как жрец, на поле битвы
Курил мой светлый фимиам,
И благодетельное слово
В устах правдивого судьи,
Казалось, было уж готово
Изречь: воскресни и живи!
Я оживал; но ты, мой гений,
Исчез, забыл меня, и я
Теперь один в цепи творений
Пью грустно воздух бытия...
Темнеет ночь, гроза бушует,
Несется быстро мой челнок —
Душа кипит, душа тоскует,
И, мнится, снова торжествует
Над бедным плователем рок...»

Несмотря на эти минуты сомнения и тоски душевной, долго еще крепился бедный поэт и гордо сражался с гнетущей его судьбой:

«Увы, давно печален, равнодушен,
Он привыкал к лихой своей судьбе:
Неистовый, безжалостный к себе,
Презрел ее в отчаянной борьбе
И гордо был несчастию послушен».

Стремление к самостоятельной жизни развилось в нем еще больше среди несчастий и стеснений...



Н.П.ОГАРЁВ

ПРЕДИСЛОВИЕ <К СБОРНИКУ «РУССКАЯ ПОТАЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX СТОЛЕТИЯ». ЛОНДОН. 1861>

(Отрывок)

...*А*ступило время пополнить литературу процenzурованную литературой потаенной, представить современникам и сохранить для потомства ту общественную мысль, которая прокладывала себе дорогу, как гамлетовский подземный крот, и являлась негаданно то тут, то там, постоянно напоминая о своем присутствии и призывая к делу. В подземной литературе отыщется та живая струя, которая давала направление и всей белодневной, правительством терпимой литературе, так что только в их совокупности ясным следом начертится историческое движение русской мысли и русских стремлений.

<...> Незадолго до 14 декабря иной мир, мир русского *невежественного* барства, русского помещичества, выпустил в свет горячего юношу с сильным поэтическим талантом, который мог развиваться только под условием — забыть, отвергнуть среду, из которой он вышел; но с детства усвоенная привычка необузданности и рука Николая — дикого каменного гостя, настигшего дикого Дон Жуана, — не допустили могучий талант до отрицания этой среды в жизни, а следственно и в поэзии, и он —

«Не расцвел
И отцвел
В утре пасмурных дней».

спасаясь от утраты всякой надежды в уродливость буйства бесконечного, безобразного; исчез, не развившись, а все же оставив резкий, жгучий след; погиб с тем воплем отчаяния, с которым мог погибнуть только человек, чувствовавший, что 14 декабря всякая русская свобода рухнула навеки и что помимо необузданного самозабвения в вечной оргии, — которая доконала бы тщетно живое тело, чем скорей, тем лучше, — ничего не останется на свете. Полежаев заканчивает в поэзии первую неудавшуюся битву свободы с самодержавием; он юношей остался в живых после проигранного сражения, но неизлечимо ра-

нен и наскоро доживает свой век. Интерес сузился, общественный интерес переходит в личный; поэту уже не шепчет тайный голос, что «пора губить врага Украины»; для него дорога не Украина, а дорого личное страдание в безысходной тюрьме и чувство близкого конца или казни. Редко на ком обстоятельство жизни так ярко отразилось, как на личности и поэзии Полежаева. Уродливая поэма, за которую царственный Иуда-Меценат дал поэту лобзание и отдал его в солдаты, бросает полный свет на его существование и вместе указывает на раздвоенность нашего высшего сословия — на образованное меньшинство и дикое помещичество. Сашка вырос в среде дикого помещичества; он ненавидит его, но хранит все его привычки, ставящие его в уровень с задавленными им дворовым человеком; Сашку воспитывает дворовый человек, да он воспитывает и все дикое помещичество. От этого Сашка плачет перед отцом-барином, которого обманывает, и бьет девок по зубам. В нем есть удаль, но нет изящества; в нем есть жажда воли и ненависть к власти, но нет благородства, нет доблести. Он просто буян, как вообще дворовый человек и дикий помещик. Мы очень хорошо знаем эту среду необузданного помещичества, которое с дворней пьет и дворню бьет, чтоб не видеть ясно, как оно создало «Сашку»; в поэме остался один цинизм с недосугом обработать язык, лишенный изящной формы и изящных образов. Какое необъятное расстояние от эротических стихотворений Пушкина! Среда образованного, мыслящего меньшинства вырастила Пушкина, среда дикого помещичества вырастила Полежаева. После первой проигранной попытки свободы Пушкин и образованное меньшинство еще могли отдохнуть в чувстве изящного, в понятии художественности, Полежаеву негде было искать отдыха и оставалось выгореть в собственной необузданности. От народа обе стороны были далеки, несмотря на гражданское направление одной и на близость нравов другой с дворовым человеком; собственно народ, то есть крестьянство, так же далек от дворового человека, как и от помещика; дворовый человек представляет для него только помещичьего чиновника. Но образованное меньшинство могло на пути искать отдыха; в нем таилась надежда на сближение с народом, в нем вырабатывались и определялись общественные убеждения. У дикого помещичества нет исхода; оно не может себя вообразить иначе, как плачущим перед отцом-государем, оделившим его землей и рабами и бьющим по зубам остальной люд; оно обречено на гибель. Бедный поэт, несмотря на весь душевный жар, на неопределенное, но горячее сочувствие гражданской свободе, не мог оторваться от привычек необузданности, его взлелеявшей, и погиб — равно под гнетом собственной, личной традиции и под гнетом царской власти, покаравшей его за то, что он мыслию смел оторваться

от этой традиции. Мы не знаем больше трагической жизни и больше рокового конца. Все соединилось против юноши, страстно полюбившего волю и рифму, — происхождение и царь, воспитание и Николай Павлович; наконец, крысы обкусали ноги его труп, заброшенного в казарменных подвалах. И поневоле у живого человека вырывается проклятье и этой недостойной среде и этой недостойной власти!

Влияние Полежаева на литературу и общество, несмотря на силу его отчаяния, несмотря на жесткую и мрачную, но истинную и искреннюю поэзию его «Арестанта», ходившего в рукописи по рукам, — было не сильно, как последний звук замирающего выстрела. Общество шло к отдыху и раздумью. Пушкин дорастал до гениальной художественности, но перед концом поворачивал к глухому, мистическому полуотчаянию, полупроцвету — так звучат его подражания Данту. «Не дай мне бог сойти с ума», «Однажды странствуя». На этом звуке он замер. Новых талантов не являлось. Домогались до чего-то лжеталанты — вроде Кукольника; их поверхностный след скоро изгладился из памяти, как все не истинное. Но между тем, несмотря на аристократические порывы у Пушкина, вроде «Родословной», «Мещанина», «Эпиграммы на Северина», — целость его гражданского направления и влияние декабристов достигли одного результата: уважение к барству и помещичеству было подточено в общественном сознании; меньшинство дворянства не могло быть помещиком откровенно и не могло не быть помещиком безнаказанно. Внутренняя мысль и совесть мешали оставаться в этих отношениях к народу, Николай не позволял из них выйти, считая самую мысль за революцию. Нельзя было вырваться из собственного преступного положения, нельзя было последовать внутреннему влечению и сблизиться с народом, еще противнее было бы примкнуть к правительству. Меньшинство почувствовало себя лишним человеком. Общественной деятельности для него не было; ему еще позволялось углубляться в собственную тоску и пустоту жизни, а «родину любить только странною любовью, необъяснимою для рассудка», любовью привычки к знакомому пейзажу. Напряженная трагичность этого положения требовала сильного голоса в литературе; ее все чувствовали, но она ускользала от внимания и наблюдения, заглушаемая внешней суетой жизни. Ее выразил Лермонтов...



А.А.ГРИГОРЬЕВ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О 1830-Х ГОДАХ

I

*В*от она, эпоха сереньких, тоненьких книжек «Телеграфа» и «Телескопа», с жадностью читаемых, дотла дочитываемых молодежью тридцатых годов, окружавшей мое детство,— эпоха, когда журчали еще, носясь в воздухе, стихи Пушкина и ароматом наполняли воздух повсюду, даже в густых садах диковинно-типического Замоскворечья,— эпоха бессознательных и безразличных восторгов, в которую наравне с этими вечными песнями восхищались добрые люди и «Аммалат-беком». Эпоха, над которой нависла тяжелой тучей другая, ей предшествовавшая, в которой отзывается какими-то зловеще-мрачными веяниями тогдашнее время в трагической участи Полежаева. Несмотря на бессознательность и безразличность восторгов, на какое-то беззаветное упоение поэзией, на какую-то дюжинную веру в литературу, в воздухе осталось что-то мрачное и тревожное. Души настроены этим мрачным, тревожным и зловещим, и стихи Полежаева, игра Мочалова, варламовские звуки дают отзыв этому настрою...
<...>

...А между тем университет, к которому принадлежал мой юный наставник, был университетом конца двадцатых и начала тридцатых годов, и притом университет Московский — университет, весь полный трагических веяний недавней катастрофы и страшно отзывчивый на все тревожное и головокружительное, что носилось в воздухе под общими именами шеллингизма в мысли и романтизма в литературе, университет погибавшего Полежаева и других.

Я бы мог по источникам той эпохи, довольно близко мне знакомым, наговорить много об этом тревожном университетском поколении, но я поставил себе задачей быть историком только тех веяний, которые сам я перечувствовал, передать цвет и запах их, этих веяний, так, как я сам лично припоминаю, и в том порядке, в каком они на меня действовали.

Ясное дело, что ни с Полежаевым, ни с кругом подобных этой вулканической личности людей мой Сергей Иванович не был и не мог быть знаком. <...> Буйные люди, стало быть, не ходили к моему наставнику, а ходили все люди смиренные: только некоторые из них в пьяном образе доходили до сношений более или менее близких с городской полицией, да и такие были, впрочем, у отца на дурном замечании и более или менее скоро выпроваживались. <...>

Но каким образом и этот кружок посредственностей задевали жизненные вихри, каким образом веяния эпохи не только что касались их, но нередко и уносили за собою, конечно, только умственно. Ведь дело в том, что если оживлялась беседа, то не о выгодных местах и будущих карьерах говорилось... Говорилось, и говорилось с азартом, о самоучке Полевом и его «Телеграфе» с романтическими стремлениями; каждая новая строка Пушкина жадно ловилась в бесчисленных альманахах той наивной эпохи; с какой-то лихорадочностью произносилось имя «Лорд Байрон»... из уст в уста переходили дикие и порывистые стихотворения Полежаева... Когда произносилось это имя и — очень редко, конечно — несколько других, еще более отверженных имен, какой-то ужас овладевал кругом молодых людей, и вместе что-то страшно соблазняющее, неодолимо влекущее было в этом ужасе, а если в торжественные дни именин, рождений и иных разрешений «вина и елеса» компания доходила до некоторого искусственно приподнятого настроения... то неопределенное чувство суеверного и вместе обаятельного страха сменялось какою-то отчаянною, наивною симпатиею — и к тем речам, которых

«Значенье
Темно иль ничтожно,
Но им без волненья
Внимать невозможно»,

и к тем людям, которые или «жгли жизнь» беззаветно, или дерзостно ставили ее на карту... Слышались какие-то странные, какие-то как будто и не свои речи из уст этих благонаправных молодых людей...

Каким образом даже в трезвые минуты передавали они друг другу рассказы об их, страшных им товарищах, отдававших голову и сердце до нравственного запоя шеллингизму или всю жизнь свою беснованию страстей! Ведь все они, благонаправные молодые люди, знали очень хорошо, что отдача себя в полное обладание силе такого мышления ни к чему хорошему повести не может. Некоторые пытались даже несколько юмористически отнестись к философскому или жизненному

беснованию — что, дескать, «ум за разум у людей заходит» — и все-таки поддавались лихорадочно обаянию.

II

...В самой эпохе, присвоившей себе тогда название «романтически народной», были уже элементы разложения. <...>

Эпоха не была народною, но зато действительно была вполне «романтической», то есть эпохою чаяний, тревожных порываний к чему-то, брожения сил и даже бесцельной траты их... Три высоких таланта были жертвами этого брожения и этой бесцельной траты сил: Марлинский, Полежаев, Мочалов... Это было, может быть, то в нашем развитии, что у немцев так называемая *Sturm und Drang Periode*, период «Разбойников» Шиллера, драм Клингера и безобразной жизни юного Гете с другом его, веймарским герцогом, — только, по нашему более живому характеру, несравненно сильнее и нелепее. У немцев иное дело мысль, а иное дело жизнь: Кант и Гегель были самыми спокойными гелертерами, даже в некотором отношении филистерами; мужество и страсть Гете не похожи были на его юность, и из всего кружка этих буйных юношей только один Мефистофель — Мерк кончил самоубийством да Шиллер рано умер «с горя, что он немец», как выражался один оригинально умный российский циник. Но у нас романтизм и тревога отражались в целой жизни лиц и даже поколений, ложившихся в могилу такими же, какими были в колыбели. Мы свято верили в то, что для наших старших на пути развития братьев было только брожением умственным, и прямо, нисколько не колеблясь, ни перед чем не останавливаясь, переводили в жизнь идеи, часто даже плохо их переваривши...

Колоссальные замыслы, тревожные сны и в действительности падение и грязь цинизма, как Полежаев, или в совершенно пустые пространства, как Марлинский, донкихотство, принимавшее не раз восточную и притом татарскую физиономию, истощения жизненных сил не в борьбе, а в праздном дилетантизме, в праздной игре жизнью — вот что отличало в эту эпоху натуры действительно могучие. Но болезнь напряженности нравственной распространялась как зараза, и не одни могучие натуры ей подвергались, а все натуры, сколько-нибудь впечатлительные, хотя и слабые. На их долю выпадала ходульность и потом падение в пошлость жизни, в пошлость созерцания жизни... <...>

В романтизме этой эпохи именно нужно различить два направления. Одно заявляло себя могучими силами, необузданными стремлениями, колоссальными замыслами и давало под-

час свидетельства очевидные и несомненные присутствия в себе таких свойств. Литературно выразилось оно в Полежаеве и Марлинском. Другое постоянно напрягалось и падало в смешное или пошлое, как Полевой и Кукольник. Первое направление само себя разрушало, само себя сжигало, но сжигало как феникс, возродилось ярким, хотя быстро промелькнувшим явлением, явлением Лермонтова, ибо все те элементы, которые тревожно и часто безобразно бушевали и бродили в гениальных проблесках полежаевского таланта, в «Аммалат-беке», «Красном покрывале», даже «Мулла-Нуре» и «Вадимове» Марлинского, получили целость и гармонию в немногих оставшихся нам созданиях великого, рано похищенного у нас роком поэта, и нет поводов думать, чтобы элементы эти закончили совсем свое дело, чтобы они вновь не возродились в ином великом поэте.



ПРИМЕЧАНИЯ

Издание достаточно полно представляет творчество А. И. Полежаева. Тексты даются в основном по книге: А. И. Полежаев. Стихотворения и поэмы. «Библиотека поэта». Большая серия. Издание третье. Л., Советский писатель, 1987; частично — по книге: А. И. Полежаев. Стихотворения и поэмы. «Библиотека поэта». Большая серия. Второе издание. Л., Советский писатель, 1957; по сборникам: А. И. Полежаев. Сочинения. М., Художественная литература, 1988 и А. И. Полежаев. Стихотворения. Поэмы, Московский рабочий, 1981.

В книгу вошли разделы: «Стихотворения», «Поэмы и повести в стихах», «Переводы», «Приложение», «Воспоминания современников и критика». Авторские даты произведений приводятся без сокращений, то есть сохраняются все составные части: год, месяц, число, место написания. Даты в угловых скобках обозначают либо время прижизненной публикации произведения, либо год, не позднее которого оно написано, установленный по другим источникам. Некоторые даты сопровождаются вопросительным знаком, поскольку они предположительны. Произведения без дат включены в рубрику «Стихотворения неизвестных лет».

Отдельные слова и строки, зашифрованные Полежаевым и восстановленные текстологами, заключены в угловые скобки. Точками обозначены утраченные слова и строки, а также неудобные для печати. Сноски по тексту принадлежат поэту.

Произведения расположены в хронологическом порядке.

В примечаниях вначале дается указание на первую публикацию, затем идет комментарий.

В издании представлены два письма Полежаева. Другие письма поэта остались неизвестными.

СТИХОТВОРЕНИЯ

Непостоянство (с. 29). Впервые — журнал «Вестник Европы», 1825, № 23—24.

Воспоминание (с. 30). Впервые — «Вестник Европы», 1826, № 1.

Любовь (с. 31). Впервые — «Вестник Европы», 1826, № 1.

Новая беда (с. 31). Впервые — журнал «Русская старина», 1871, № 10. Стихотворение — отклик поэта на переполох в среде духовенства, вызванный проектом указа Александра I, запрещающего лицам духовного звания и членам их семей носить светские одежды. Из-за смерти царя проект так и не был утвержден. *Блонды* — род кружев. *Фотий* (1792—1838) — архимандрит, религиозный фанатик и интриган. *Авраамов век* — времена библейского патриарха Авраама, мифического родоначальника еврейского народа. *Ревекка* — внучка Авраама, жена Исаака. *Назореи* — последователи Христа, который проповедовал в Назарете, городе в Галилее (Палестине). *Покров пустынный* — грубая одежда монахов, живущих в отдаленных местах. *Флавий Иосиф* — римский историк I века н. э., автор сочинений «Иудейская война», «Иудейские древности», содержащих сведения по истории христианства. *Шаликов* Петр Иванович (1767—1852) — литератор, издатель газет и журналов, в частности «Дамского журнала», информировавшего о парижских модах. Из-за слащаво-сентиментальной манеры своих писаний стал излюбленной мишенью сатир, эпиграмм и пародий современников.

Гений (с. 33). Впервые — «Вестник Европы», 1826, № 12. Стихотворение написано поэтом по заказу университетского начальства для торжественного акта, ежегодно отмечавшегося 3 июля в связи с окончанием учебного года. Первоначальный текст был готов в сентябре 1825 г. А. Ф. Мерзляков сделал свою правку, сняв опасные намеки, но сохранив общий свободолюбивый дух произведения. Однако перед торжественным актом по воле того же начальства в текст были внесены значительные изменения в официальном духе, дописаны строфы, восхваляющие Николая I. Изуродованный текст на собрании зачитывал не сам Полежаев, а другой студент. Это было 3 июля 1826 г. В конце июля этот текст пошел в «Вестник Европы», а затем в первый сборник стихотворений поэта 1832 г.

В настоящем издании текст стихотворения очищен от искажений.

Ночь (с. 35). Впервые — «Вестник Европы», 1826, № 5.

Вечерняя заря (с. 36). Впервые — журнал «Галатей», 1829, № 3.

Четыре нации (с. 38). Впервые — журнал «Библиографические записки», 1859, № 20, без последней части о России, полностью и с восстановлением зашифрованных и пропущенных слов — академическое издание стихотворений Полежаева, М.-Л., 1933. Одно из самых популярных произведений поэта, ходившее при его жизни во множестве списков. Бытовало даже мнение, что это пушкинские стихи.

Валтасар (с. 40). Впервые — журнал «Галатей», 1829, № 6. Первоначально считалось переводом из Байрона, но в действительности это оригиналь-

ное стихотворение. Библейский сюжет Полежаев использовал в связи с предстоявшей коронацией Николая I.

Ренегат (с. 41). Впервые — «Галатея», 1829, № 49. *Кальян* — восточный курительный прибор. *Содом* — один из городов древней Палестины (второй — Гоморра), разрушенный, согласно библейскому мифу, за грехи жителей землетрясением и огненным дождем. В переносном смысле — распущенность, беспорядок.

Цепи (с. 44). Впервые — альманах «Северное сияние», М., 1831, под названием «Глас несчастливца».

Рок (с. 45). Впервые — Стихотворения А. Полежаева, М., 1832, без последних четырех строк. *Али Янинский* (1741—1822) — наместник Албании, находившейся под властью турецкого султана, добился почти полной независимости от Турции. *Фирман* — личный указ, предписание султана. *Крез* — полугендарный последний лидийский царь (560—546 до н. э.), славившийся несметными богатствами. *Кир* — основатель древнего Персидского царства, завоеватель Мидии, Лидии и Вавилона. В 546 г. до н. э. захватил Лидию, пленил Креза, который сперва был приговорен к сожжению на костре, затем помилован Киrom. Сам же Кир II был достигнут смертью в постели. *Народный гладиатор* — Спартак.

«Притеснил мою свободу...» (с. 46). Впервые — журнал «Звезда», 1930, № 2. Написано после столкновения с фельдфебелем, за что последовало длительное заключение поэта. *Штабс-солдат* — старший солдат.

<Узник> (с. 46). При жизни поэта было опубликовано в «Галатее» четыре фрагмента произведения. Наиболее полная редакция стихотворения дана в академическом издании 1933 г. *Лозовский* А. П. (1809 — после 1860) — друг поэта. Был хранителем рукописей Полежаева, его издателем. *Абaddonна* — образ падшего ангела, печального духа в поэме «Мессиада» немецкого поэта Ф. Г. Клопштока (1724—1803). *Уриил* — имя серафима в той же поэме. 1. *Чайльд-Гарольдова тоска* — безысходная тоска байроновского героя из поэмы «Паломничество Чайльд-Гарольда». 2. *Странноприимный дом* — заведение для содержания инвалидов и бедняков, основанное в Москве в 1803 г. (ныне Институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовского). *Броня сермяжная* — здесь: солдатская шинель. *Триста шестьдесят пять дней* — сказано округленно: поэт пробыл в тюрьме Спасских казарм с мая по декабрь 1828 г. *В кругу Плутонových людей* — в кругу обитателей ада; здесь: среди солдат-штрафников. 4. *Ленотр* Андре (1613—1700) — французский садовый архитектор, планировавший Версальский и другие парижские парки. *Тирс* (греч. миф.) — жезл бога вина Вакха и его спутников, обвитый плющом и виноградными лозами. *Эван, эво!* — ритуальные восклицания древних греков на праздниках в честь Вакха. *Молах* — финикийское божество, которому приносились человеческие жертвы. *Второй Н <ерон>*, *Ис <кариот>*, *У <пырь>* *б <ездущиный>* и *Н <емарод>* — так называет поэт Николая I; *Нерон* — см. примеч. к стихотворению «Гимн Нерона» (с. 360). *И <скарит>* — Иуда Искарיותский, прозванный так по месту своего рождения — местечку Искарיות. *Н <емарод>* — библейский персонаж, основатель Ва-

вилонского царства, ловкий охотник-зверолов, первый поработоритель людей. *И, лобызая, удушил* — намек на лицемерный поцелуй царя при отправке Полежаева в солдаты. 6. *Система звезд, прыжок сверчка*... — здесь обнаруживается знакомство Полежаева с атеистическими философскими воззрениями, в частности Поля Гольбаха. *О Струйский* — обращение к дяде Александру Николаевичу, который порвал отношения с племянником из-за того, что в поэме «Сашка» был нарисован его иронический портрет.

Песнь пленного ирокезца (с. 56). Впервые — «Галатея», 1829, № 10. *Ирокезцы* (ирокезы) — индейские племена северо-восточной части Северной Америки.

Песнь погибающего пловца (с. 57). Впервые — Стихотворения А. Полежаева. М., 1832.

О жесто чен н ы й (с. 60). Впервые — журнал «Телескоп», 1832, № 11, под заголовком «Отверженный». *Авель* — по Библии сын Адама и Евы, убитый братом Каином.

О с у ж д е н н ы й (с. 61). Впервые — Стихотворения А. Полежаева. М., 1857. Эпиграф — из «Братьев-разбойников» Пушкина. Пояснения к авторскому «замечанию». *Дантон* Жорж-Жак (1759—1794) — видный деятель Французской буржуазной революции конца XVIII в. *Грекур* Жан-Батист (1683—1743) — французский поэт, автор антиклерикальных сатирических стихов. *Анахарис Клоц* — Клоутс Жан-Батист (1755—1794) — философ-просветитель, атеист; при якобинском правительстве пропагандировал враждебную ему программу внешней политики, за что был казнен. *Ни розы светлого Пафоса* — Пафос, город на острове Кипр, место рождения богини любви и красоты Афродиты.

Живой мертвец (с. 63). Впервые — «Галатея», 1830, № 4.

П р о в и д е н и е (с. 64). Впервые — «Телескоп», 1831, № 12. *Эреб* — олицетворение вечного мрака в греческой мифологии. *Люцифер* — одно из имен сатаны.

Кремлевский сад (с. 66). Впервые — «Галатея», 1829, № 22.

Т а б а к (с. 67). Впервые — «Галатея», 1829, № 26.

Н а с м е р т ь Т е м и р ы (с. 68). Впервые — «Галатея», 1829, № 35.

Н а д е н ь к е (с. 68). Впервые — литературный альманах «Эхо». М., 1830.

П о г р е б е н и е (с. 70). Впервые — Стихотворения А. Полежаева. М., 1832.

З в е з д а (с. 71). Впервые — издание 1832 г.

Б у к е т (с. 71). Впервые — издание 1832 г.

К о л ь ц о (с. 72). Впервые — издание 1832 г.

К д р у з ь я м (с. 74). Впервые — издание 1832 г. «*Я пережил мои желанья*» — цитата из элегии Пушкина, начинающейся этой строкой (у Пушкина вместо «мои» — «свои»). «*Минувших дней очарованья*» — из «Песни» Жуковского, так начинающейся. «*Люблю я бешеную младость*» и т. д. — из I главы «Евгения Онегина» (строфа XXX).

К а з а к (с. 75). Впервые — журнал «Нива», 1915, № 8. *Черные горы* — цепь гор в Дагестане, покрытая лесами. *Грам абазинский* — скаковая лошадь конного

завода абазинца Трама. *Базалай* — оружейный мастер. *Атага* — чеченское селение, известное выделкой шашек. *Труд Царяграда* — ружья и пистолеты турецкой работы, которыми были вооружены горцы. *Никола святой* — икона христианского святого Николая-чудотворца, якобы охраняющего от бед.

Ночь на Кубани (с. 76). Впервые — издание 1832 г. *Новый Геллеспонт* — по-видимому, Керченский пролив, названный так по аналогии с Геллеспонтом (древнегреческое название Дарданелльского пролива), который, подобно Керченскому, соединяет два моря: малое Мраморное и большое Эгейское. *Я буду — он, он будет* — я и т. д. — стихи относятся к А. П. Лозовскому.

Водопад (с. 80). Впервые — издание 1832 г.

Черная коса (с. 80). Впервые — издание 1832 г. Написано вскоре после штурма Чир-Юрта. Есть свидетельство, что, когда взяли селение, Полежаев среди других трупов увидел убитую девушку-мусульманку удивительной красоты. У нее была перерублена коса. Поэт взял эту косу и спрятал на груди, под мундиром. Песня на слова этого стихотворения долго бытовала среди солдат на Кавказе (автор музыки неизвестен).

Песни

1. «Зачем задумчивых очей...» (с. 81). Впервые — альманах «Венера, или Собрание стихотворений разных авторов», ч. 1, М., 1831. Положено на музыку И. Рупини и П. Сокальским.

2. «У меня ль, молодца...» (с. 82). Впервые — издание 1832 г. Положено на музыку П. Сокальским и В. Соколовым.

3. «Там, на небе высоко...» (с. 83). Впервые — издание 1832 г.

Море (с. 84). Впервые — «Телескоп», 1832, № 4.

Ожидание (с. 85). Впервые — издание 1832 г.

Черкесский романс (с. 86). Впервые — издание 1832 г.

Романсы

1. «Пышно льется светлый Терек...» (с. 88).

2. «Утро жизнью благодатной...» (с. 89).

3. «Одел станицу мрак глубокой...» (с. 89). Впервые — все три романса — издание 1832 г.

Мертвая голова (с. 90). Впервые — издание 1832 г.

Другу моему А. П. Лозовскому (с. 91). Впервые — издание 1832 г.

Федору Алексеевичу Кони (с. 92). Впервые — «Литературное наследство» № 60, т. I, М., 1956. *Кони* Ф. А. (1809—1879) — поэт, водевилист, переводчик, театральный критик, журналист. *Гурии* — по учению ислама, прекрасные девы, услаждающие правоверных в раю. *Гаафиц* — Хафиз (ок. 1325—ок. 1390) — великий персидский поэт.

Акташ-аух (с. 93). Впервые — издание 1832 г. *Акташ-аух* — селение в Дагестане, было захвачено отрядом генерала Вельяминова в январе 1832 г. *Вождь богатей* — А. А. Вельяминов.

Кладбище Герменчугское (с. 93). Впервые — Кальян. Стихотворения А. Полежаева. М., 1833. *Герменчуг* — крупное селение Чечни,

в штурме которого в августе 1832 г. участвовал Полежаев. *Чугунное ядро, убийца Карла и Моро* — ядром был убит во время войны с Норвегией в 1718 г. шведский король Карл XII; так же погиб и французский генерал Моро, перешедший на русскую службу, смертельно раненный ядром в битве под Дрезденом в 1813 г. *Галл, осман, поклонник Али, Кавказ, сармат* — условное название французов, турок, кавказских горцев и поляков. *Перун* — здесь: огневой удар. *Карабах, куртин, персиянин, турок* — речь идет о дружинах из местного населения Кавказа, привлеченных на службу русскому правительству. *Пор* — индийский царь, разбитый и взятый в плен в 326 г. до н. э. Александром Македонским и назначенный им правителем индийских земель.

Песнь горского ополчения (с. 100). Впервые — сб. «Кальян».

А х а л у к (с. 101). Впервые — сб. «Кальян». *Ахалук* (архалук) — мужская верхняя одежда в виде короткого кафтана. *Демикотонный* — из бумажной ткани демикотона. *Атагинка* — жительница чеченского села Атага. *Могол* — правитель индийской династии Бабуридов (XVI — первая половина XIX в.), называемых Великими Моголами. *База* — женское чеченское имя.

Р а с к а з (с. 102). Впервые — сб. «Кальян».

Цыганка (с. 103). Впервые — сб. «Кальян». *Африканские цветы. Фараонка* — в прошлом бытовало ошибочное представление, будто предками цыган были египтяне.

П р и з в а н и е (с. 104). Впервые — сб. «Кальян». Неоднократно положено на музыку: А. Виллуаном, Ц. Кюи, В. Соколовым.

С о н д е в у ш к и (с. 104). Впервые — сб. «Кальян».

С т е п ь (с. 106). Впервые — сб. «Кальян».

О к н о (с. 107). Впервые — сб. «Кальян».

Д е м о н в д о х н о в е н ь я (с. 108). Впервые — сб. «Кальян». *Ариман. Оризмад* (Ормузд) — согласно древнеперсидским представлениям мир делится на два царства: светлым царством добра правит Ормузд, царством смерти, тьмы и зла — Ариман. *Аполлонов жрец* — поэт.

И в а н В е л и к и й (с. 111). Впервые — сб. «Кальян». *Иван Великий* — главная колокольная Московского Кремля, считалась символом величия Москвы и России. *Бриарей* — мифологический сторукий великан, отважившийся восстать против Юпитера. *Рениильд, Шлиппенбах* — шведские полководцы, плененные в Полтавской битве в 1709 г. *Век Семирамиды* — так лгливо называли эпоху царствования Екатерины II (1729—1796), которую Вольтер нарек «Северной Семирамидой» по имени ассирийской легендарной царицы Семирамиды, отличавшейся мудростью и красотой. *Герои Альпов и Тауриды* — А. В. Суворов (1730—1800), великий полководец, под командованием которого русская армия в 1799 г., разгромив войска Наполеона в Италии, совершила героический переход через Альпы в Швейцарию, и Г. А. Потемкин (1739—1791) — князь и командующий военными действиями в русско-турецких войнах 1768—1774 и 1787—1791 годов в Крыму. *Оссиан* — легендарный кельтский поэт III века. *Супруг твой, Жозефина* — то есть Наполеон I, женатый первым браком на Жозефине Богарнэ. *Новый сармат* — намек на польскую интер-

венцию в Россию в начале XVII века. *И Святослава меч кровавый* — имеется в виду Святослав Игоревич, великий князь и полководец Киевской Руси X века. *Алкоран* — священная книга ислама. *Порфира* — длинная пурпурного цвета мантия, надеваемая монархами в торжественных случаях. *Монблан* — высочайший горный массив в Альпах.

Отрывок из послания к А. П. Л^озовском^у (с. 113). Впервые — сб. «Кальян». *Молокане* — секта христиан-раскольников. *Чихирь* — молодое виноградное вино. *Кази-Мулла* — русское имя Гази-Мухаммеда (1785—1832) — вождя горских повстанцев, первого имама (высшего духовного лица мусульман) Дагестана и Чечни. *Бей-Булат Таймазов* — известный на Кавказе чеченский абрек. Перешел на сторону русских и был убит кровниками в 1832 г. *Свидетель казни Прометей* — согласно мифу, Прометей был прикован к скале на Кавказе. *Лукулл Луций Лициний* (106—56 до н. э.) — римский политический деятель и полководец, совершивший в 71 г. до н. э. поход в Армению. *Помпей Гней* — в 66—65 годах до н. э. армия этого римского полководца с победоносными боями прошла по Кавказу. *Тамерлан* (Тимур) (1336—1405) — известный завоеватель, покорил многие страны Азии (в том числе Индию, Персию), а также Закавказья.

В альбом Ф. А. Кони (с. 115). Впервые — Стихотворения А. И. Полежаева. СПб., 1889. О Кони — см. примеч. к стихотворению «Федору Алексеичу Кони» (с. 92).

Оправдание мужа (с. 115). Впервые — академическое издание 1933 г.

Ответ на вопрос Пушкина (с. 115). Впервые — академическое издание 1933 г. Ответ следует понимать не как буквальный ответ поэта Пушкину, а как отклик на один из вопросов, поставленных пушкинской поэзией. В строках намеки на камер-юнкерство Пушкина и его близость царскому двору.

Имениннику (с. 115). Впервые — журнал «Развлеченье», 1860, № 17.

Гальванизм, или Послание к Зевесу (с. 117). Впервые — журнал «Звезда», 1933, № 7. *Гальвани Луиджи* (1737—1798) — итальянский врач и ученый, которому принадлежит важная роль в развитии учения об электричестве и о применении его в медицине. *Вертоград* — сад. *Ганимед* — в античной мифологии прекрасный юноша, унесенный на небо Зевсом и ставший виночерпием олимпийских богов. *Геба* — богиня юности, исполнявшая ту же роль на Олимпе, что и Ганимед.

«Судьба меня в младенчестве убила...» (с. 118). Впервые — журнал «Русский архив», 1882, № 6. Стихи представляют собой надпись Полежаева к своему портрету, нарисованному Е. И. Бибиковой в Ильинском летом 1834 г., когда там был поэт.

Атеисту (с. 118). Впервые — Арфа. Стихотворения Александра Полежаева. М., 1838. Экспромт следует рассматривать не как отрицание атеизма, а как возражение поэта против поверхностных аргументов какого-то лица.

Божий суд (с. 119). Впервые — «Литературные прибавления к «Русскому инвалиду», 1837, № 17, под заглавием «Духи зла».

К Е..... И..... Б.....й (с. 120). Впервые — сб. «Арфа». Посвящено Е. И. Бибиковой.

«Зачем хотите вы лишить...» (с. 122). Впервые — «Русский архив», 1882, № 6. Стихотворение написано по поводу попытки Е. И. Бибиковой оказать поэту денежную помощь.

Черные глаза (с. 122). Впервые — сб. «Арфа». Посвящено Е. И. Бибиковой. *Ланландия* — Северная Финляндия. *И сколько раз над нежной «Элоизой»* — роман Ж.-Ж. Руссо «Юлия, или Новая Элоиза» (1761).

Негодование (с. 126). Впервые — сб. «Арфа».

На болезнь юной девы (с. 127). Впервые — сб. «Арфа».

Баю-баюшки-баю (с. 129). Впервые — сб. «Арфа».

Автор и читатель (с. 130). Впервые — сб. «Арфа». *Князь Шаликов хвалил* — см. примеч. к стихотворению «Новая беда» (с. 31).

Грусть (с. 132). Впервые — сб. «Арфа». Положено на музыку А. Е. Варламовым.

Разочарование (с. 133). Впервые — сб. «Арфа».

Сарафанчик (с. 134). Впервые — сб. «Арфа». Положено на музыку несколькими композиторами.

Картина (с. 134). Впервые — сб. «Арфа».

Глупой красавице (с. 135). Впервые — сб. «Арфа». *Купидон* — бог любви у римлян, сын Венеры. *Пигмалион* — в древнегреческой мифологии искусный скульптор, царь Кипра, влюбился в созданную им статую Галатеи.

Напрасное подозрение (с. 135). Впервые — сб. «Арфа».

На память о себе (с. 135). Впервые — издание 1889 г.

Село Печки (с. 136). Впервые — Стихотворения А. И. Полежаева. СПб., 1889. В этом селе Полежаев был с полком в период пребывания в Калужской губернии в 1835—1836 годах. У села было двенадцать владельцев, а тринадцатая — малолетняя графиня А. С. Потоцкая, названная здесь *Потоцки. Седрах, Мисах и Адвеного* — имена трех иудеев, которых, по Библии, за отказ от поклонения золотому истукану царь Навуходоносор приказал сжечь в печи. Но во время казни они молились своему богу и остались невредимыми: огонь не тронул их. Царь был этим поражен, отменил казнь и возвеличил всех троих.

К М...е А.....е Я.....й (с. 136). Впервые — Часы выздоровления. Стихотворения Александра Полежаева. М., 1842. Посвящено Марье Александровне Языковой, с которой поэт встретился в Москве в 1835 г.

Отчаяние (с. 137). Впервые — журнал «Телескоп», 1836, № 12.

Нечто о двух братьях князьях Львовых (с. 137). Впервые — академическое издание 1933 г. *Село с прудом* — имение братьев С. Н. и А. Н. Львовых «Маклаки» Жиздринского уезда Калужской губернии.

Красное яйцо (с. 139). Впервые — «Развлечение», 1860, № 14. В стихотворении автор вспоминает о событиях 1828 г. — о его заключении в каземате Спасских казарм, знакомстве с Лозовским, оказавшим ему моральную под-

держку. *Даруют красное яйцо* — христианский обычай — дарить красные (крашенные) яйца.

Русская песня («Разлюби меня, покинь меня...») (с. 142). Впервые — «Телескоп», 1836, № 9. Положено на музыку А. Е. Варламовым.

Русская песня («Долго ль будет вам без умолку идти...») (с. 142). Впервые — «Литературные прибавления к «Русскому инвалиду», 1838, № 23.

Эндимион (с. 143). Впервые — сб. «Часы выздоровления». *Эндимион* (греч. миф.) — Полежаев дает вольную трактовку античного мифа о прекрасном юноше Эндимионе: у поэта Эндимион и богиня Луны Селена взаимно любят друг друга. *Богиня скал* — богиня-охотница Артемида, отождествлявшаяся с Селеной; у римлян Диана. *Предшественница Феба* — богиня утренней зари Эос.

Белая ночь (с. 144). Впервые — сб. «Часы выздоровления».

Картина («Как ты божественно прекрасна...») (с. 146). Впервые — сб. «Часы выздоровления».

К набеленной красавице (с. 147). Впервые — сб. «Часы выздоровления».

Когда-то (с. 148). Впервые — сб. «Часы выздоровления».

Тюрьма (с. 149). Впервые — журнал «Отечественные записки», 1840, № 2. Эпиграф — из поэмы Пушкина «Братья-разбойники».

Тоска (с. 150). Впервые — издание 1857 г.

Удивительное приключение одного стихотворца (с. 151). Впервые — сб. «Часы выздоровления».

Глаза (с. 152). Впервые — сб. «Часы выздоровления».

Он и она (с. 153). Впервые — «Нива», 1914, № 12.

Ожидание («Напрасно маменька при мне...») (с. 154). Впервые — «Нива», 1914, № 12.

Из VIII главы Иоанна (с. 154). Впервые — «Литературные прибавления к «Русскому инвалиду», 1838, № 20. VIII глава Иоанна — восьмая глава Евангелия от Иоанна, где изложена легенда о блуднице, которую, по еврейскому обычаю, должны были забросать камнями. Христос спас грешницу от казни.

Венок на гроб Пушкина (с. 155). Впервые — сб. «Часы выздоровления». Но здесь текст был сильно искажен цензурой. В более полном виде — журнал «Русская старина», 1916, № 7. *Кантемир* Антиох Дмитриевич (1708—1744) — русский поэт, автор сатир. *Феофан* Прокопович (1681—1736) — видный церковный и политический деятель времен Петра I, писатель, поэт, драматург, историк. *Холмогорский великан* — М. В. Ломоносов. *Перуны* — здесь: победы; *Перун* — в славянской мифологии бог грома и молнии. *Елисавета* — русская императрица в 1741—1761 годах, дочь Петра I. *Петров* Василий Петрович (1736—1799) — русский поэт, известный своими одами. *Диадима* (диадема) — украшенная золотом и драгоценными камнями повязка, которую в древности цари носили на лбу. *Парке* — паркет. *Петрарка* Франческо (1304—1374) — великий итальянский поэт, гуманист и просветитель. *Тасс* — Тассо Торквато (1544—1595) — итальянский поэт, автор поэмы «Освобожденный

Иерусалим», считавшейся высоким образцом эпической поэмы. *Шенье* Андре Мари (1762—1794) — французский поэт, казненный во время Французской буржуазной революции по обвинению в заговоре. Его стихи были изданы лишь в 1819 г. и получили большую известность. *Неведомый поэт, но юный, славы жадный* — М. Ю. Лермонтов, выступивший с известным стихотворением «Смерть поэта». *Анакреон* (ок. 570—478 до н.э.) — древнегреческий поэт-лирик, чье имя стало нарицательным для лирических поэтов. «Утешение» — этим четверостишием завершается стихотворение: Полежаев, видимо, оказался в числе тех, кто поверил в «милости» царя к семье погибшего Пушкина.

Отрывок из письма к А. П. Лозовскому (с. 162). Впервые — издание 1857 г., под заглавием «Чухотка».

СТИХОТВОРЕНИЯ НЕИЗВЕСТНЫХ ЛЕТ

«Ай, ахти! Ох, ура...» (с. 164). Впервые — «Красная газета», 1925, 30 декабря. Стихотворение написано в форме солдатской песни и по направленности близко к агитационным песням декабристов. *Не сдержал, не свершил Императорских слов* — после подавления восстания декабристов Николай I в специальном манифесте объявил, что считает солдат, участвовавших в движении, невиновными. Но он не сдержал слова, многие солдаты были наказаны и посланы в действующую армию на Кавказ. *Охранили тебя от большой кутерьмы* — имеется в виду восстание 14 декабря 1825 г., подавленное военной силой. *От стальных тесаков у нас спины трещат* — наказание солдат тесаками плашмя было распространенным.

Султан (с. 165). Впервые — журнал «Развлечение», 1860, № 17.

К моему гению (с. 166). Впервые — «Галатея», 1839, № 3.

Русский неполный перевод китайской рукописи (с. 167). Впервые — «Нива», 1915, № 8. Поэт использует в этом произведении известную традицию — маскироваться под восточный колорит.

ПОЭМЫ И ПОВЕСТИ В СТИХАХ

С а ш к а (с. 173). Впервые — Русская потаенная литература XIX столетия, Лондон, 1861, ч. I. Автографа поэмы не сохранилось. Дошедшие списки содержат разночтения. Наиболее полным списком считается список Забелина, хранящийся в Отделе письменных источников Государственного исторического музея. Он лежит в основе публикуемого текста, скорректированного и по другим источникам, в частности по изданию: А. И. Полежаев. Сочинения. М., Художественная литература, 1988, включающему уточнения А. А. Илюшина.

Поэма датируется 1825—1826 годами, потому что условно принято, что она написана в промежутке между февралем 1825 г., когда вышла из печати первая глава «Евгения Онегина», и июлем 1826 г., когда на Полежаева был сделан донос. Но, по имеющимся документальным свидетельствам, поэма к се-

редине 1825 г. была готова и широко распространялась в рукописных списках. Позже 1825 г. автор мог лишь внести какие-либо отдельные изменения. Точками отмечены слова и строки, неудобные для печати.

Глава первая. 1. *Мой дядя* — Александр Николаевич Струйский (1782—1834), брат отца поэта Леонтия Николаевича (ок. 1782 — ок. 1825). Завылый о племяннике. *Лишь о походах говорить* — А. Н. Струйский был участником Отечественной войны 1812 года. 3. *Под ним есть малое селишко* — недалеко от г. Саранска были два имения Струйских, поэт родился в селе Рузаевка, принадлежавшем бабушке, Александре Петровне Струйской. Но местом рождения поэта могло быть и селцо Покрышкино, имение отца. Документально точно место это не установлено. 4. *Чтоб промотаться наконец* — отцовское имение было заложено в опекуновом совете; сходное выражение есть у Пушкина: «И промотался наконец». 5. *Первый Сашеньки учитель* — Яков Андреянов, муж тетки поэта по матери; в их семье рос малолетний Полежаев. 6. *У француза в пансионе* — частный пансион для благородных Жана Визара. 7. *Геттинген, Вильна и Оксфорд* — старейшие университетские города в Германии, Литве и Англии. *Звоначаль колокольный* — студент духовного происхождения. 9. *Козлиными брадами* — выпад против духовенства. 11. «*Черная шаль*» — популярный романс А. Н. Верстовского на слова Пушкина. 12. *Эпикур* — здесь эпикуреец, любитель наслаждений. *Царица Пафоса* — богиня любви Афродита, по древнегреческой мифологии, рожденная из морской пены у города Пафоса на Кипре. *Нимфы* — мифические божества сил и явлений природы, имевшие облик прекрасных полуобнаженных девушек с веселым, легкомысленным характером. *Амур* — античный бог любви. 13. *Гераклит* — (ок. 520 — ок. 460 до н.э.) — древнегреческий философ, учивший, что страдания — неизбежный элемент жизни. 14. *Сенка* (ок. 5 до н.э. — 65 н.э.) — римский философ, поэт, государственный деятель. *Платон* (427—347 до н.э.) — древнегреческий философ-идеалист. 18. *Мохнатые шельмы* — священнослужители. 19. *...обе книги* — Ветхий и Новый завет. *Сократ* (ок. 470—399 до н.э.) — древнегреческий философ, подвергавший суровой критике недостатки современной ему афинской демократии. Приговоренный к смерти, принял яд. 21. *Рафаэль* (1483—1520) — великий итальянский художник. 22. *Петиметры* (фр.) — модные щеголи, франты. *Бонтон* (фр.) — человек хорошего тона. 23. *Бахус* — в античной мифологии бог вина и веселья. *Момус* (или Мом) — божество злословия и насмешки. *Диана* — богиня охоты и плодородия; Полежаев употребляет ее имя в ином смысле, желая указать на юность и красоту. 24. *Ни Дон, ни Рейн и ни Ямай* — то есть вина: донское шампанское, рейнское вино и ямайский ром. *Сиволдай* — крепкая водка низкого качества. 25. «*Завесу черной ночи*» — слова из поэмы. В. И. Майкова (1728—1778) «Елисей, или Раздраженный Вахс» (1771), считающейся одной из предшественниц «Сашки». *Ерофа* (ерофеич, ерофей) — водка, настоящая на травах. 28. *Приап, Приап! Плещи...! Тебя достойный филлиам...* — здесь улавливается отзыв цензурной оды И. С. Баркова (1732—1768) — «Ода Приапу». *Приап* — бог садов, полей, покровитель виноделия и рыбной ловли, олицетворяет также сладострастие, чувственные наслаждения. *Мезогины* (греч.) — женонена-

вистники. *Абрис* — легкий набросок, контурный рисунок. 29. *Калипсо юная лежит* — эта строфа — пародия на описание танца Истоминой в первой главе «Евгения Онегина»; Калипсо — нимфа, семь лет державшая в плену Одиссея, персонаж гомеровской «Одиссеи». 30. *Контроданс* (контрданс) — вид танца. *Полштофы* — винные бутылки. 31. *Ерыги* — пьяницы; происходит от наименования низшего служащего полиции в допетровской Руси — ярыга. 32. *Осаду нашу комитет* — в одном из списков поэмы есть пояснение: «Дом Человеколюбивого общества на Арбате». 33. *Сомов*, а также названные в других строках *Калайдович*, *Жданов*, *Пузин*, *Кофрайский*, *Кушенский* и др. — приятели Полежаева, учившиеся с ним в Московском университете. 34. *Буфель* — презрительная кличка полицейских и будочников. 35. *Капот* — шинель из толстой ворсистой байки (фриза), которую носили бедные чиновники и студенты. *Рогатка* — металлический ошейник с рогами, которые не дают возможности арестованному лежать. 37. *Гишард* — марка популярного импортного табака, по названию фабрики в Петербурге.

Глава вторая. 2. *Изображение Петра* — памятник Петру I на Петровской (Сенатской) площади. 8. *Шляпа-эластик* — шляпа из мягкого фетра. 10. «*Фрейшица*» *музыка* — «Фрейшиц» («Вольный стрелок») — опера немецкого композитора К. Вебера (1786—1826), шедшая в России под названием «Волшебный стрелок». 11. *Дюрова Любовь Осиповна* (1805—1828) — талантливая петербургская актриса. *Антонин* — популярный танцовщик. 14. *Моро Жан-Виктор* (1763—1813) — французский генерал, политический противник Наполеона. Высланный из Франции, поступил на русскую службу, участвовал в боях против Наполеона, смертельно ранен под Дрезденом. *Ней Мишель* (1769—1815), *Даву Луи Никола* (1770—1823) — виднейшие наполеоновские полководцы, маршалы Франции. 15. *Миллионная* — улица в Петербурге. 18. *От Каратыгина зевай* — *Каратыгин* Петр Андреевич (1805—1879) — известный комический актер, водевилист. *Вакштаф* (нем.) — сорт трубочного табака.

Эпilog. *И на меня, как корифей* — здесь: певец; корифей в древнегреческой трагедии — руководитель хора.

Иман-козел (с. 197). Впервые — «Вестник Европы», 1826, № 11. В основе произведения — народная легенда о попе-козломуже. Полежаевская переработка легенды о жадном попе отличается острой направленностью против служителей церкви.

Иман (правильно: имам) — глава религиозной общины мусульман. *Триполи* и *Марокко* — страны на севере африканского материка. *Цехины* — старинные золотые венецианские монеты. *Гурия* — вечно юная райская красавица. *И там прохлопаешь глазами, где должно действовать руками* — перифраз строк из стихотворения Державина «Вельможа». «*Тысяча ночей*» — арабские сказки «Тысяча и одна ночь». *Об очень чудном наказанье царицей Ольгой древлян* — киевская княгиня Ольга (X век) долго осаждала главный город древлян Искоростень, наконец приказала привязать тлеющие куски серы к лапкам голубей и воробьев, полученных ею от древлян, и выпустить. Город был подожжен, враги побе-

ждены. *Фонтенель* Бернард де Бовье (1657—1757) — французский писатель и ученый. *Боннет* — Бонне Шарль (1720—1793) — швейцарский натурфилософ, зоолог, ботаник. *Вельзевул* — одно из имен сатаны. *Адрамелех* — злой дух в ассирийской мифологии, изображался в виде лошади. *Как Архимед в старинно время* — древнегреческий математик и механик (ок. 287—212 до н. э.). *Всюю* — напрасно, попусту.

День в Москве (с. 208). Впервые — Стихотворения А. Полежаева. М., 1832.

Сократ — вероятно, это было прозвище самого поэта, переведшего поэму Ламартина «Смерть Сократа». *Слывет Пале-Роялем* — в бывшем дворце герцогов Орлеанских с конца XVIII в. размещались торговые и увеселительные заведения Парижа с сомнительной репутацией. *Донское* — марка шипучего вина, подобного шампанскому. *Как терзал Демьян соседа Фоку* — персонажи басни Крылова «Демьянова уха». *Кабриолет* — легкий двухколесный экипаж с одним сиденьем. *Ариман* — см. прим. к стихотворению «Демон вдохновенья». *Увертюра из оперы «Калиф»* — имеется в виду опера «Багдадский калиф» французского композитора Буальдьё Франсуа Адриена (1775—1834), видного представителя французской комической оперы первой трети XIX века. В 1804—1811 гг. был капельмейстером французской оперной труппы в Петербурге. *Рондо* — здесь музыкальная пьеса с неоднократным повторением главной темы. *Чичисбей* — в средневековой Италии спутник знатной замужней дамы. *Парке* (фр.) — паркет. *Женировать* (от фр.) — стеснять, причинять неудобство. *Виконт де ла Клю-Клю* — имя-этикетка; французское слово *clou* имеет несколько значений: гвоздь, ломбард, полицейский участок. *Фалалей* — разиня, простофиля. *Убей бобра* — эта идиома означает: обмануться в расчетах, получить плохое вместо хорошего. *Он на ноге* — в близких отношениях. *Маз* — прибавка к ставке игрока, делаемая другим игроком и дающая право на долю выигрыша. *Attendez* (атаңде) — предупреждение не делать ставки в игре. *Транспорт* — перенос ставки на другую карту. *С улом* — четверть ставки, при объявлении чего загибался угол карты. *В тос* — перетасовывание колоды карт. *Талия* — круг игры, в течение которой перекидываются все карты или выигрывается банк. *Банкер* — банкомет, игрок, делающий ставку, против которого играют понтеры. *Плие* — игра по удвоенной ставке.

Кредиторы (с. 218). Впервые — в издании 1832 г. Прямая речь героя-беглеца содержит автобиографические моменты, в основном это монолог, подчиненный условностям водевильного жанра.

Эскулап — здесь: врач. *Ландо* — четырехместный экипаж с откидным верхом. *Ир* — персонаж «Одиссеи» Гомера, попрышайка; в нарицательном значении — бедняк. *Панглос* — персонаж философской повести Вольтера «Кандид, или Оптимизм», руководствовавшийся во всем изречением Лейбница: «Все

к лучшему в этом лучшем из миров». *И не всегда невежды строго судить нас будут за долги, как ныне судят за стихи* — авторский намек на осуждение за поэму «Сашка».

Ч у д а к (с. 223). Впервые — в издании 1832 г. В произведении комическая эксцентрика с ее чисто развлекательной функцией преобладает над сатирой. *Карета цугом* — запряженная шестеркой лошадей. *Обворожен ее румянцем* и т. д. — строки, перекликающиеся со стихами из пушкинского «Графа Нулина» («Лица румянец деревенский...»). *На четверне* — имеется в виду повозка с четырьмя лошадьми.

Э р п е л и (с. 227). Впервые — Эрпели и Чир-Юрт. Две поэмы А. Полежасва. М., 1832. *Эрпели* — селение в нагорном Дагестане, на реке Кой-су.

Глава 1. *Грозная* — русская крепость на реке Сунже, заложенная в 1818 г. А. П. Ермоловым, была стратегическим центром левого фланга Кавказской линии. *Форштадт* — здесь: предместье крепости. *Егеря* — солдаты легкой пехоты, широко применявшейся в Кавказской горно-лесной войне. *Розен* Роман Федорович (1782—1848) — барон, генерал-лейтенант, командир 14-й дивизии, включавшей Московский, Бутырский, Тарутинский и Бородинский пехотные полки и другие соединения. *Они привыкли землемерить одну дорогу* — в *Старый Юрт* — автор иронизирует над отставными егерями, проводывавшими своих бывших однополчан. *Багратионы* — старинный княжеский род в Грузии, к которому принадлежал известный герой Отечественной войны 1812 г. Петр Иванович Багратион (1765—1812). *Беллона* — в античной мифологии богиня войны. *«Пял на сине море туман»* — народная песня о солдате, умирающем от ран на чужбине. *«Здравствуй, милая»...* — слова народной песни любовного содержания. *И без запрету тишина* — в походе солдаты должны были показывать бодрость духа, быть веселыми, петь песни, молчание же рассматривалось как признак недовольства. *«Тишина без запрету»* — отдых без обычной опеки над солдатом. *Глубокомыслящие канты* — каламбур: канты — цветные шнуры на военных мундирах и головных уборах; Кант — немецкий философ. Здесь подразумеваются штабные офицеры.

Глава 2. *Ландкарты* — географические карты местности военных действий. *Мордовник* — репейник с красными пахучими цветами. *Я покажу ему титана* — то есть Казбек. *Из ребр его окаменелых* и т. д. — В этом изображении Кавказа чувствуется влияние стихотворений Державина «На возвращение графа Зубова из Персии» (1797) и Жуковского «К Воейкову» (1813). *Валдай* — город близ Новгорода, через который проходил почтовый тракт Москва — Петербург. *Куда ваш славный воробьевский!..* — песок с Воробьевых (ныне Ленинских) гор. Мелкий песок в то время употреблялся для просушки написанного чернилами. *Не только б в думе* — имеется в виду Московская городская дума. *Сулак, Сунжа, Терек* — реки Чечни и Дагестана. *Костеки* — кумыкский аул. *Ташкичу* — укрепление в Северном Дагестане. *Немец Хейн* — известный сапожник 20-х годов.

Глава 3. *Московцы* — солдаты Московского пехотного полка, в котором Полежаев служил на Кавказе. *Тарутинцы* — солдаты Тарутинского полка. *Аджар* — горный хребет в Закавказье, где Тарутинский полк участвовал в военных действиях летом 1829 г. *Внезапная* — русская крепость в Северном Дагестане. *Бутирцы* — солдаты Бутырского полка. *Андреевская* — так называлось кумыкское селение Эндери — центр торговли между равнинным и горным Кавказом.

Глава 4. *Тарки* — селение вблизи современной Махачкалы, в прошлом резиденция шамхала (правителя) Тарковского. Шамхалы с 1776 г. состояли в русском подданстве и им присваивался чин генерала. *Диван* — государственный совет правителей в странах мусульманского Востока. *Магоги* — этим библейским именем поэт иронически называет приближенных шамхала. *Ермолов* Алексей Петрович (1772—1861) — полководец и герой Отечественной войны 1812 г. В 1816—1827 годах был главнокомандующим русскими войсками на Кавказе. Удален с Кавказа Николаем I, подозревавшим Ермолова в связях с декабристами. На его место был назначен любимец царя Паскевич, о котором Полежаев не считал нужным упоминать. *Вступивши с Граббе...* — ошибка поэта: П. Х. Граббе (1789—1875) в период описываемых событий был на Балканах, в Бессарабии и на Украине, а службу на Кавказе начал в 1838 г. Речь идет, видимо, о генерал-майоре К. К. фон Краббе, в то время военно-окружном начальнике Дагестана. *Истамбул* (Стамбул) — турецкое название Константинополя. *Сокрушившие кумир огромный* — о победе России в русско-турецкой войне 1828—1829 годов. *Льва таовизского связав* — о победе России над Персией в 1826—1827 годах. *Таовиз* (Тебриз) — второй по значению город в Иране. *Черные горы* — Карадаг (см. прим. к стихотворению «Казак»). *Стращал их пагубною бритвой* — эти слова свидетельствуют о знакомстве Полежаева с мусульманской мифологией, по которой души правверных проходят в рай длинным мостом, который для грешников тоньше волоса, острее лезвия меча (бритвы). *Тавлинцы, койсубулинцы, кумыки* — дагестанские племена. *Шамхал, заботливый старик* — правитель Тарков в 1806—1830 годах Мехтишамхал. После его смерти по дороге из Петербурга в Дагестан в мае 1830 г. его власть унаследовал старший сын Сулейман-паша.

Глава 5. *То мудроно го землетрясеню* — в феврале — марте 1830 г. часть территории Северного Кавказа подверглась сильному землетрясению. *Андреевский аул* — был сильно разрушен землетрясением. Кази-Мулла объявил землетрясения божьей карой мусульманам за нестойкость в вере. *Дефиле* — теснина, ущелье в труднопроходимой местности (фр.). *Розан дикий* — шиповник. *Темир-Хан-Шура* — военно-административный центр Дагестана (ныне г. Буйнакс). *Два брата* — сыновья покойного шамхала враждовали со старшим братом Сулейманом. *Мирза Шамхалов* — Сулейман-мирза.

Глава 6. *Учился прежде у Визара* — Визар содержал частный пансион, где учился Полежаев. *Йогель* Петр Андреевич (ок. 1776—1855) — учитель танцев в Москве. *Уткин* Алексей Васильевич (1796—1836) — художник и гравер, автор портрета Полежаева, литографированного А. Ястребиловым и опубликованного в сборнике «Кальян». Арестованный по делу «О лицах, певших в Москве пасквильные стихи», Уткин был заточен в Шлиссельбург, где и умер. *Кизильба-*

ми — красные головы; можно истолковать двояко: как указание на обычай красить головы и как название персидских воинов, носивших на чалмах красные ленты. *Уздени* — категория феодалов, а также горцы-общинники, имевшие собственное хозяйство. *Ежели холера Меня в червя не превратит* — имеется в виду холера, вспыхнувшая на Кавказе в марте 1830 г. *Баранта* — угон скота, принадлежавшего повстанцам.

Глава 7. *В заводах Брянска или Тулы* — проходя в 1829 г. с Московским полком через Тулу (февраль) и Брянск (апрель), Полежаев видел эти заводы. *Джеланы* — металлические украшения конской сбруи. *Ибрагим-бек* Табасаранский и *Ахмет-хан* Мехтулинский — предводители горских отрядов, входивших в состав русских войск. *Бурная* — русская крепость на побережье Каспийского моря, недалеко от Порта Петровского (ныне Махачкала), построенная в 1821 г. А. П. Ермоловым.

Глава 8. *Аманаты* — заложники. *Яур* (гяур) — неверный, немусульманин. *И, угрожаемый холерой* — намек на эпидемию холеры летом 1830 г. в Московском полку, когда болел ею и Полежаев. *Бешимет* — стеганный полукафтан. *Сорочины* — христианский обряд поминания человека на сороковой день после его смерти.

Чир-Юрт (с. 259). Впервые — Эрпели и Чир-Юрт. Две поэмы А. Полежаева. М., 1832. В поэме описана операция по захвату чеченского аула Чир-Юрт, проходившая 15—19 октября 1831 г. Малодоступный аул был одним из важных опорных пунктов горского восстания, руководимого Кази-Муллой.

Песнь первая. *Эмениды* — богини кары и мести в античной мифологии. *Оссиан* — легендарный поэт. *Мне дева арфы не вручит* — старый Оссиан скитался в сопровождении девушки Мальвины, которую любил его погибший сын, и девушка подавала ему арфу. *Араксу* — река в Дагестане. *Мятежных подданных аул* — Чир-Юрт. Поэт начинает свой рассказ с картины разгромленного аула. *Перед аулом над рекою* — речь идет об укреплении Ташкичу, откуда начался поход. *Три полка* — Бутырский, Московский, 40-й егерский, входившие в 14-ю дивизию, командиром которой стал генерал А. А. Вельяминов, сменивший Розена. *Эндери, Маюртуп, Кошкильди* — дагестанское, чеченское и кумыкское селения. *Татарский вид* — кавказские казаки одевались почти так же, как горцы. *В стране гористой печенег* — слово «печенег» поэт употребляет здесь в переносном смысле, называя так маневренного и хитрого противника. *Взяла довольно храбрых вою* — то есть воинов. *Греков* Николай Васильевич (1785—1825) — генерал, командир егерского полка, был зарезан при разоружении пленных чеченцев. *Сунжа, Арзун, Койсу* — реки. *Бей-Булат* — см. прим. к стихотворению «Отрывок из послания к А. П. Лозовскому». *Граната в парк дохнула адом* — подразумевается осада Кази-Муллой крепости Бурной с 26 по 29 мая 1831 г. В пороховой погреб за стенами крепости попала граната, взрыв погреба нанес большой урон нападающим горцам, а подоспевший на помощь новый отряд русских заставил горцев отступить. *Вкруг малой горсти россиян грозит бедой, отводит воды* — после неудачного нападения на Бурную Кази-Мулла с 14 по 29 июня осаждал кре-

пость Внезапную, оставив ее небольшой гарнизон без воды. Но взять и ее не удалось. *Плие* — см. примеч. к поэме «День в Москве». *Пе* — в случае выигрыша повторная ставка на ту же карту. «*У всякого своя охота*»... — слова из «Евгения Онегина», не вошедшие в окончательный текст. *Вельяминов* Алексей Александрович (1788—1838) — генерал, участник Отечественной войны, с 1831 г. командовал войсками Кавказской линии, покровительствовал сосланным на Кавказ декабристам, Полежаеву. *Горский Аннибал* — поэт называет именем знаменитого карфагенского полководца Ганнибала (ок. 247—183 до н. э.) генерала Вельяминова. «*Куда ведет нас барабанище*» — подлинные слова Вельяминова. *Ногой привычною мы оброд* — через реку Акташ. *Рамазан* — пост у мусульман. *Байрам* — мусульманский праздник после поста. *Абазы* — мелкие серебряные монеты. *Торговый город* — Эндери. *Авраам* — по Библии родоначальник евреев. *Фаланга* — строй древнегреческой пехоты в форме четырехугольника. *Голшаф* — чудовищный великан, побежденный, как говорит Библия, юношей-пастухом Давидом. *На сошки ружья* — для точности стрельбы использовали деревянные опоры.

Песнь вторая. *Он первый брата умертвил* — по Библии первый убийца на земле Каин из зависти умертвил родного брата Авеля. *Певец Гюльнары* — Байрон, автор поэмы «Корсар», Гюльнара — ее героиня. *Новой Греции свобода* — Байрон боролся за освобождение Греции от турецкого порабощения. *Салатовец* — житель аулов, расположенных на возвышенности Салатау. *Единорог* — старинная пушка, на стволе которой была изображена фигура фантастического зверя — единорога, почему орудие и получило название. *Засс* Григорий Христофорович (1797—1883) — с ноября 1830 г. командир Моздокского казачьего полка. *Князь Черкасский* — Бекович-Черкасский Федор Александрович (1791—1832), генерал, был близок к Ермолову и Вельяминову. *Мизраим* — по Библии родоначальник арабов, здесь: мусульманин. *Балтугай* — чеченский аул возле Чир-Юрта. *Веленье Мощного* — божья воля. *Визжат картечи, ядра, пули* и т. д. — строки перекликаются с пушкинскими из «Полтавы» («Катятся ядра, свищут пули...»). *Полночная сторона* — север. *Воины Завета* — христиане. *Мизантроп* — обращение к Кази-Мулле как к человеконенавистнику.

В и д е н и е Б р у т а (с. 286). Впервые — «Кальян». Стихотворения А. Полежаева. М., 1833. В поэме отражен эпизод борьбы триумвирата (Марк Антоний, Октавиан и Лепид) с войсками Брута и Кассия в 42 г. до н. э. Литературный источник — биография Брута из «Сравнительных жизнеописаний» Плутарха. Полежаев по-своему интерпретировал не слишком уверенное указание Плутарха на то, что Брут — внебрачный сын Цезаря. Вопреки плутарховскому тексту, полежаевский Брут не может забыть, что он отцеубийца. Душевная драма героя своеобразно отражает внутренний мир самого Полежаева. *Брут* Марк Юний (85—42 г. до н. э.) — римский политический деятель, глава заговора против диктатуры Цезаря, завершившегося убийством диктатора в 44 г. до н. э. *Филиппинские поля* — равнины при г. Филиппах (Македония), где в 42 г. до н. э. армия триумвирата разбила войска Брута и Кассия. Убедившись в поражении, Брут и Кассий покончили с собой. *Цезарская месь* — возмездие за убий-

ство Кая Юлия Цезаря (100—44 г. до н. э.). *Камилл*, *Сципионы*, *Сцеволы*, *Регул*, *Цинциннат* — имена и прозвища выдающихся полководцев и героев Древнего Рима. *Раздоры Мария и Суллы* — полководцы Гай Марий (157—86 г. до н. э.) и Луций Корнелий Сулла (138—78 г. до н. э.) долго боролись за верховную власть в Римской республике. *Помпей Гней* (106—48 г. до н. э.) — знаменитый полководец и политический деятель Древнего Рима. Сначала был союзником Цезаря, потом вступил с ним в борьбу и был разгромлен в сражении при Фарсале. *Прах Помпея с гражданской жизнью погребли* — то есть со смертью Помпея Цезарь стал единоличным диктатором, что привело к падению республиканского строя. *Завоеватель Босфора* (то есть Боспорского царства) — им был не Цезарь, как ошибочно трактуется в поэме, а Помпей; Цезарь же лишь упрочил это завоевание. *Таркаиний* — легендарный римский император.

Кориолан (с. 290). Впервые — частями: Арфа. Стихотворения Александра Полежаева. М., 1838, журнал «Сын отечества», 1838, № 5; полный текст: Стихотворения А. Полежаева. М., 1857. Сюжет поэмы взят из биографии Гнея Марция Кориолана (V в. до н. э.), изложенной в «Сравнительных жизнеописаниях» Плутарха. Римский патриций, выдающийся полководец, Кориолан одержал ряд побед над вольсками. Но он презирал простой народ, не уважал республиканских традиций, за что был осужден на изгнание. Тогда Кориолан перешел на сторону врагов Рима — вольсков. Получив под свое командование их войска, он повел их против римлян и осадил Рим. И только тронутый мольбами матери и жены, а также других римлянок, он снял осаду и отвел войска. Умер в изгнании стариком, по другой версии — был убит восставшими вольсками.

Глава первая. 1. *Самсон и Далила* — по библейской легенде победитель филистимлян Самсон был предан своей возлюбленной Далилой, которая, пока он спал, отрезала у него семь прядей волос, в них же заключалась его сверхчеловеческая сила. 2. *Теперь погибшей и рабой* — поэт имеет в виду большую раздробленность Италии на мелкие княжества, находившиеся в зависимости от иностранных государств, прежде всего Австрии. 3. *Некроман* — человек, занимающийся некроманией (гаданием на трупах или заклинанием душ умерших). *Фабриций* — Гай Фабриций Люций (III в. до н. э.) — римский политический и военный деятель. *Регул* — древнеримский консул, одержавший победу над карфагенским флотом. *Под сенью тысячей орлов* — имеются в виду фигурки орлов на древке — традиционные эмблемы римских легионов. *Капитолий* — один из семи холмов, на которых располагался древний Рим. 4. *Дворцы Нерона* — император Нерон стремился возводить разные роскошные сооружения. При нем был, в частности, построен сказочной красоты золотой дворец, впоследствии разрушенный. *Взывал Антоний благородный к друзьям кровавого плаща* — после убийства Цезаря Антоний произнес похвальную речь о нем и показал народу окровавленную тогу Цезаря, чем вызвал взрыв негодования против заговорщиков-республиканцев. Бруту и Кассию пришлось покинуть Рим, а Антоний и Лепид с присоединившимся к ним позже Октавианом составили три-

умвират, захвативший власть над Римом. *Каиафа* — иудейский первосвященник, подавший совет казнить Христа. 5. *В Ромуловой сфере* — то есть в Риме (от имени Ромула, одного из легендарных основателей Рима). *Miserere* — название одного из псалмов в книге ветхозаветных песен и молитв. *Пленительный кастрат* — кастраты с их высоким голосом широко использовались римской церковью. *Числбей* — см. прим. к поэме «День в Москве».

Глава вторая. 2. *Зеленый венок* — за подвиги в сражении с войсками изгнанного римлянами Тарквиния Гордого Кориолан был увенчан дубовым венком — почетнейшим отличием на войне. 4. *Тарпея* — Тарпейская скала, южная вершина Капитолийского холма в Риме, с которой в древности сбрасывали осужденных на смерть. *Диана* — здесь: луна. *Эмпирей* (греч.) — по представлениям древних, верхняя часть неба, заполненная огнем.

Глава третья. 3. *Кориолы* — главный город италийского племени вольсков, захвачен римлянами благодаря храбрости и находчивости Гнея Марция, удостоенного за этот подвиг почетного прозвища — Кориолан. 5. *Орел капитолийский* — изображение орла было символом мощи и славы Древнего Рима.

Глава четвертая. 1. *Ромуловы чада* — здесь: граждане Рима.

М а р и й (с. 309). Впервые — Стихотворения А. Полежаева. М., 1857. Начало неоконченной поэмы, замысел которой внушен поэту также Плутархом. В других изданиях печаталось под названием «Карфаген».

Ц а р ь о х о т ы (с. 310). Впервые — журнал «Нива», 1914, № 12. В основе поэмы — впечатления от поездки Полежаева к старому приятелю В. А. Бурцову в его имение под г. Муромом Владимирской губернии, где друзья развлекались охотой. 1. *Муромский витязь Илья* — былинный богатырь Илья Муромец. 2. *Шпензер* — узкая охотничья куртка. *Провинциальный сибарит* — праздный, любящий наслаждения и роскошь человек. *Конфедераты* — участники союзов польской шляхты, оппозиционных королю. *Так точно Васеньку сбивались* — намек на лубочную картинку «Мыши кота погребают», снабженную юмористическими стихами. 4. *Дергач* — коростель. *Брут, Цезарь* — см. прим. к «Видению Брута». *Пришел, увидел, победил!* — слова Цезаря, сообщавшего своему другу Амантию в Рим о победе над войском царя Боспорского царства. 5. *Венгерка* — гусарская куртка, украшенная поперечными шнурами. *С полугишпанской бородой* — острокопечной бородкой, эспаньолкой. *Дупеля* — большие болотные бекасы. *Прильпе* — прилип. *Кагал* — здесь: шумная толпа, сборище. 6. *Шато-марго, дрей-мадера, гейцих* — сорта импортного вина. *Долгиос* — предполагается, что это кличка Полежаева в дружеской компании. *Он сам в число мужей свободных господской милостью попал* — намек поэта на свое происхождение. *Немород* — см. прим. к стихотворению «Узник». *Ерофеич* — см. прим. к поэме «Сашка». *Фальконет* — старинная малокалиберная пушка, стрелявшая свинцовыми снарядами. *Василиск* — сказочное чудовище с телом петуха, хвостом змеи и короной на голове, убивающее все живое своим взглядом.

ПЕРЕВОДЫ

ИЗ ОССИАНА

Морни и тень Кормала (с. 325). Впервые — «Вестник Европы», 1825, №№ 23—24. Вольный перевод отрывка из поэмы «Тимора» Оссиана. В действительности же это сочинение шотландского поэта Дж. Макферсона (1736—1796), опубликовавшего в 1760—1765 годах собрание поэм легендарного древнего барда Оссиана, написанных самим Макферсоном.

ИЗ БАЙРОНА

Оскар Альвский (с. 327). Поэма великого английского поэта Джорджа Гордона Байрона (1788—1824). Перевод выполнен, по некоторым сведениям, с французского прозаического перевода. Многие подробности Полежаевым добавлены или переданы иначе, чем у Байрона. *Менестрель* — средневековый певец-музыкант.

ИЗ ЛАМАРТИНА

Человек. К Байрону (с. 343). Впервые — альманах «Уrania», М., 1826. В стихотворении преклонение перед гением Байрона сочетается с неприятием его скептицизма и мятежности духа.

Отрывок из поэмы «Смерть Сократа» (с. 350). Впервые — «Труды Общества любителей российской словесности при Императорском Московском университете», 1826, ч. 6. Древнегреческий философ Сократ (ок. 469—399 до н. э.) за неуважение к языческой религии и проповедь воззрений, признанных нравственно вредными, был приговорен афинскими властями к смерти и принял яд. *Амбра* — благовонное вещество, добываемое из экскрементов кашалота. *Леда* (греч. миф.) — жена спартанского царя Тиндарея, пленившая Зевса, явившегося к ней в образе лебедя. *Арахнея* (Арахна) (греч. миф.) — искусная рукодельница, вызвавшая на состязание в ткацком ремесле Афину, за что была превращена богиней в паука. *Гимет* — горная вершина в Греции.

Мечта (с. 355). Впервые — издание 1832.

ИЗ ПАНАРА

Песня (с. 357). Впервые — журнал «Галатей», 1829, № 40.

ИЗ ГЮГО

Лунный свет (с. 359). Впервые — «Кальян». *Вот грозный мешок!*.. — жен султанского гарема за неверность зашивали в мешок и бросали в море.

Гимн Нерона (с. 360). Впервые — Литературное наследство, 1934, № 15. *Нерон* Клавдий Цезарь (37—68 г. до н. э.) — римский император в 54—68 годах, отличался патологической жестокостью, ради собственной популярности устраивал грандиозные зрелища, писал стихи, добивался славы артиста. *Сенека* — см. прим. к поэме «Сашка». *Фалернское* — знаменитое красное вино, воспетое поэтами. *Аквилон* — северный ветер. *Капитолий* — см. прим. к «Кориолану». *Арка Силлы* — триумфальная арка в честь римского полководца и политического деятеля Луция Корнелия Суллы (138—78 г. до н. э.). *Сивилла* — легендарная пророчица. *Герострат* — житель г. Эфеса, сжегший в 356 г. до н. э. храм Артемиды с целью прославиться.

Пир духов (с. 363). Впервые — Литературное наследство, 1934, № 15. *Тиара* — драгоценный головной убор царей. *Зодиак* — здесь: скопище зверей. *Некроманы* — см. прим. к «Кориолану». *Егова* — одно из имен бога в Библии.

Людовик XVII (с. 367). Впервые — «Галатей», 1839, № 13. *Капет* — принц Луи Шарль, сын свергнутых революцией Людовика XVI и Марии Антуанетты. Роялисты безуспешно пытались провозгласить его королем под именем Людовика XVII.

ИЗ ДЕЛАВИНЯ

Троянки. *Канта* (с. 370). Впервые — «Кальян». Написанное по мотивам трагедии Еврипида «Троянки» (415 г. до н. э.), стихотворение французского поэта Казимира Жана Франсуа Делавиня (1793—1843) отражает несчастную судьбу захваченного и разрушенного греками малоазиатского города Троя (или Илион). *Симоис* (Симоент) — река близ Трои. *И пятьдесят сынов...* — царь Трои Приам был отцом пятидесяти детей. *Гектор* — сын Приама, павший в единоборстве с греческим героем Ахиллом. *Гекуба* — мать Гектора, жена Приама. *Преступный сын и брат* — Парис, похититель красавицы Елены, жены спартанского царя Менелая, из-за чего началась Троянская война. *Поликсена* — дочь Приама и Гекубы, по требованию тени покойного Ахилла принесена в жертву. Умертвил девушку сын Ахилла Пирр. *Отмсти прелюбодю* — Парис был женат на Эноне и изменял ей с Еленой. *Приам идет за сыном вслед* — когда греки ворвались в Трою, Приам был убит Пирром. *Аргос* — крупный город и область Древней Греции. *Аякс* — это имя носили два героя войны, выступавших на стороне греков. *К Уллисовым стопам...* — Уллис, или Одиссей, хитростью помог грекам захватить Трою, был жесток с побежденными. *Стенелл* — имя греческого воина. *Ида* — гора и горная цепь близ Трои. *Пергам* — троянская крепость, название которой часто распространялось и на весь город.

ИЗ ЛЕГУВЕ

Последний день Помпеи (с. 376). Печаталось частями: в сб. «Часы выздоровления» (1842), в изд. 1857 г., в Литературном наследстве, 1956, № 60, кн. 1 (средняя часть). *Плиний* — Гай Плиний Секунд, или Плиний Старший (23—79 г. до н. э.), писатель и ученый, ставший жертвой своей пытливости, когда наблюдал извержение Везувия. Его гибель описал племянник — Плиний Младший. *Гебеновые кудри* — очень черные.

ИЗ ВОЛЬТЕРА

Прощание с жизнью (с. 384). Впервые — альманах «Новогодник», СПб., 1839 (частично), полностью в изд. 1857 г. Перевод посвящен другу и поэту Лукьяну Андреевичу Якубовичу.

ИЗ ГЕТЕ

Тишина на море (с. 386) и Счастливое плавание (с. 386). Впервые — альманах «Уrania». М., 1826.

Перевод с немецкого двух этих стихотворений приписывается А. И. Полежаеву.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Тарки (с. 387). Впервые — Стихотворения А. Полежаева. М., 1832. В сборнике было опубликовано начало стихотворения — первые 30 с небольшим строк. *Тарки* — селение в Дагестане, резиденция шамхала Тарковского. *Шамхал* — титул дагестанского феодального владельца, верного русскому правительству. *Преавантажный* — пышный, видный. *Тавлинка* — тавлинцами назывались в прошлом горцы, обитавшие на северном склоне Андийского хребта, это преимущественно лезгины. *Рамазан* — см. прим. к поэме «Чир-Юрт». *Йок* — нет (в тюркских языках). *Бер-абазы* — серебряные монеты.

«Когда душа перекалится в камень...» (с. 390). Впервые — литературный сборник «Невский альбом». СПб., 1839.

К сивухе (Отрывок) (с. 391). Впервые — журнал «Вестник Европы», 1897, № 6. Стихотворение полностью до нас не дошло. Его принадлежность А. Полежаеву, как и предыдущего стихотворения, современные исследователи подвергают сомнению.

Письма А. И. Полежаева к Л. А. Якубовичу (с. 392). Впервые — Литературное наследство, № 60, т. I, 1956. *Якубович* Лукьян Андреевич (1805—1839) — поэт, друг Полежаева. Ему принадлежит одна из первых критических статей о стихотворениях Полежаева — теплый отзыв на первый сборник поэта, вышедший в 1832 г.

Первое письмо Полежаева, датированное февралем 1836 г., написано из именина родителей Якубовича в Калужской губернии, куда поэт приезжал по приглашению друга и провел один день в его семье. О своих впечатлениях об этом дне он и делится с другом.

Второе письмо, датированное 8 октября 1836 г., прислано Полежаевым из Москвы, из госпиталя, куда он был положен в связи с обострившейся болезнью, погубившей его. Письмо отражает попытки поэта получить долю наследства, оставшегося после его дяди *Александра Николаевича* Струйского, который изображен в поэме «Сашка». Вначале хорошо относившийся к юноше, дядя изменил к нему свое отношение после того, как Полежаев был отдан в солдаты. Жестоко обращался с крепостными, за что в 1834 г. был ими убит. *Александра Петровна* Струйская — бабушка поэта, глава многочисленного семейства. Постоянно, хотя и нерегулярно, оказывала денежную помощь Полежаеву. *Дмитрий* — двоюродный брат поэта Дмитрий Юрьевич Струйский. *Наталья* — его мать Наталья Филипповна.

ВОСПОМИНАНИЯ СОВРЕМЕННИКОВ

Раздел воспоминаний дается по изданию: А. И. Полежаев. Стихотворения. Поэмы. Московский рабочий, 1981 (составление, предисловие, подготовка текста и примечания Вл. Муравьева).

А. И. Герцен. А. Полежаев (с. 397).

Очерк — авторское прибавление к главе VII первой части «Былого и дум».

Николай отпраздновал свою апофеозу... — старинная форма слова «апофеоз»; здесь идет речь о торжествах в связи с коронацией Николая I, традиционно происходившей в Успенском соборе Московского Кремля.

Fete-Dieu — культовый праздник в честь «Верховного существа», введенный во Франции якобинцами с целью заменить веру в бога этой «гражданской религией». В праздники террор против внутренних врагов усиливался.

Князь Ливен — Герцен ошибся: министром народного просвещения в 1826 году был А. С. Шишков.

Дибич Иван Иванович (1785—1831) — барон, генерал-фельдмаршал, в то время начальник Главного штаба, организация политической слежки также была его обязанностью.

«Без утешений...» — неточная цитата из стихотворения Полежаева «Провидение».

«К сивухе» — стихотворение, полностью до нас не дошедшее. Современные исследователи его принадлежность Полежаеву подвергают сомнению.

Евгений Белозерский. К биографии поэта А. И. Полежаева (с. 401).

Опубликовано в 1895 году в журнале «Исторический вестник».

...дворяной девушкой Степанидой Ивановной... — автор ошибся, мать поэта звали Аграфеной Ивановной.

Е. И. Бибикина-Раевская. Встреча с Полежаевым (с. 405).

Бибикина Екатерина Ивановна (1818—1899) — в замужестве Раевская, — художник-любитель, автор литературных очерков-воспоминаний. Часть из них подписывала псевдонимом «Старушка из степи». Воспоминания о Полежаеве опубликованы в журнале «Русский архив» в 1882 году.

К. Н. Макаров. Воспоминания о поэте А. И. Полежаеве (с. 414).

Мой отец... — Макаров Николай Петрович (1810—1890) — писатель, мемуарист, составитель двуязычных словарей, выдержавших более двадцати изданий: французско-русского, русско-французского, немецко-русского и русско-немецкого.

Якубович Лукьян Андреевич (1805—1839) — поэт, выступавший в пушкинском «Современнике», «Литературной газете», «Северных цветах» и других периодических изданиях. Многие годы дружил с Полежаевым.

В. Г. Белинский. Стихотворения Полежаева (с. 418).

Статья, напечатанная в журнале «Отечественные записки» без заглавия (1842 год, т. XXII, № 5), здесь дается в сокращении: опущены и отмечены многоточием, заключенным в угловые скобки, целиком приводимые критиком стихотворения Полежаева. Курсив в статье принадлежит Белинскому. В отдельных случаях стихотворные цитаты приводятся критиком по памяти или по журнальным публикациям, отчего и произошли разночтения по сравнению с окончательным текстом стихотворений.

I. *Эпиграф* из стихотворения «Вечерняя заря». Одна из строк правильно читается: «К шумной воле любовь».

...увлекшись звоном рифмы... — намек Белинского на утверждение Н. Полевого о том, что Языков погубил свой талант «звоном стихов».

Феноменология духа — термин великого немецкого философа-идеалиста Г.-В.-Ф. Гегеля (1770—1831), означающий учение о различных формах, которые принимает сознание в процессе своего развития.

...поэт барабанит своими гладкими и звучными стихами... — критик иронизирует над стихами того же поэта Н. М. Языкова и приводит некоторые типичные выражения из них.

Другой, пожалуй, пропищит... — подразумевается стихотворение С. П. Шевырева (1806—1864) «Чтение Данта», из которого даются перефразированные строки.

«Призывать вдохновения на высь чела...» — слова из стихотворения Шевырева «На смерть поэта».

...станет воспевать грудь... — далее приведены выражения из стихов В. Г. Бенедиктова (1807—1873).

«В мертвящем упоеньи света...» — цитата из «Евгения Онегина» по первому изданию романа (1828).

...какого-то большого стихотворения Полежаева... — в журнале «Галатея» (1830, ч. XII) был опубликован «Отрывок из поэмы «Узник», начинавшийся приводимыми критиком строками.

Веневитинов Дмитрий Владимирович (1805—1827) — видный представитель поэтов-любомудров. Ставя рядом его имя с именем Полежаева, Белинский намекает на общность их судеб: распространялись слухи, что ранняя смерть Веневитинова связана с расправой над декабристами.

Надо полагать, что неоднократные оговорки в статье о виновности самого Полежаева в собственных несчастьях делались Белинским для цензуры.

Н. П. Огарев. Предисловие <к сборнику «Русская потаенная литература XIX столетия». Лондон, 1861> (с. 444).

...как гамлетовский подземный крот... — имеются в виду слова Гамлета из I акта трагедии Шекспира «Гамлет» о Призраке, голос которого раздается из-под земли всюду, где останавливается принц.

...рука Николая — дикого каменного гостя... — подразумевается образ Командора из пушкинского «Каменного гостя». Олицетворяя царя с этим образом, Огарев подчеркивает мертвящую власть самодержавия над всем живым и новым.

I. Из стихотворения «Вечерняя заря».

...«пора губить врага Украйны»... — чуть измененная строка из поэмы К. Ф. Рылеева «Наливайко».

«Арестант» — одно из названий стихотворения, посвященного А. П. Лозовскому в 1828 году, когда поэт находился под арестом в Спасских казармах. В настоящем издании произведение озаглавлено — «У<зник>», так как в одном из прижизненных публикаций 1830 года оно называлось: «Отрывок из поэмы «Узник».

...лжеталанты — вроде Кукольника... — Кукольник Нестор Васильевич (1809—1868) — реакционный поэт, романист, драматург, автор верноподданнической драмы «Рука всевышнего отечество спасла». ...«родину любить только странною любовью, необъяснимою для рассудка»... — перефразированные первые строки стихотворения Лермонтова «Родина».

А. А. Григорьев. Из воспоминаний о 1830-х годах (с. 447).

Отрывки из воспоминаний видного поэта и литературного критика Аполлона Александровича Григорьева (1822—1864) взяты из его работ «Мои литературные и нравственные скитальчества» (в тексте обозначено цифрой I) и «Западничество в русской литературе» (обозначено цифрой II).

«...значение / Темно иль ничтожно...» — цитата из лермонтовского стихотворения «Есть речи — значение...»

...игра Мочалова, Варламовские звуки... — Мочалов Павел Степанович (1800—1848) — известный актер-трагик; Варламов Александр Егорович (1801—1848) — композитор и вокальный педагог, автор популярных романсов.

...о самоучке Полевом и его «Телеграфе» — Полевой Николай Алексеевич (1796—1846) — писатель, критик, историк, издавал в 1825—1834 годах журнал «Московский телеграф», на страницах которого горячо защищалось романтическое направление в литературе.

Sturm und Drang Periode (нем.) — период «Бури и натиска».

...драм Клингера... — Клингер Фридрих Максимилиан (1752—1831) — немецкий писатель-романтик. Его драма «Буря и натиск» дала название одному из периодов немецкого романтизма.

Кант и Гегель были самыми спокойными гелертерами — Кант Иммануил (1724—1804) — основоположник классической немецкой философии; Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770—1831) — гениальный немецкий философ, создавший на идеалистической основе систему диалектических категорий; гелертер — с немецкого ученый-книжник.

СОДЕРЖАНИЕ

«Неизменный друг свободы». Вступительная статья <i>А. Версовина</i>	5
---	---

СТИХОТВОРЕНИЯ

Непостоянство	29	Кольцо	72
Воспоминание	30	К друзьям	74
Любовь	31	Казак	75
Новая беда	31	Ночь на Кубани	76
Гений	33	Водопад	80
Ночь	35	Черная коса	81
Вечерняя заря	36	Песни	
Четыре нации	38	1. «Зачем задумчивых очей...»	81
Валтасар	40	2. «У меня ль, молодца...»	82
Ренегат	41	3. «Там, на небе высоко...»	83
Цепи	44	Море	84
Рок	45	Ожидание	85
«Притеснил мою свободу...»	46	Черкесский романс	86
< Узник >	46	Романсы	
«Ты хочешь, друг, чтобы рука...»	48	1. «Пышно льется светлый Те- рек...»	88
Песнь пленного ирокезца	56	2. «Утро жизнью благодатной...»	89
Песнь погибающего пловца	57	3. «Одел станицу мрак глубо- кий...»	89
Ожесточенный	60	Мертвая голова	90
Осужденный	61	Другу моему А. П. Л < озовскому >	91
Живой мертвец	63	Федору Алексеевичу Кони	92
Провидение	64	Акташ-аух	93
Кремлевский сад	66	Кладбище герменчугское	93
Табак	67	Песнь горского ополчения	100
На смерть Темиры	68	Ахалук	101
Наденьке	68	Раскаяние	102
Погребение	70	Цыганка	103
Звезда	71	Призвание	104
Букет	71		

Сон девушки	104	Отчаяние	137
Степь	106	Нечто о двух братьях князьях Льво- вых	137
Окно	107	Красное яйцо	139
Демон вдохновенья	108	Русская песня («Разлюбил меня, покинь меня...»)	142
Иван Великий	111	Русская песня («Долго ль будет вам без умолку идти...»)	142
Отрывок из послания к А. П. Лозовскому > у	113	Эндимион	143
В альбом Ф. А. Кони	115	Белая ночь	144
Оправдание мужа	115	Картина («Как ты божественно прекрасна...»)	146
Ответ на вопрос Пушкина	115	К набеленной красавице	147
Имениннику	115	Когда-то	148
Гальванизм, или Послание к Зе- весу	117	Тюрьма	149
«Судьба меня в младенчестве убила!»	118	Тоска	150
Атеисту	118	Удивительное приключение од- ного стихотворца	151
Божий суд	119	Глаза	152
К Е..... И..... Б.....й	120	Он и она	153
«Зачем хотите вы лишиться...»	122	Ожидание	154
Черные глаза	122	Из VIII главы Иоанна	154
Негодование	126	Венок на гроб Пушкина	155
На болезнь юной девы	127	< Отрывок из письма к А. П. Ло- зовскому >	162
Баю-баюшки-баю	129	СТИХОТВОРЕНИЯ НЕИЗВЕСТНЫХ ЛЕТ	
Автор и читатель	130	«Ай, ахти! Ох, ура...»	164
Грусть	132	Султан	165
Разочарование	133	К моему гению	166
Сарафанчик	134	Русский неполный перевод китай- ской рукописи	167
Картина	134		
Глупой красавице	135		
Напрасное подозрение	135		
На память о себе	135		
Село Печки	136		
К М...е А...е Я...й	136		

ПОЭМЫ И ПОВЕСТИ В СТИХАХ

Сашка	173	Чир-Юрт	259
Иман — козел	197	Видение Брута	286
День в Москве	208	Кориолан	290
Кредиторы	218	Марий	309
Чудак	223	Царь охоты	310
Эрпели	227		

ПЕРЕВОДЫ

Из Оссиана		Из Делавиня	
Морни и тень Кормала . . .	325	Троянки. Кантата	370
Из Байрона		Из Легуве	
Оскар Альвский	327	Последний день Помпеи . . .	376
Из Ламартина		Из Вольтера	
Человек. К Байрону	343	Прощание с жизнью	384
Отрывок из поэмы «Смерть		Из Гете	
Сократа»	350	Тишина на море	386
Мечта	355	Счастливое плавание	386
Из Панара			
Песня	357	ПРИЛОЖЕНИЕ	
Из Гюго		Тарки	387
Лунный свет	359	«Когда душа перекалится в ка-	
Гимн Нерона	360	мень...»	390
Пир духов	363	К сивухе	391
Людовик XVII	367	Письма А. И. Полежаева к	
		Л. А. Якубовичу	392

ВОСПОМИНАНИЯ СОВРЕМЕННИКОВ И КРИТИКА

А. И. Герцен. А. Полежаев . . .	397	В. Г. Белинский. <Стихотво-	
Евгений Белозерский. К биогра-		рения Полежаева>	418
фии поэта А. И. Полежаева . .	401	Н. П. Огарев. Предисловие	
Е. И. Бибикова-Раевская. Встре-		<к сборнику «Русская потаен-	
ча с Полежаевым	405	ная литература XIX столетия».	
К. Н. Макаров. Воспоминания о		Лондон, 1861>	444
поэте А. И. Полежаеве	414	А. А. Григорьев. Из воспоми-	
		наний о 1830-х годах	447
Примечания			451

Полежаев А. И.

П 49 Стихотворения. Поэмы. Воспоминания современников / Сост., предисл. и прим. А. Н. Версовина; Ил. А. А. Шпакова. — М.: Правда, 1990. — 480 с., ил.

ISBN 5—253—00163—8

В книге представлено почти все литературное наследие известного русского поэта А. И. Полежаева (1804—1838), а также публикуются воспоминания современников о нем.

Издание выходит к 185-летию со дня рождения поэта.

П 4702010100—1927
080(02)—90 1927—90

84 Р 1

Литературно-художественное издание
ПОЛЕЖАЕВ Александр Иванович
СТИХОТВОРЕНИЯ
ПОЭМЫ
ВОСПОМИНАНИЯ СОВРЕМЕННИКОВ

Составитель
Алексей Никифорович Версовин

Редактор Т. В. Лодяная
Оформление художника А. А. Шпакова
Художественный редактор Т. Н. Костерина
Технический редактор К. И. Заботина

ИБ 1927

Сдано в набор 06.05.89. Подписано к печати 04.05.90.
Формат 60×84^{1/16}. Бумага книжно-журн. Гарнитура «Гaramонд».
Печать офсетная. Усл. печ. л. 27,90. Усл. кр-отт. 28,37. Уч. изд. л. 30,23.
Тираж 100 000 экз, Заказ № 1640. Цена 2 р. 50 к.

Набор и фотоформы изготовлены в ордена Ленина и ордена
Октябрьской Революции типографии имени В. И. Ленина
издательства ЦК КПСС «Правда». 125865 ГСП, Москва, А-137,
улица «Правды», 24.

Отпечатано в типографии Издательства ЦК Компартии Латвии,
226081, Рига, ул. Баласта дамбис, 3.

